
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956. Опыт художественного исследования. Сокращённое издание.

Александр Исаевич Солженицын

Аннотация
Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования
Фото автора
Информация от издательства
Н. Д. Солженицына. Дар воплощения
Году в тысяча девятьсот сорок девятом…
В этой книге нет ни вымышленных лиц…
Эту книгу непосильно было бы создать…
Часть первая – ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Глава 1. Арест
Глава 2. История нашей канализации
Глава 3. Следствие
Глава 4. Голубые канты
Глава 5. Первая камера – первая любовь
Глава 6. Та весна
Глава 7. В машинном отделении
Глава 8. Закон-ребёнок
Глава 9. Закон мужает
Глава 10. Закон созрел

Глава 11. К высшей мере
Глава 12. Тюрзак
Часть вторая – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Глава 1. Корабли Архипелага
Глава 2. Порты Архипелага
Глава 3. Караваны невольников
Глава 4. С острова на остров
Часть третья – ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ
То, что должно найти место в этой части…
Глава 1. Персты Авроры
Глава 2. Архипелаг возникает из моря
Глава 3. Архипелаг даёт метастазы
Глава 4. Архипелаг каменеет
Глава 5. На чём стоит Архипелаг
Глава 6. Фашистов привезли!
Глава 7. Туземный быт
Глава 8. Женщина в лагере
Глава 9. Придурки
Глава 10. Вместо политических
Глава 11. Благонамеренные
Глава 12. Стук-стук-стук…
Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую!
Глава 14. Менять судьбу!
Глава 15. ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ
Глава 16. Социально-близкие
Глава 17. Малолетки

Глава 18. Музы в ГУЛАГе
Глава 19. Зэки как нация
Глава 20. Псовая служба
Глава 21. Прилагерный мир
Глава 22. Мы строим
Часть четвёртая – ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
Глава 1. Восхождение
Глава 2. Или растление?
Глава 3. Замордованная воля
Глава 4. Несколько судеб
Часть пятая – КАТОРГА
Глава 1. Обречённые
Глава 2. Ветерок революции
Глава 3. Цепи, цепи
Глава 4. Почему терпели?
Глава 5. Поэзия под плитой, правда под камнем
Глава 6. Убеждённый беглец
Глава 7. Белый котёнок
Глава 8. Побеги с моралью и побеги с инженерией
Глава 9. Сынки с автоматами
Глава 10. Когда в зоне пылает земля
Глава 11. Цепи рвём на ощупь
Глава 12. Сорок дней Кенгира
Часть шестая – ССЫЛКА

Глава 1. Ссылка первых лет свободы
Глава 2. Мужичья чума
Глава 3. Ссылка густеет
Глава 4. Ссылка народов
Глава 5. Кончив срок
Глава 6. Ссыльное благоденствие
Глава 7. Зэки на воле
Часть седьмая – СТАЛИНА НЕТ
Глава 1. Как это теперь через плечо
Глава 2. Правители меняются, Архипелаг остаётся
Глава 3. Закон сегодня
Послесловие
Некоторые тюремно-лагерные термины
Некоторые советские сокращения и выражения
Некоторые значимые имена
Из расстрелянных
Материалы
Над книгой работали

Аннотация

Документально-художественное исследование Александра Исаевича Солженицына (1918—2008) "Архипелаг ГУЛАГ» в семи частях представлено в этом издании в сокращении, при котором, однако, полностью сохранена структура книги и все её 64 главы. Это книга о трагедии нашего народа в XX веке, требующей осознания и преодоления на пути в будущее. Книга рассчитана на старшеклассников, студентов и широкий круг взрослых читателей.

Александр Солженицын Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования

Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать.
И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался.

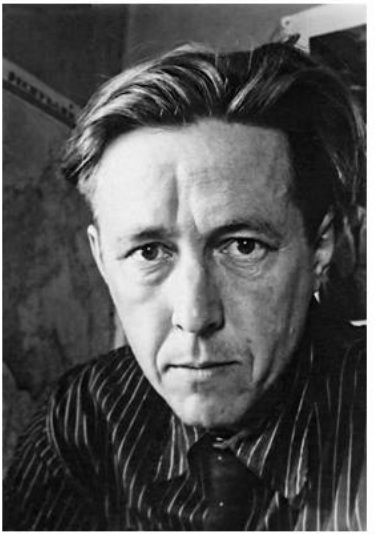
Фото автора



Брянский фронт. 1943 г.



Лагерь на Калужской заставе. 1946 г.



В ссылке. Кок-Терек. 1955 г.

Информация от издательства

Художественное электронное издание
Солженицын, А. И.
Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования: сокращённое изд. / Александр Солженицын; [сокращение, вступ. статья, справ. аппарат Н. Солженицыной]. — М.: Время, 2017.
ISBN 978-5-9691-1663-4
Документально-художественное исследование Александра Исаевича Солженицына (1918–2008) «Архипелаг ГУЛАГ» в семи частях представлено в этом издании в сокращении, при котором, однако, полностью сохранена структура книги и все её 64 главы. Это книга о трагедии нашего народа в XX веке, требующей осознания и преодоления на пути в будущее. Книга рассчитана на старшеклассников, студентов и широкий круг взрослых читателей.

© Русский Благотворительный Фонд Александра Солженицына, 2017
© Н. Д. Солженицына, сокращение, вступительная статья, справочный аппарат, 2017

© Оформление, «Время», 2017

Н. Д. Солженицына. Дар воплощения

Странная рукопись появилась в журнале «Новый мир» осенью 1961 года: печать с двух сторон, без полей, без пробелов между строчками, название — «Щ-854», и без имени автора. Редактор отдела прозы Анна Берзер сразу поняла цену удивительной новинки и передала её главному редактору Александру Трифоновичу Твардовскому со словами: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». «В шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского, — оценил позже Солженицын. — К этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв… Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй. Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, уже Твардовский и

не ложился. Он звонил и велел узнавать: кто же автор и где он. Особенно понравилось ему, что это — не мистификация какого-нибудь известного пера, что автор — и не литератор, и не москвич».

С той ночи задался Твардовский недостижимой, казалось, целью — опубликовать рассказ об одном дне Ивана Денисовича в своём журнале. «Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Всё преодолеть, до самых верхов добраться… Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто ещё не видал».

«Он» оказался школьным учителем. Последние пять лет — в Рязани, преподаёт физику и астрономию. А прежде? Математику преподавал, в сельской школе под Владимиром. А до того? В ссылке был, в Казахстане. (И сослан притом «навечно» — но в 1956 хрущёвская оттепель растопила ту «вечную мерзлоту».) Однако по порядку.

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. Родители его (оба — из крестьян, первые в своих семьях получившие образование) венчались в августе 1917 на фронте, где отец служил подпоручиком в Гренадерской

артиллерийской бригаде. В 1914 году добровольцем уйдя на германскую войну из Московского университета, провоевав три с половиной года и вернувшись на Кубань в начале 1918, — отец погиб от несчастного случая на охоте за полгода до рождения сына. Мать растила мальчика одна, они бедствовали, жили в холодных гнилых хибарках, топили углем, воду носили в вёдрах издалека. Саня много читал и «непонятным образом с восьми– девятилетнего возраста почему-то думал, что должен быть писателем, когда ещё понятия не имел, во что это может вылиться». Детство и юность Солженицын прожил в Ростове, там окончил среднюю школу, потом физмат Ростовского университета, совмещая с заочной учёбой на литературном факультете Московского Института Истории, Философии и Литературы (МИФЛИ). Война застала его в Москве во время летней сессии.

Начав войну рядовым, прошёл краткосрочный курс артиллерийского училища и с декабря 1942 стал командиром батареи звуковой разведки, в звании лейтенанта. Воевал на Северо-Западном фронте, затем на Брянском. После Орловской битвы награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, после взятия белорусского Рогачёва

— орденом Красной Звезды. Командуя своей батареей, был непрерывно на фронте до февраля 1945, когда — уже в Восточной Пруссии, в звании капитана — был арестован за перехваченную цензурой переписку со школьным другом. В письмах молодые офицеры именовали Сталина — за «измену делу революции», за коварство и жестокость — Паханом. Расплата была неминуема. Ему было 26. Он получил 8 лет лагерей и «вечную ссылку» по отбытии срока.

В заключении Солженицын, переполненный впечатлениями предвоенной юности, картинами войны, рассказами однополчан, жестокими буднями следственных тюрем и первых лагерей, начал писать, вернее — сочинять в уме, без бумаги. На вопрос: «Как вы стали писателем?» — Солженицын ответил: «Глубоко — уже в тюрьме. Я делал литературные опыты и перед войной, писал уже настойчиво в студенческие годы. Но это не была серьёзная работа, потому что у меня не хватало жизненного опыта. Глубоко в тюремные годы я стал работать конспиративно, скрывая сам факт, что я пишу, — более всего скрывая это. Запоминал и заучивал наизусть сперва стихи, а потом уже и прозу». Часть срока он провёл на «шарашке», где заключённые специалисты раз-

рабатывали средства радио– и телефонной связи. На этом жизненном материале написан роман «В круге первом».

С 1950 по 1953 Солженицын — в каторжном лагере Экибастузе (Казахстан), где заключённые лишались имён, их выкликали по номерам, нашитым на шапку, грудь, спину и колено. Там он работал в бригаде каменщиков, потом в литейке, этот лагерь и описан в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Писатель вспоминал: «…в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях… день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался».

За год до конца срока обнаружилась у Солженицына раковая опухоль, его оперируют в лагерной больнице, но рак успел дать метастазы. Сосланный в аул Кок-Терек Джамбульской области, он преподаёт в средней школе математику, физику, астрономию — и пишет. Однако метастазы

разрастаются, боль мучает неотступно, и Солженицын, с трудом получив от комендатуры разрешение, едет в онкологическую клинику Ташкента «почти уже мертвецом». Вопреки безнадежным прогнозам мощные дозы рентгенотерапии возвращают его к жизни. Лечение длится несколько месяцев. (Позже этот опыт умирания и выздоровления напитает повесть «Раковый корпус».) Чудом излечившись, Солженицын расценил это как данную свыше «отсрочку».

И только в мае 1959, уже в Рязани, сел и написал задуманный рассказ. Написал — и спрятал. А рискнул предложить в печать — лишь спустя два с лишним года, после заливистой атаки Хрущёва на «культ личности» Сталина на XXII съезде. И Твардовский теперь, начав битву за «Ивана Денисовича», стал собирать для передачи на властный Олимп рецензии самых авторитетных писателей. К. И. Чуковский назвал свой отзыв «Литературное чудо»: «Шухов — обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, “злоупорный”, выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый… С этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель… Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом». С.

Я. Маршак, сверх официального отзыва: «По простоте и мужеству [автор], пожалуй, от протопопа Аввакума… В его вещи народ от себя заговорил…» Прочитав рукопись, Анна Ахматова отчеканила: «Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».

И вот, спустя год как «пещерная машинопись» попала в журнал, венчая одиннадцать месяцев усилий, манёвров, отчаяний и надежд Твардовского, в ноябрьской книжке «Нового мира» рассказ напечатан, тиражом более 100 тысяч. Это было чудо. «Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, — говорил спустя 20 лет Солженицын, — подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня».

В том ноябре не умолкал телефон в «Новом мире», благодарили, плакали, искали автора. В библиотеках записывались в очередь, на улицах москвичи осаждали киоски, — память о том не побледнела и через треть столетия, вот вспоминает академик С. С. Аверинцев: «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирско-

го номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история ещё не кончилась! Чего стоило идти по Москве… видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду… человека, который не умел выговорить название “Новый мир” и спрашивал у киоскёрши: “*Ну, это, это, где вся правда-то написана!”* И она понимала, про что он; это надо было видеть… Тут уж не история словесности — история России». В том же ноябре Варлам Шаламов писал Солженицыну: «Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал, вспоминал… Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что “Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал».

Хрущёвская оттепель, однако, скоро кончилась, и уже во второй половине 60-х «Один день Ивана Денисовича» тайным распоряжением изымали из библиотек, а в январе 1974 приказом Главного управления по охране государственных тайн в печати был введён директивный запрет на все

произведения Солженицына, напечатанные в СССР. Но к тому времени рассказ был прочитан миллионами наших граждан, переведен и издан на десятках европейских и азиатских языков.

А главное — публикация «Ивана Денисовича» будто прорвала плотину: «Письма мне, письма, уже сотни их, — ошеломлён Солженицын, — и новые пачки доставляют из “Нового мира”, и каждый день притаскивает рязанская почта — просто “в Рязань”, без адреса… Взрыв писем от целой России, нельзя вобрать ни в какие лёгкие, и какая же высота обозрения жизней зэческих, никогда прежде не достижимая, — льются ко мне биографии, случаи, события…» Неудивительно, что нравственная необходимость писать «Архипелаг» стала для него непреложной.

Так Солженицын стал доверенным летописцем народного горя.

Нелегко, однако, найти способ обработать огромный, неожиданно приходящий, незапланированный, неорганизованный материал. Нужно принять всё, что сохранилось, и каждому эпизоду найти место: «В лагере мне приходилось бить чугун, тяжёлые чугунные предметы на куски, их бросали в печь… и получался чугун совсем иного назначения. Так я для шутки называю

свои материалы кусками чугуна, очень ценного качества. Пускать его в переплавку, и он в новом виде появляется».

В какую же форму отлить этот переплавленный чугун? Солженицын был убеждённым противником измышления новых форм лишь ради новизны, он полагал, что, если чутко вслушаться, — материал сам подскажет и форму, и плотность, и ткань произведения. Так было и на этот раз: «Я никогда не думал о форме *художественного исследования*, а материал "Архипелага" мне её продиктовал. Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, *соединённых, однако, возможностями художника,* — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном».

Но и вольно, спокойно расположиться с этим взрывным материалом было невозможно. Скрывать приходилось даже сам факт, что идёт работа над такой книгой. Писатель никогда не держал, не совмещал на одном столе всех собранных материалов. А главный корпус «Архипелага» написал в потайном месте, в Укрывище, как его называл. Он работал там две зимы кряду — 1965/

66 и 1966/67. Но лишь через четверть века, в 1991, смог назвать — без опасности для верных друзей — место своего Укрывища и рассказать, как шла работа. То был хутор под Тарту, в Эстонии, зимой пустовавший; в доме — большие окна, старинные печи, запас дров. «В любимый Тарту я приехал в снежноинеистое утро, когда особенно была изукрашена его университетская старина и особенно казался город — полной заграницею, Европою… и посетило меня впервые в жизни ощущение безопасности, будто совсем я уехал из-под треклятой облавы ГБ. Это успокаивающее чувство облегчило начало моей работы».

В первую зиму писатель пробыл в Укрывище 65 дней, во вторую — 81. За это время сотни разрозненных заготовок превратились в жгучий текст, в машинописную книгу, больше тысячи страниц. «Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойком пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей… Во вторую зиму я сильно простудился, меня ломило и трясло, а снаружи был тридцатиградусный мороз. Я всё же колол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи

вместо горчичников, часть — лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу (“Зэки как нация”). Связи с внешним миром я себе не оставил никакой… но то всё, во внешнем мире, и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом, и единственная и последняя жизненная цель была — чтоб из этого соединения родился “Архипелаг”… а воротясь во внешний мир принять хотя б и казнь. Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости».

Ещё год дописывался, добавлялся, доправлялся «Архипелаг», наконец в мае 1968 в дачном домике под Москвой — пока соседей нет и стук машинок не слышит никто — собрались писатель с помощницами в три пары рук печатать и выверять окончательный текст. «От рассвета до темени правится и печатается “Архипелаг”, а тут ещё одна машинка каждый день портится, то сам её паяю, то вожу на починку, — вспоминал Солженицын. — Самый страшный момент: с нами — единственный подлинник, с нами — все отпечатки “Архипелага”. Нагрянь сейчас ГБ — и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших — всё в их руках, этого мне уже не восстановить… Столь-

ко десятилетий им везло — неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?»

И вот «Архипелаг» закончен, отснят, плёнка скручена — так хранить будет легче, а когда-то и переслать в недосягаемое, надёжное место. И в этот самый день приходит новость: есть возможность на днях *отправить* «Архипелаг»! — «Только потянулись сладко, что работу об-угол, — как уже в колокол! в колокол!!! — в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий — оглушительно! — и никому ещё неслышно, в июньском нежном зелёном лесу».

Приехал в Москву на неделю с группой ЮНЕСКО Саша Андреев, русский парижанин, внук писателя Леонида Андреева — друзья Солженицына хорошо знают всю семью. Просить его, не просить? И согласится ли? А если на таможне досмотрят? — гибель и книге, и автору, и ему самому. Но и — будет ли другой такой случай? «Зато — *руки чистые:* не корыстные люди, с русским подлинным чувством». — Так бы хорошо сейчас вздохнуть, отдохнуть — но не даёт послабленья долг перед погибшими. Решили отправлять.

«Только-только вынырнуло сердце из тревоги — и ныряет в новую. Отдышки нет». — Прошла мрачная, тревожная, давящая неделя, пока пришла весть об удаче. Солженицын был счастлив: «Свобода! Лёгкость! Весь мир — обойми! я — разве в оковах? я — зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Сброшено всё, что годами меня огрузняло, и распахивается простор в главную вещь моей жизни — “Красное Колесо”».

В октябре 1970 — радиовзрыв из Стокгольма: Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе! «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы».

«Премия свалилась, как снегом весёлым на голову!» — вспоминал то время Солженицын. Уж какое, казалось бы, веселье? — пять лет как имя его под запретом, личный архив — изъят и арестован, не печатается в СССР ни единая строка, — да всего-то и было напечатано после «Ивана Денисовича» четыре рассказа, а роман, повесть, пьесы, даже стихотворения в прозе — перед ними стена непрошибаемая, только Самиздат благодарно впитывает их. Год назад Солженицына исключили из Союза писателей. А он — с упоением кончает, кончает «Август Четырнадцатого»,

первый «Узел» заветной своей эпопеи о русской революции. В Стокгольм получать премию — не едет, боится, что не пустят обратно.

Но в том удача, думает Солженицын, что премия пришла, по сути, рано: «Я получил её, почти не показав миру своего написанного, лишь “Ивана Денисовича”, “Корпус” да облегчённый “Круг”, всё остальное — удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягчённые гравитацией… Главный-то грех ныл во мне — “Архипелаг”. Сперва я намечал его печатанье на Рождество 1971. Но вот оно и пришло, и прошло… уже Нобелевская премия у меня — а я отодвигаю? для тех, кто в лагерные могильники свален, как мороженые брёвна, с дрог по четыре, мои резоны — совсем не резоны. Что было в 1918, и в 1930, и в 1945 — неужели в 1971 ещё не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить — неужели не время?..»

Но ведь Архипелаг — только наследник, дитя Революции. А о ней у нас — ещё больше искажено, перевёрнуто, скрыто, и следующим поколениям докопаться будет ещё трудней. Открыть «Архипелаг» — голова на плаху, эту книгу — автору не спустят, и зэкам-свидетелям не поздоровится. *После* «Архипелага» уже не дадут писать роман

о революции — значит, как можно больше надо успеть *до*.

«В мирной литературе мирных стран — чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. А у нас — это совсем не писательская задача, но напряжённая стратегия. Книги — как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли, — с неожиданной стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на пережидание».

И Солженицын — с головой погружён в «Октябрь Шестнадцатого», и материалы собирает для Узлов следующих, и в Тамбовскую область едет, ища наглухо втоптанные следы Антоновского восстания, — а появление «Архипелага» окончательно назначает на май 1975. Но судьба распоряжается иначе. В августе 1973, после долгой слежки за одной из помощниц Солженицына, в череде трагических событий КГБ обнаруживает и захватывает промежуточный машинописный экземпляр «Архипелага». Писатель узнаёт об этом «совсем случайным фантастическим зако-

рочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города», — и тут же, 5 сентября, шлёт в Париж распоряжение: немедленно печатать! И чтоб на первой странице стояло:

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её».

Книгу тайно набирают и печатают в старейшем русском эмигрантском издательстве «ИМКА-пресс» — и 28 декабря 1973 мировое радио и пресса сообщают: «Архипелаг ГУЛАГ», первый том, вышел в Париже. Сначала — полное обомление и тишина, да ведь Новый год, — но с середины января распаляется шумная газетная травля, с каждым днём накалявшая градус «народного гнева». Навстречу ей несутся европейские отклики: «Огненный знак вопроса над всем советским экспериментом с 1918 г.». «Может быть, когда-нибудь мы будем считать появление “Архипелага” отметкой о начале распада коммунистической системы». «Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют её

прочесть». И на травлю: «Против вооружённых повстанцев можно послать танки, но — против книги?» «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын». Западные журналисты в Москве пробиваются к писателю: «Как, вы думаете, поступят с вами власти?» Он отвечает: «Совершенно не берусь прогнозировать. Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этого уже никому никогда не стереть». Он объявляет, что отказывается от гонораров за «Архипелаг»: «они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе».

Власть лихорадочно ищет, как избавиться от Солженицына. Раздавить его на глазах у мира, уже читающего «Архипелаг», не решились. 12 февраля 1974 его арестовывают, привозят в Лефортовскую тюрьму, предъявляют обвинение в «измене родине», на следующий день зачитывают Указ о лишении гражданства, везут под конвоем в аэропорт и высылают из страны.

Что же за книга такая — «Архипелаг ГУЛАГ»?

Что вышло из переплавки тяжёлых чугунных осколков?

«Архипелаг возникает из моря» — так названа глава о легендарных раннесоветских Соловках. Каковы же очертания всплывшего Архипелага?

Вслед за автором мы ступаем в ладью, на которой поплывём с острова на остров, то протискиваясь узкими протоками, то несясь прямыми каналами, то захлёбываясь в волнах открытого моря. Такова сила его искусства, что из сторонних зрителей мы быстро превращаемся в участников путешествия: содрогаемся от шипения: «Вы арестованы!», изводимся в камере всю бессонную первую ночь, с колотящимся сердцем шагаем на первый допрос, безнадёжно барахтаемся в мясорубке следствия, заглядываем по соседству в камеры смертников, — и через комедию «суда», а то и вовсе без него нас вышвыривает на острова Архипелага. — Мы сутки за сутками едем в забитом арестантами «вагон-заке», мучаясь от жажды; на пересылках нас грабят блатные; в лагерях на Колыме и в Сибири мы, истощённые голодом, замерзаем на «общих работах». Если хватает сил, мы оглядываемся и видим вокруг — и слушаем рассказы — крестьян и священников, интеллигентов и рабочих, бывших партийцев и

военных, стукачей и «придурков», уголовников и «малолеток», людей всех вер и народов, населявших Советский Союз. И лагерное начальство видим, охранников, «сынков с автоматами». И каторжные лагеря, колонны зэков с лоскутными номерами в окружении овчарок, рвущихся с поводков. Мы сами, может быть, никогда не решились бы на побег — но с какой страстью, и надеждой, и отчаянием следим мы за побегами смельчаков! И вот приходит время восстаний, — мы читаем о них и уверенно знаем, что и мы были бы со всеми, «когда в зоне пылает земля». — А те из нас, кто выжил, попадают в ссылку, и ссылка та иногда тяжелее лагеря. Тут узнаём, что миллионы наших сограждан были, оказывается, выброшены из родных мест: «мужичья чума» сгноила лучших, работящих, независимых крестьян с их семьями, при каждой судороге внутрипартийной борьбы «вычищали» и высылали сотни тысяч ни в чём не повинных горожан, а во время и после Великой войны — ссылали целые народы.

И ещё сверх этого гигантского полотна, сверх сотен людских судеб — разворачивает Солженицын историю наших карательных потоков, «нашей канализации», прослеживает путь от ленинских декретов к сталинским указам, — и становится

видно с жестокой ясностью, что не цепь «ошибок» и «нарушений законности» воздвигла проклятый Архипелаг, а был он неизбежным порождением самой Системы, без этой нечеловеческой лютости не удержать бы ей власть.

Но если бы всем тем исчерпывался «Архипелаг ГУЛАГ» — его постигла бы судьба исторических трактатов: с уходом в прошлое описанной эпохи они становятся источником сведений о ней, в лучшем случае — её памятником. Однако «“Архипелаг” невозможно рассматривать как всего лишь произведение литературы, хотя это литература, и литература великая… Это нечто совершенно уникальное, не имеющее аналогов ни в русской, ни в западной литературе», — писал один из первых критиков. Что это? — историческое исследование? личные мемуары? Политический трактат? философское размышление? — нет, «скорее сплав всех этих жанров, где целое значительнее суммы отдельных его составляющих».

Точнее всех те, кто назвал «Архипелаг» эпической поэмой. Но о чём поэма?

«Пусть захлопнет книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением, — написал Солженицын. — Если б это было так просто! — что где-то есть чёрные люди, зло-

козненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека… Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла».

Книга эта — о восхождении человеческого Духа, о единоборстве его со злом. Вот почему, закрывая её, помимо боли и гнева читатель чувствует прилив силы и света.

«Эта книга уникальна ещё и тем, что она мгновенно стала международным бестселлером и расходится миллионными тиражами (такого до сих пор не смог достичь ни один писатель, классический или современный), но при этом так и не опубликована на родине автора», — писали на Западе.

Вот уже на десятки языков переведен «Архипелаг», множество раз переиздан, в сотнях статей обсуждён, — а в СССР за подпольное чтение слепых отпечатков можно и срок получить. И всё же отчаянные множат и множат, на машинках и на фотобумаге, и один смельчак ухитрился нелегально ксерокопировать с парижского издания,

а другой в своей столярной мастерской режет и переплетает, получаются самодельные книжечки, и одну такую переслал автору с запиской: «С радостью посылаю Вам в подарок здешнее издание Книги. (Тираж — 1500, первый завод — 200 экз.) Верю, что Бог не попустит пресечь это дело. Издание — не только и не столько для московских снобов, а для провинции. Охвачены города: Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Саратов, Краснодар, Тверь и более мелкие…» — «Чувство было необычайное: здесь, за границей, получить такую книгу из России! — записал Солженицын. — Невероятное издание, смертельно опасное для своих издателей… Так — кладут головы русские мальчики, чтобы шагал “Архипелаг” в недра России. Нельзя представить их всех — без слёз…»

…Прошло 16 лет. Наша страна изменилась. «Архипелаг ГУЛАГ» напечатали. С автора сняли обвинение в «измене», он смог вернуться на родину. Многое, хоть и не всё, рассекретили. И пишет исследователь, долгие месяцы просидевший в наших архивах: «Когда через пятнадцать с лишним лет после крушения СССР перечитываешь “Архипелаг ГУЛАГ”, поражаешься не тому, что в книге есть фактические ошибки, а тому, насколько их

мало, учитывая, что у автора не было доступа ни к архивам, ни к официальным документам… Именно благодаря своей правдивости “Архипелаг” не утратил актуальности и значимости, которых у него не отнимешь» (Энн Эпплбаум, автор книги об истории ГУЛАГа (2003), получившей Пулитцеровскую премию). — Но «в том-то и всё дело, что, сколь правдиво и объективно ни было “исследование”, любое исследование, никогда не может оно стать самим ***явлением*** правды, ибо не имеет оно в себе силы воплощать. В том-то и всё дело, что дар претворения и воплощения дан только художнику, в этом его призвание, назначение и служение, и… в этом претворении и воплощении, наполненное плотью и кровью, новой жизнью и силой зажило “художество”» (о. Александр Шмеман).

Да как бы не сбылось печальное пророчество Л. К. Чуковской в её письме Солженицыну по прочтении «Архипелага»: «Это чудо, воскрешающее людей, меняющее состав крови, творящее новые души. И вот беда: Вы дожили до войны, тюрьмы, каторги, славы, любви, ненависти, изгнания — до всего. Есть только одно, до чего Вы не доживёте: до художественного анализа. Восхищения и возмущения мешают людям оценить художе-

ственную гениальность и постичь природу её… Когда же родится критик, который объяснит фразу Солженицына, абзац Солженицына, главу Солженицына? Легче всего с особенностями словаря, а синтаксис? Скрытый ритм, при отсутствии явного? Ёмкость слова? Новизна движения, развития мысли? Кто поднимет такую работу или хоть бы начнет её? Для того чтобы анализировать, надо привыкнуть, перестать обжигаться, — а мы прикованы к смыслу, сведениям, обжигаемся болью…»

И может быть, недаром опасался Иосиф Бродский, наш пятый Нобелевский лауреат: «Если советская власть не имела своего Гомера, в лице Солженицына она его получила… Возможно, что через 2 тысячи лет чтение “ГУЛАГа” будет доставлять то же удовольствие, что чтение “Илиады” сегодня. Но если не читать “ГУЛАГ” сегодня, вполне может статься, что гораздо раньше, чем через 2 тысячи лет, читать обе книги будет некому».

Живя в изгнании в североамериканском штате Вермонт, получал Солженицын письма от американских профессоров — мол, не могут наши студенты одолеть все три тома «Архипелага», хорошо бы сделать для них сокращённое ан-

глийское издание. Автор противился, но в конце концов профессор Эдвард Эриксон убедил его и представил на рассмотрение однотомный вариант. Александр Исаевич со вздохом согласился и сказал мне: «Что делать? раз не могут полный одолеть, пусть будет этот. Но уж в России, когда время придёт, сокращать не понадобится». («Архипелаг», сокращённый Эриксоном, был издан в Соединённых Штатах в 1985 году, затем в Англии, вослед и в других европейских странах, им широко пользуются на Западе преподаватели и студенты.)

И вот спустя 20 лет, в последние годы жизни Александра Исаевича, пришлось нам признать, что и в России современная жизнь не оставляет возможности — если не студентам, то школьникам — прочесть полный «Архипелаг». И, не без горечи, поручил мне Александр Исаевич составить однотомный «Архипелаг», «школьный». Задача эта отличалась от задачи профессора Эриксона в той степени, в какой отличаются от американских — не столько знания, сколько «генетический опыт» и «коллективная память» российских школьников.

Я задалась целью, при максимально возможном сокращении объёма, сохранить структуру,

архитектуру книги, чтобы она не превратилась в собрание эпизодов и осколков, но осталась непрерывным путешествием по островам Архипелага. И чтобы нашим лоцманом оставался сам Автор, проложивший для этого плавания свою непревзойдённо выверенную траекторию.

В предлагаемом тексте сжаты, но сохранены все 64 главы полного «Архипелага» (только 3 из них сокращены «радикально»: представлены лишь своим названием и несколькими конспективными строками). Добавлены поясняющие подстрочные примечания. Дополнены словари тюремно-лагерных терминов и советских сокращений. Впервые составлен словарь значимых имён.

На конечном этапе работы важные поправки, советы и предложения дали мне многолетняя помощница и друг Солженицына Е. Ц. Чуковская, учителя-словесники Т. Я. Ерёмина, Е. С. Абелюк, С. В. Волков. Я сердечно благодарна им и своим сыновьям, чья постоянная поддержка много значила для меня в этом ответственном и непростом труде.

Апрель 2010

Наталия Солженицына

Году в тысяча девятьсот сорок девятом…

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда — замёрзший древний поток, и в нём — замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая

друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех *присутствующих*, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло *охотно* съесть тритона.

А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали всё.

Но, будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому

глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет — тому два!»

Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих *вспоминать*, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? — ещё, впрочем, живого мяса, ещё, впрочем, живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц…

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами.

Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён, — а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать…

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

[перечень 227 имён].

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более — тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их на-

звать[1].

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных *там* (его лагерные мемуары так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём ***будет рассказано***.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будут большой опасностью — так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться — от тех, от погибших.

---

[1] Примечания: 1

О своих бесценных помощниках, «невидимках», А. И. Солженицын рассказал в книге «Бодался телёнок с дубом» (М.: Согласие, 1996). В 2007 году автор впервые опубликовал полный список «свидетелей Архипелага, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги». Это издание «Архипелага ГУЛАГа» (Екатеринбург: У-Фактория) было, также впервые, снабжено аннотированным Именным указателем; с тех пор все полные издания книги печатаются со списком свидетелей и Именным указателем. — *Примеч. ред.*

Часть первая – ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.

Крыленко, речь на процессе «Промпартии»

Глава 1. Арест

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько

в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: *«Вы арестованы!»*

Если уж вы арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изощрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как:

— Я?? За что?!? —

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается — страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих за-

борах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеянья:

— Я-а?? За что??..

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой.

Традиционный арест — это ещё сборы дрожа-

щими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страху.)

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. *Юристы* выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь — и остался народец

без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали.*

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — в пасть к ним, навсегда, без возврата.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронк*и*, — днём шагает молодое племя со знамёнами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание

арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её… прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую

русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдье. Однако он исполняется чисто и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали.

Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостовереньице.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Ведь кажется, достаточно разослать

всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут.)

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и *не возьмут*? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в списках!» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как

Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!»

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного! — ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комоде с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные

чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильней политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже… радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души.

«Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, — *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы ***кричать***! Кричать, что вы арестованы! Что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? может, аресты не стали бы так легки?!

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною, привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы

только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*), — я чудом вот уже четыре дня еду как *вольный* и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы — но

может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская-радиальная», он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на

губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смирного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — ***мало***! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам…

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади…

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым евро-

пейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между

остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? Порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из *мешка*, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас… — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать на

комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что *этого* не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной

смерти[2].

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четверым — впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так

---

[2] Примечания: 2

И вот удивительно: человеком всё-таки ***можно*** быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников.

на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы — и началось знакомство.

— А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах — не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках — память ранений и ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла

контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а — начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, — и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла

всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же *подкинули* пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

— Откуда, брат? Кто такой?

— С *той* стороны, — бойко ответил он. — Шпиён.

— Шутишь? — обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил — так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

— Какие могут быть шутки в военное время! — рассудительно вздохнул паренёк. — А как из плена домой вернуться? — ну научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, — вдруг новые впечатления ворвались к нам:

— На оправку! Руки назад! — звал через рас-

пахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа-старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптанным снегом — и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

— Где это — у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

— В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей чем требовалось отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное — из «смерть шпионам» — слово. Они находили его пугающим.)

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку.

— Где это — у вас? — громче чем нужно гавкнул старшина.

— В Красной армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2. История нашей канализации

Когда теперь бранят *произвол культа*, то упираются всё снова и снова в настрявшие 1937—38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни *до* не сажали, ни *после*, а только вот в 37—38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: *поток* 37—38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, — одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток 29—30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления

тяжелей.

И после был поток 44—46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы — побывавших в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он только плечами пожмёт. А Ленинграду что тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А *повторникам* или прибалтам не тяжче был 48—49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

* * *

В этом перечне труднее всего начать…

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в первые её месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы — крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти.

Однако В. И. Ленин ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7—10 января 1918) он провозгласил общую единую цель «*очистки* земли российской от всяких вредных насекомых». И под *насекомыми* он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами*, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут жёл-

тые билеты», где *расстреляют тунеядца*[3].

Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Насекомыми были все священники, а тем более — все монахи и монахини. Очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было *выдёргивать*, а кого и *шлёпать*. А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам.

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число — на несколько лет очистительной работы.

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу*,

---

[3] Примечания: 3

Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. — М.: Гос. изд-во политич. лит., 1958–1965. — Т. 35. — С. 203, 204.

и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) — Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения.

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колоколили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно, приходилось кого *расходовать* на месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918—20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого *расшлёпали*, не доведя до тюремной камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды *убирали* за крылечком сельсовета или на дворовых задах?

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс Гражданской войны отнести десятки тысяч *заложников*, этих ни в чём лично не обвинённых и даже карандашом

по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе? Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора».

Ещё с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии — эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину — и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было

приступить к их арестам! Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить до 1922, до 32-го или даже до 37-го года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он… от… до…? Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились). Иным предлагали проехать в ссылку — о, ненадолго, годика на два, на три. А то ещё мягче: только получить *минус* (столько-то городов), выбрать самому себе местожительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикреплённо и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам. Чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали её в

другую кучку. Тот, кто посидел в централе, — переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус» — в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки — в ссылку, потом снова в централ (уже другой); терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. (Короленко писал Горькому 29.6.1921: «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так! — они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан.

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был Патриарх Тихон и

проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой — протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Круги всё расширялись — и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали *монашками*.

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

Молиться можешь ты свободно,

Но… так, чтоб слышал Бог один.

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от… своих детей!! Всем религиозным давали десятку, высший тогда срок.

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё необрубленного НЭПа. А был он — напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда Войкова в Варшаве[4], залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Спайкой, стройкой, выдержкой и расправой

Спущенной своре шею сверни!

---

[4] Примечания: 4

Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается *войковский набор*. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях сажают *бывших*, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию.

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика*. Он введен, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!»)

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём воронки, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. (Это — и в других городах. В Ростове-на-Дону в подвале Тридцать Третьего Дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то

музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают *всех*, дают от трёх до десяти лет (Анне Скрипниковой — пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) — расстреливают!

Только размерами СЛОНа — Соловецкого Лагеря Особого Назначения — ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. Железные дороги — вредительство

(вот и трудно на поезд попасть). Электростанции — вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность — вредительство (керосина не достанешь). Текстильная — вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная — колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золотоплатинная, ирригация — всюду гнойные нарывы вредительства! со всех сторон — враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство и, едва начинали, — тут же и находили (с помощью ГПУ).

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженых. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться

износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый Наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжелогруженые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), — то злостные инженеры выступили теперь в виде *предельщиков* — они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Ну, в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина-Михайловского и Замятина.

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело[5] — громкое по публичности, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся *организато-*

---

[5] Примечания: 5

«Дело об экономической контрреволюции в Донбассе». Обвинены во вредительстве 53 человека. Пятеро расстреляны, четверо оправданы, остальные получили сроки от 1 до 10 лет. В 2000 году все осуждённые по Шахтинскому делу реабилитированы за отсутствием состава преступления. — *Примеч. ред.*

ры голода (они! они! Вот они!) — 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрепетированный процесс «Промпартии»[6]: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несуразицу, — те судятся неслышно, но лепятся и им — несознавшимся — те же *десятки* от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не понесли

---

[6] Примечания: 6

Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 дек. 1930) — дело о «вредительстве» в промышленности, организованном инженерами и учёными, якобы создавшими подпольную «Промышленную партию» и «Союз инженерных организаций». Из восьми обвиняемых пятеро приговорены к расстрелу с заменой на 10 лет, трое — к 8 годам лишения свободы. — *Примеч. ред.*

трубы на Архипелаг, — те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам.

И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к «Промпартии» — это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания — очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!». На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский *воздержался* (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки — необратимый процесс) — и тут же посажен! Студент Дима Олицкий — воздержался, и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии!

Пока (1927—29) это — «рабочая оппозиция»[7] или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока — сотни, скоро будут — тысячи. Но лиха беда начало. Всем свой черёд. Членик за членником прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

Так пузырились и хлестали потоки — но черезо всех перекатился и хлынул в 1929—30 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ — ГУЛАГа, что города ничего б и не заметили! — если б не потрясший их трёхлетний странный голод — голод без засухи

---

[7] Примечания: 7

Внутрипартийная оппозиция, которая выступала за передачу управления народным хозяйством профсоюзам и упрекала партийное руководство в перерождении и отрыве от масс. Существовала с конца 1919 по 1922 год, когда была разгромлена на IX съезде партии. Из всех вождей «рабочей оппозиции» после 1937 года в живых осталась одна А. М. Коллонтай (ставшая первой в мире женщиной-послом). — *Примеч. ред.*

и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был ***первый*** такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности.

Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян — крепких в хозяйстве,

крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве *крепость*. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, — лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:

— поток *вредителей* сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками;

— поток «за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» (райком обязался, а колхоз не выполнил — садись!);

— поток *стригущих колоски.* Ночная ручная стрижка колосков в поле! — совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: 10 лет как за опаснейшее хищение социалистической

собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии *закон семь восьмых*).

Но наконец-то мы можем и передохнуть! Наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки! — товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фу-у-уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но что за лай собак? Ату! Ату!

Во-ка! Это начался *Кировский* поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была *расчищена* в 1934—35[8].

* * *

Парадоксально: всей многолетней деятельно-

---

[8] Примечания: 8

«Кировский поток» — 1 декабря 1934 года был убит в Смольном С. М. Киров, первый секретарь Ленинградского горкома партии, член Политбюро. Последовали массовые репрессии: в декабре 1934 были расстреляны 14 «внутрипартийных оппозиционеров», в январе и феврале 1935 — арестовано около тысячи партийцев, в течение 1935 года были проведены и паспортные «чистки», массовая высылка из Ленинграда и области. — *Примеч. ред.*

сти всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего-навсего *одна* статья из ста сорока восьми статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года.

Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов[9].

Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как *Десятый*. Звучание его было: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти… а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в *мирное* время только *нижний* предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же ***не ограничивался***!

Таково было бесстрашие великой Державы перед ***словом*** подданного.

Пункт *Одиннадцатый* был особого рода: он не

---

[9] Примечания: 9

Обзор всех пунктов 58-й статьи см. в полном тексте «Архипелага ГУЛАГа». — *Примеч. ред.*

имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию.

На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было *двое*, тайно обменивавшихся мыслями, — *то есть* зачатки организации, *то есть* организация! (Впрочем, второй из нас этого довеска не получил.)

А пункт *Двенадцатый* наиболее касался совести граждан: это был пункт о *недонесении* в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения ***наказание не имело верхней границы***!!

Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. *Знал и не сказал* — всё равно что сделал сам!

* * *

Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927, — с полным свистом и размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937—38 годах.

Осенью, когда к двадцатилетию Октября ожи-

далась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые сроки — 15, 20 и 25 лет.

Нет нужды повторять здесь о 37-м годе то, что уже широко написано и ещё будет многократно повторено: что был нанесен крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ — НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома — Сталин подбирал себе более удобных.

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако:

кто же *первый* осмелится прекратить? Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они-то следят, *кто* покинет первый!.. И аплодисменты в безвестном маленьком зале, безвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 минут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем! Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует! — 9-ю минуту! 10-ю! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! И директор бумажной фабрики на 11-й минуте принимает деловой вид и опускается на своё место в президиуме. И — о, чудо! — куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!..

Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания 206-й (заключительного следственного протокола) следователь напоминает ему:

— И никогда не бросайте аплодировать первый!

(А как же быть? А как же нам остановиться?..)

Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью.

В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. Достаточно студенческого доноса, что их вузовский лектор цитирует всё больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует — и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он *вообще не цитирует?..* Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера. Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных обвинений: устраивали в школах ёлки *для того, чтобы жечь школы*![10]

Вдогонку главным потокам — ещё *спец*поток: жёны, Че-эСы (члены семьи). *Чеэсам*, как прави-

---

[10] Примечания: 10

Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерли в лагерях. Тридцатый — Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу — сейчас в Свердловске и благоденствуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор.

ло, всем по *восьмёрке.*

— У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, 20 лет!

— у техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58-7, 20 лет;

— водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. Сосед донёс, социально-опасный элемент, СОЭ, 8 лет;

— полуграмотный печник любил в свободное время *расписываться* — это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, 10 лет.

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД: у С. П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным «делам» арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не вернутся).

А разделение было прежнее: воронк*и* — ночью, демонстрации — днём.

Ну кто заметил в 40-м году поток жён за *неот-*

каз от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа?

Да позвольте, да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в 40-м и Прибалтике, и молдаванам? Наши братья совсем-таки оказались не чищенные, и потекли оттуда потоки *социальной профилактики* — в северную ссылку, в среднеазиатскую — и это были многие, многие сотни тысяч.

В финскую войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории! — а ведь вот поди ж ты, мы не заметили!

Отрепетировали — и как раз грянула война, а с нею — грандиозное отступление. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы, — но управились вывезти несколько тысяч семей неблагонадёжных литовцев. Забыли вывезти целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в

камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодезь.

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо.

В тылу первый же военный поток был — *распространители слухов и сеятели паники*. Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет.

Тут же был и поток *немцев* — немцев Поволжья, колонистов с Украины и Северного Кавказа, и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь, и даже герои Гражданской войны и старые члены партии, но немцы — шли в эту ссылку.

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток *окруженцев*. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и

цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет! — а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И, вместо того чтобы братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, а потом вернуться в строй, — их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами — на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже — те ли они, за кого себя выдают.

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главные его части были:

— гражданские, побывавшие под немцами;

— военнослужащие, побывавшие в плену.

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя

бы пособничество врагу.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы германским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные, были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные.

По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство наших военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.

Среди общего потока освобождённых из-под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:

в 1943 — калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;

в 1944 — крымские татары.

Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия — в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны — и сразу трогались в Сибирь, в Ка-

захстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.

Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, — и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.

С конца 1944, когда наша армия достигла Центральной Европы, — по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов — стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию.)

Захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны — гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, укрывшихся на территории союзников, но в 1946—47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки. Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах

общественного гнева?

* * *

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, — а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки *бытовиков* и собственно *уголовников*. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении. То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней.

Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали.

Однако мы в этой главе не входим в простран-

ное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или *«семь восьмых»*, закон, по которому обильно сажали — за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток»), — всё на десять лет.

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та *десятка*, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И 4 июня 1947 года огласили Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ *«четыре шестых»*.

Превосходство нового Указа было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов, — они получали до *двадцати лет* лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до *двадцати пяти (четвертная)*. Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только

политическое недоносительство есть государственное преступление, — теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.

Эта новая линия Сталина — что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, — тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.

1948—49 годы ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией *повторников*.

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947—48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на зем-

лю *воли* — в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили *брать*. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее — весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» — «Я». — «Получите ещё *десять*».)

Тут хватился Единодержец, что это мало — сажать уцелевших с 37-го года! И *детей* тех своих врагов заклятых — тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948

году снова надёжно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.

Сходные были с 37-м потоки, да несходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный *червонец,* а новая сталинская *четвертная*. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.

Не забыты были и потоки *национальные*. Всё время лился взятый из лесов сражений поток бандеровцев. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён — им лепили по десятке за недоносительство.

Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян.

В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как *космополиты*). Для того было затеяно и «дело врачей»[11]. Кажется, он со-

[11] Примечания: 11

Уголовное дело против группы кремлёвских врачей, которых обвинили в заговоре и убийстве ряда высокопоставленных советских руководителей (1952—53). Следствие с применением пыток велось против 37 арестованных и сопровождалось антисемитской кампанией в прессе. Через месяц после смерти Сталина, в апреле 1953 все арестованные по «делу врачей» были освобождены, предъявлявшиеся им обвинения публично признаны несостоятельными, а методы следствия «недопустимыми». — *Примеч. ред.*

бирался устроить большое еврейское избиение.

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог — похоже, что руками человеческими, — выйти из рёбер вон.

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.

Что ***пустых*** тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, — а воронк*и* непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.

Глава 3. Следствие

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), а в виде самого лёгкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, — то в расцвете великого Двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже

летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв.

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшней, что нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах…

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки…

* * *

В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением ис-

тины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека — согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так, чтобы взмолился он о другом конце, — а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: *дознание* разнится от *следствия* тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию.

О святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный донос влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. И такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. Насилия и пытки — это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Духовно-нравственных

преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда.

Но если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко), — то в 1937—38 насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность. В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку. Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток.

Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным. Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке признали такое сгущение сильных средств излишним, при

массовом применении — громоздким.

И кроме того, очевидно, ещё было одно обстоятельство: как всегда, Сталин не выговаривал последнего слова, подчинённые сами должны были догадаться, а он оставлял себе лазейку отступить. Планомерное истязание миллионов предпринималось всё-таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски-чистых ризах.

Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял Трибуналу заданное число во всём сознавшихся кроликов. А просто говорилось (устно, но часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия.

Истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым.

Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле.

— Начнём с самих *ночей*. Почему это ночью происходит всё главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый бессонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по-дневному, он податливей.

– *Убеждение* в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? И следователь говорит лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдёшь, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь — увидишь воздух, свет… Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если… Если речь идёт только о них самих! Но — редко так. И борьба неизбежна.

— Грубая *брань*. Нехитрый приём, но на людей воспитанных может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани.

— Удар *психологическим контрастом*. Внезапные переходы: целый допрос или часть его быть

крайне любезным, потом вдруг размахнуться пресс-папье: «У, гадина! Девять грамм в затылок!» В виде варианта: меняются два следователя, один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит — какого увидит? По контрасту хочется второму всё подписать и признать, даже чего не было.

– *Унижение* предварительное. В знаменитых подвалах Ростовского ГПУ («Тридцать третьего номера») под толстыми стёклами уличного тротуара (бывшее складское помещение) заключённых в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать голову, издавать звуки.

– *Запугивание*. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием — разумеется, лживым. 1924 год: «Не сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем». 1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь запираться — двадцать пять лет в наручниках на подземных работах!»

— *Ложь.* Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт всё время, и к нему эти все статьи не

относятся. Запугивание с заманиванием и ложью — основной приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет хуже… Вы его совсем погубите… (каково это слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) бумаги вы можете его спасти».

— *Игра на привязанности* к близким — прекрасно работает и с подследственным. Угрожают посадить всех, кого вы любите.

Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут нам не удастся чётко отделить методы психические от *физических*. Куда, например, отнести такую забаву:

— *Звуковой* способ. Посадить подследственного метров за шесть, за восемь и заставлять всё громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко.

– *Световой* способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен. Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора.

— Тюрьма начинается с *бокса*, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! Одни падают духом — и вот тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются — тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность — и легче намотать им дело.

— Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в Новочеркасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на *табуретку* — так, чтоб она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть суток! А вы попробуйте просидите шесть часов.

— А то так просто заставить *стоять*. Можно, чтоб стоял только во время допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтоб стоял от допроса до допроса (выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонялся к стене, а если заснёт и грохнется — пинать и поднимать). Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел и показал

что угодно.

— Во всех этих выстойках по 3–4–5 суток обычно *не дают пить*.

Всё более становится понятной комбинированность приёмов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с —

– *Бессонницей*, совсем не оцененною Средневековьем: оно не знало об узости того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница (да ещё соединённая с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью — что твои пытки!?) мутит разум, подрывает волю, человек перестаёт быть своим «я».

Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция. «Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий!» Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в Органах, из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъёма до отбоя (в Сухановке и ещё некоторых для этого койка убирается на день в стену, в других — просто

нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки). А главные допросы — все ночью.

— В развитие предыдущего — *следовательский конвейер*. Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи.

– *Карцеры*. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже её, оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно *холодом* (в Сухановке есть и *горячие* карцеры). Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе, арестанта же раздевают до белья, а иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижности (тесно) пробыть в карцере сутки-трое-пятеро (горячая баланда только на третий день). В первые минуты ты думаешь: не выдержу и часа. Но каким-то чудом человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь.

У карцеров бывают разновидности: сырость, вода. Уже после войны Машу Гоголь в Черновицкой тюрьме держали босую два часа *по щиколотки в ледяной воде* — признавайся! (Ей было восемнадцать лет, как ещё жалко свои ноги и сколько ещё с ними жить надо!)

— Считать ли разновидностью карцера *запира-*

ние стоя в нишу? Уже в 1933 в Хабаровском ГПУ так пытали С. А. Чеботарёва: заперли голым в бетонную нишу так, что он не мог подогнуть колен, ни расправить и переместить рук, ни повернуть головы. Это не всё! Стала капать на макушку холодная вода (как хрестоматийно!..) и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это всё только на двадцать четыре часа. Страшно это, не страшно, — но он потерял сознание, его открыли назавтра как бы мёртвым. Он далеко не сразу мог вспомнить — откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов.

– *Голод* уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ: признание из заключённого выголодить. Скудный тюремный паёк, в 1933 невоенном году — 300 грамм, в 1945 на Лубянке — 450, игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко всем, это универсально.

– *Битьё*, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комполка Карпунича-Бравена били 21 день подряд. (Сейчас говорит:

«И через 30 лет все кости болят и голова».) Вспоминая своё и по рассказам он насчитывает 52 приёма пыток.

Надо ли перечислять дальше? Много ли ещё перечислять? Чего не изобретут праздные, сытые, бесчувственные?..

Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее…

* * *

Но вот что. Ни этих пыток, ни даже самых «лёгких» приёмов не нужно, чтобы получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять ягнят, неподготовленных и рвущихся к своему тёплому очагу.

Нас просвещают и готовят с юности — к нашей специальности; к обязанностям гражданина; к воинской службе; к уходу за своим телом; к приличному поведению; даже и к пониманию изящного (ну, это не очень). Но ни образование, ни воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни: к аресту ни за что и к следствию ни о чём.

…И как же? как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями,

неподготовленному?..

Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана?

Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны.

И перед таким арестантом — дрогнет следствие!

Только тот победит, кто от всего отрёкся!

Но как обратить своё тело в камень?

Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили (1922) на ночной допрос к Дзержинскому. Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти, — и не только признали его

бесполезным для суда, но — освободили. Проявил точку зрения человек!

Н. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937, старушку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у неё в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит. — «Только не бывший, а настоящий! Верно, я удостоилась его принять». — «Так, хорошо. А к кому он дальше поехал из Москвы?» — «Знаю. Но не скажу!» (Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию.) Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушонки, она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить («цепочку потеряют»). А я — не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на ответ!»

Не сказать чтоб история русских революционеров дала нам лучшие примеры твёрдости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее *хорошее* следствие с пятьюдесятью двумя приёмами.

Шешковский не истязал Радищева. И Радищев, по обычаю того времени, прекрасно знал, что сы-

новья его всё так же будут служить гвардейскими офицерами и никто не перешибёт их жизни. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И всё же в своём коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги — и просил пощады.

Николай I не имел зверства арестовать декабристских жён, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам. Не были преданы ответственности «знавшие о приготовлении мятежа, но не донесшие». Тем более ни тень не пала на родственников осуждённых (особый о том манифест). Но даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая». Даже Пестель *раскололся* и назвал своих товарищей (ещё вольных), кому поручил закопать «Русскую правду», и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии.

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. — Когда в Крестах в 1938 старого политкаторжанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он расплакался в камере: «Царский

следователь не смел мне даже “ты” сказать!»

* * *

Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана. (Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя.)

Высок, просторен, светел, с пребольшим окном был кабинет моего следователя И. И. Езепова — и, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырёхметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким

мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти.

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: от самого ареста, когда четыре блокнота военных дневников, написанных бледным твёрдым карандашом, игольчато-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи, были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены и мне же дано везти тот чемодан в Москву, — раскалённые клещи сжимали мне сердце. Эти дневники были — моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе, и, по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой,

перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан.

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы.

Под этой трубой мы гуляли — в бетонной коробке, на крыше Большой Лубянки, на уровне шестого этажа. Стены ещё и над шестым этажом возвышались на три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву — перекличку автомобильных сирен. А видели — только эту трубу, часового на вышке на седьмом этаже да тот несчастливый

клочок Божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой.

О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. И я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я сидел у следователя. Он задавал свои обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. В протайках окна виднелись московские крыши, крыши — и над ними весёлые дымки. А я смотрел не туда, а на курган рукописей, загрудивший всю середину полупустого тридцатиметрового кабинета, только что вываленный, ещё не разобранный. В тетрадях, в папках, в самоделковых переплётах, скреплёнными и нескреплёнными пачками и просто отдельными листами — надмогильным курганом погребённого человеческого духа лежали рукописи, и курган этот конической своей высотой был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового Сталина. Я сидел и гадал: чью незаурядную

жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом?

О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! — целая погибшая культура. О, сажа, сажа из лубянских труб!! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!..

По Процессуальному кодексу считается, что за правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор. Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого допроса у прокурора, означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня.

Подполковник Котов — спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут пятнадцать он ещё и при мне молча знакомился с ней. Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям.

Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глупых *дел* как-то передались и мне. И я не поднял с ним вопросов истины. Я попросил

только исправления одной нелепости: мы обвинялись по делу двое, но следовали нас порознь (меня в Москве, друга моего — на фронте), таким образом, я шёл по делу *один*, обвинялся же по 11-му пункту, то есть как *группа*. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11-го пункта.

Он ещё полистал дело минут пять, явно не нашёл там нашей *организации*, а всё равно вздохнул, развёл руками и сказал:

— Что ж? Один человек — человек, а два человека — люди.

И нажал кнопку, чтоб меня взяли.

Вскоре, поздним вечером позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморной плите камина меня вызвал мой следователь на «двести шестую» — так, по статье кодекса, называлась процедура просмотра дела самим подследственным и его последней подписи. Нимало не сомневаясь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение.

Я распахнул крышку толстой папки и уже на крышке изнутри в типографском тексте прочёл потрясающую вещь: что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия — и

следователь обязан был эти мои жалобы хронологически подшивать в дело! В ходе следствия! Но не по окончании его…

Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел.

Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращённое истолкование их смысла неизвестными комментаторами (вроде капитана Либина). И видел гиперболизированную ложь, в которую капитан Езепов облёк мои осторожные показания.

— Я не согласен. Вы вели следствие неправильно, — не очень решительно сказал я.

— Ну что ж, давай всё сначала! — зловеще сжал он губы. — Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим.

Сначала?.. Кажется, легче было умереть, чем начинать всё сначала. Впереди всё-таки обещалась какая-то жизнь. (Знал бы я — какая!..)

И я подписал. Подписал вместе с 11-м пунктом. Я не знал тогда его веса, мне говорили только, что срока он не добавляет. Из-за 11-го пункта я попал в каторжный лагерь. Из-за 11-го же пункта я после «освобождения» был безо всякого приговора сослан навечно.

И может — лучше. Без того и другого не напи-

сать бы мне этой книги…

Глава 4. Голубые канты

Во всей этой протяжке между шестерёнок великого Ночного Заведения, где перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, — мы слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных *катов*, терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза — а то какие бы мы были историки для наших мучителей! — сами-то себя они во плоти не опишут.

Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, семижды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной (дядю Большого Дома) и в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа — хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал.

Не отказать, что для монарха — движение нравственное, потребность и попытка взглянуть на дело духовно.

Но невозможно представить себе никого из наших следователей до Абакумова и Берии вплоть, чтоб они хоть и на час захотели влезть в аре-

стантскую шкуру, посидеть и поразмыслить в одиночке.

Кому-кому, но следователям-то было ясно видно, что дела — *дуты*! Они-то, исключая совещания, не могли же друг другу и себе серьёзно говорить, что разоблачают преступников? И всё-таки протоколы на наше сгноение писали за листом лист?

Они понимали, что дела — дуты, и всё же трудились за годом год. Как это?.. Либо заставляли себя не думать (а это уже разрушение человека), приняли просто: так надо! тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не может.

Но, помнится, и нацисты аргументировали так же?

Либо — Передовое Учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем Оротукане (штрафной колымской командировке 1938 года), размягчась от лёгкого согласия М. Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять *воздействие*? — (Это поласковому — пытки.) — Но мы должны делать то, что от нас требует партия. Ты старый член партии — скажи, чтоб ты делал на нашем месте?»

Но чаще того — цинизм. Голубые канты понимали ход мясорубки. Следователь Мироненко в Джидинских лагерях (1944) говорил обречённому Бабичу, даже гордясь рациональностью построения: «Следствие и суд — только юридическое оформление, они уже не могут изменить вашей участи. Если вас нужно расстрелять, то будь вы абсолютно невинны — вас всё равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать, то будь вы как угодно виноваты — вы будете оправданы».

«Был бы человек — а *дело* создадим!» — это многие из них так шутили, это была их пословица. По-нашему — истязание, по их — хорошая работа.

По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишённые верхней сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт власти и инстинкт наживы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег.)

Ведь это же упоение — ты ещё молод, ты, в скобках скажем, сопляк, но прошёл ты *три* годика того училища — и как же ты взлетел! как изменилось твоё положение в жизни! как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот головы! Заседает учёный совет института — ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже; ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается, ты сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут — ты, спецчасть. Ты можешь пять минут посидеть и уйти, в этом твоё преимущество перед профессорами, — но потом над их решением ты поведёшь бровями (или даже лучше губами) и скажешь ректору: «Нельзя. Есть *соображения*...» И всё! И не будет! — Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир части, при твоём входе встаёт, он старается льстить тебе, угождать, он с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя две малых звёздочки, это даже забавно: ведь твои звёздочки имеют совсем другой вес, измеряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных. Над всеми людьми этой воинской части, или этого завода, или этого района ты имеешь власть, идущую несравненно глубже, чем у командира,

у директора, у секретаря райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, добрым именем, а ты — их свободой. И никто не посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете — да не только плохо! и *хорошо* — не посмеют!! Ты — есть, все чувствуют тебя! — но тебя как бы и нет. И поэтому — ты — выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой.

В одном только никогда не забывайся: и ты был бы такой же чуркой, если б не посчастливилось тебе стать звёнышком Органов — этого гибкого, цельного, живого существа, — и всё твоё теперь! всё для тебя! — но только будь верен Органам! За тебя всегда заступятся! И всякого обидчика тебе помогут проглотить! И всякую помеху упразднить с дороги! Но — будь верен Органам! Делай всё, что велят! Обдумают за тебя и твоё место: сегодня ты спецчасть, а завтра займёшь кресло следователя. Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть: какой-нибудь там заслуженный деятель искусства или герой социалистических полей, а — дунь, и нет его. («Ты — кто?» — спросил генерал Серов в Берлине всемирно известного

биолога Тимофеева-Ресовского. «А ты — кто?» — не растерялся Тимофеев-Ресовский со своей наследственной казацкой удалью. «Вы — учёный?» — поправился Серов.)

Работа следователя требует, конечно, труда: надо приходить днём, приходить ночью, высиживать часы и часы, — но не ломай себе голову над «доказательствами» (об этом пусть у подследственного голова болит), — делай так, как нужно Органам, и всё будет хорошо. От тебя самого уже будет зависеть провести следствие поприятнее, не очень утомиться, а то — хоть развлечься. Ведь скучно всё время одно и то же, скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, трусливая покорность — ну хоть посопротивлялся бы кто-нибудь! «Люблю сильных противников! Приятно переламывать им хребет!» (ленинградский следователь Шитов).

Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб (а кто их не любит?) — дурак будешь, не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наметил — будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую отметил — твоя! — потому что мужа убрать ничего не составляет.

Нет, это надо пережить — что значит быть голубою фуражкой! Любая вещь, какую увидел, — твоя! Любая квартира, какую высмотрел, — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твоё, голубое!!

А уж страсть нажиться — их всеобщая страсть. Как же не использовать такую власть и такую бесконтрольность для обогащения? Да это святым надо быть!..

Если бы дано нам было узнавать скрытую движущую силу отдельных арестов — мы бы с удивлением увидели, что, при общей закономерности *сажать*, частный выбор, *кого* сажать, личный жребий в трёх четвертях случаев зависел от людской корысти и мстительности, и половина тех случаев — от корыстных расчётов местного НКВД (и прокурора конечно, не будем их отделять). Как началось, например, 19-летнее путешествие Василия Григорьевича Власова на Архипелаг? С того случая, что он, заведующий райпо (старинное село Кадый Ивановской области), устроил продажу мануфактуры для партактива (что — не для народа, никого не смутило), а жена прокурора

не смогла купить: не оказалось её тут же, сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся, и Власов не догадался — «я, мол, вам оставлю» (да он по характеру никогда б и не сказал так). И ещё: привёл прокурор Русов в закрытую партстоловую приятеля, не имевшего прикрепления туда (то есть чином пониже), а заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. И ещё, так же горько, оскорбил он рай-НКВД. И присоединён был к правой оппозиции!..

Соображения и действия голубых кантов бывают такие мелочные, что диву даёшься. Оперуполномоченный Сенченко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку и при нём же пользовался. — Следователь Фёдоров (станция Решёты, п/я 235) при обыске на квартире у вольного Корзухина сам украл наручные часы. — Следователь Николай Фёдорович Кружков во время Ленинградской блокады заявил Елене Викторовне Страхович, жене своего подследственного К. И. Страховича: «Мне нужно ватное одеяло. Принесите мне!» Она ответила: «Та комната опечатана, где у меня тёплые вещи». Тогда он поехал к ней домой; не нарушая гебистской пломбы, отвинтил всю двер-

ную ручку («вот так работает НКГБ!» — весело пояснял ей) и оттуда стал брать у неё тёплые вещи, по пути ещё совал в карманы хрусталь (Е. В. в свою очередь тащила, что могла, своего же. «Довольно вам таскать!» — останавливал он, а сам тащил). Подобным случаям нет конца.

Однако судьба роковая — сесть самим, не так уж редка для голубых кантов, настоящей страховки от неё нет, а нижний ум говорит: редко когда, редко кого, меня минует, да и свои не оставят.

Свои действительно стараются в беде не оставлять, есть условие у них немое: своим устраивать хоть содержание льготное.

Но всем рискуют те гебисты, кто попадают в *поток* (и у них свои потоки!..). Поток — это стихия, это даже сильнее самих Органов, и тут уж никто тебе не поможет, чтобы не быть и самому увлечённому в ту же пропасть.

Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления Органов — периодическому малому жертвоприношению, чтоб оставшимся принять вид очищенных. Какие-то косяки гебистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осётр идёт погибать

на речных камнях, чтобы замениться мальками. И короли Органов, и тузы Органов, и сами министры в звёздный назначенный час клали голову под свою же гильотину.

Один косяк увёл за собой Ягода. Вероятно, много тех славных имён, которыми мы ещё будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а фамилии их потом вычёркивались из поэтических строчек.

Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов.

И потом был косяк Берии.

А грузный самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того, отдельно.

Историки Органов когда-нибудь (если архивы не сгорят) расскажут нам это шаг за шагом — и в цифрах, и в блеске имён.

* * *

Но, как советует народная мудрость: говори на волка, говори и по волку.

Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови?

Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким

не стал бы и я?

Это — страшный вопрос, если отвечать на него честно.

Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз, и второй раз и, почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физматов, химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училища НКВД. А мы отбивались стойко (жалко было университет бросать).

Через четверть столетия можно подумать: ну да, вы понимали, какие вокруг кипят аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают. Нет!! Ведь воронк*и* ходили ночью, а мы были — эти, дневные, со знамёнами. Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей — так для нас это было решительно всё равно. Посадили двух-трёх профессоров, так мы ж с ними на танцы не ходили, а экзамены ещё легче будет сдавать. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и как ровесников нас ожидало самое светлое будущее.

Легко не очертишь то внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что мешало нам со-

гласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из прослушанных лекций по истмату: из них ясно было, что борьба против внутреннего врага — горячий фронт, почётная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде: провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю да скудной зарплаты; училища НКВД сулили пайки и двойную-тройную зарплату. Сопротивлялась какая-то вовсе не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать: «надо!», и голова твоя собственная тоже: «надо!», а грудь отталкивается: не хочу, ворóтит. Без меня как знаете, а я не участвую.

Это очень издали шло, пожалуй от Лермонтова. От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гаже жандармской.

Всё же кое-кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если б очень крепко нажали — сломили б нас и всех. И вот я хочу вообразить: если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах — чтó б из меня вышло?

Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением.

Если б это было так просто! — что где-то есть

чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?..

В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нём, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство рассветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем всё.

Завещал нам Сократ: познай самого себя!

И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов *нас* — пожалуй, и мы б не сплошали!..

От добра до худа один шаток, говорит пословица.

Значит, и от худа до добра.

Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать: *там* были

и хорошие!

Вообще б их там быть не должно: таких туда брать избегали, при приёме разглядывали. Такие сами исхитрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани один ленинградский лётчик после госпиталя умолял в тубдиспансере: «Найдите что-нибудь у меня! в Органы велят идти!» Изобрели ему рентгенологи туберкулёзный инфильтрат — и сразу от него гебешники отказались.

Кто ж попадал по ошибке — или встраивался в эту среду, или выталкивался ею, выживался, даже попадал на рельсы сам. А всё-таки — не оставалось ли?..

В Кишинёве молодой лейтенант-гебист приходил к Шиповальникову ещё за месяц до его ареста: уезжайте, уезжайте, вас хотят арестовать! (Сам ли? мать ли его послала спасти священника?) А после ареста досталось ему же и конвоировать отца Виктора. И горевал он: отчего ж вы не уехали?

Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписывать 206-ю статью, она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем семнадцати участникам их «религиозной группы». Он рассвирепел, но отказать не мог. Чтоб не томиться с ней, отвёл её тогда в большую

канцелярию, где сидело сотрудников разных с полдюжины, а сам ушёл. Сперва Корнеева читала, потом как-то возник разговор — и перешла Вера к настоящей религиозной проповеди вслух. (А надо знать её. Это — светящийся человек, с умом живым и речью свободной, хотя на воле была только слесарем, конюхом и домохозяйкой.) Слушали её затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них всех с неожиданной стороны. Набралась полная комната, и из других пришли. Пусть это были не следователи — машинистки, стенографистки, подшиватели папок — но ведь *их* среда, Органы же, 1946 года. Разное успела она сказать. И об изменниках родине: а почему их не было в Отечественную войну 1812 года, при крепостном-то праве? Уж тогда естественно было им быть! Но больше всего она говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, всё ставилось у вас на разнузданные страсти, «грабь награбленное», — и тогда верующие вам, естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите *строить* и блаженствовать на этом свете, — зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же — самый дорогой материал: ведь над верующим не надо контроля, и верующий не украдёт и не отлынет от работы. А вы думаете

построить справедливое общество на шкурниках и завистниках? У вас всё и разваливается. Зачем вы плюёте в души лучших людей? Дайте Церкви истинное отделение, не трогайте её, вы на этом не потеряете! Вы материалисты? Так положитесь на ход образования — что, мол, оно развеет веру. А зачем арестовывать? — Тут вошёл Гольдман и грубо хотел оборвать. Но все закричали на него: «Да заткнись ты!.. Да замолчи!.. Говори, говори, женщина!» (А как назвать её? Гражданка? Товарищ? Это всё запрещено, запуталось в условностях. Женщина! Так, как Христос обращался, не ошибёшься.) И Вера продолжала при своём следователе!!

Так вот эти слушатели Корнеевой в гебистской канцелярии — почему так живо легло к ним слово ничтожной заключённой?

Как ни ледян надзорсостав Большого Дома — а самое внутреннее ядрышко души, от ядрышка ещё ядрышко — должно в нём остаться? Рассказывает Наталья Постоева, что как-то вела её на допрос бесстрастная, немая, безглазая выводн*ая* — и вдруг где-то рядом с Большим Домом стали рваться бомбы, казалось — сейчас и на них. И выводная кинулась к своей заключённой и в ужасе обняла её, ища человеческого слития и сочув-

ствия. Но отбомбились. И прежняя безглазость: «Возьмите руки назад! Пройдите!» — Конечно, эта заслуга невелика — стать человеком в предсмертном ужасе. Как и не доказательство доброты — любовь к своим детям («он хороший семьянин», часто оправдывают негодяев).

Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лермонтове были — «и вы, мундиры голубые!», потом были голубые фуражки, голубые погоны, голубые петлицы, им велели быть не такими заметными, голубые поля всё прятались от народной благодарности, всё стягивались на их головах и плечах — и остались кантиками, ободочками узкими — а всё-таки голубыми!

Это — только ли маскарад?

Или всякая чернота должна хоть изредка причащаться неба?

Красиво бы думать так.

Как это понять: *злодей*? Что это такое? Есть ли это на свете?

Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказке рисовать злодеев — для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-чёрных злодеев

— и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, — нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. Их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою — чёрной. Так и рассуждают: не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата! Дай-ка упьюсь страданиями жертвы! Яго отчётливо называет свои цели и побуждения — чёрными, рождёнными ненавистью.

Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать *оправдание* своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягнёнок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что не было у них *идеологии*.

Идеология! — это она даёт искомое оправдание злодейству и нужную долгую твёрдость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почёт. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины,

колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря Идеологии досталось Двадцатому веку испытать злодейство миллионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать — и как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев — не бывает? А кто ж эти миллионы уничтожал? А без злодеев — Архипелага бы не было.

Физика знает *пороговые* величины или явления. Это такие, которых вовсе нет, пока не перейдён некий природе известный, природою зашифрованный порог. Сколько ни свети жёлтым светом на литий — он не отдаёт электронов, а вспыхнул слабый голубенький — и вырваны (переступлен порог фотоэффекта)! Охлаждай кислород за сто градусов, сжимай любым давлением — держится газ, не сдаётся! Но переступлено сто восемнадцать — и потёк, жидкость.

И видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства — в его возможностях возврат, и сам он — ещё в объёме нашей надежды. Когда же густотою злых

поступков или какой-то степенью их или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог — он ушёл из человечества. И может быть — без возврата.

* * *

Представление о справедливости в глазах людей исстари складывается из двух половин: добродетель торжествует, а порок наказан.

Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель, битая, хилая, теперь допущена войти в своём рубище, сидеть в уголке, только не пикать.

Однако никто не смеет обмолвиться о пороке. Да, над добродетелью измывались, но порока при этом — не было. Да, сколько-то миллионов спущено под откос — а виновных в этом не было. И если кто только икнёт: «а как же *те, кто*…», — ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбиво: «ну что-о вы, товарищи! ну зачем же старые раны тревожить?!»

И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено **восемьдесят шесть тысяч** преступных нацистов — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и по-

сле работы останемся на митинг и проголосуем: мало! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около *тридцати человек*.

То, что за Одером, за Рейном, — это нас печёт. А то, что в Подмосковье и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем, — это нас не печёт, не трогает, это — «старое ворошить».

А между тем, если 86 тысяч западногерманских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны **четверть миллиона**!

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: *для чего* Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле?

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений — поколе-

ниями слюнтяев: сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости.

В Двадцатом веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое «старое», которое «не надо ворошить»!

Мы должны осудить публично самую *идею* расправы одних людей над другими! Молча*а* о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы *сеем* его, и он ещё тысячекратно взойдёт в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они «равнодушные» и растут, а не из-за «слабости воспитательной работы». Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие.

И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить.

Глава 5. Первая камера – первая любовь

Это как же понять — камера и вдруг любовь?..

Сесть, перебирать, зажмурив глаза: в скольких камерах пересидел за свой срок. Даже трудно их счесть. И в каждой — люди, люди… В иной два человека, а в той — полтораста. Где просидел пять минут; где — долгое лето.

Но всегда изо всех на особом твоём счету — первая камера, в которой ты встретил себе подобных, с обречённою той же судьбой. Ты её будешь всю жизнь вспоминать с таким волнением, как разве ещё только — первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой пол и воздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты передумывал по-новому, — эти люди ещё когда-то вспомнятся тебе как твои семейные.

Да в те дни — они только и были твоей семьёй.

Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей жизни *до*, во всей твоей жизни *после*. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя и ещё сколько-то после (хотелось бы думать, что — меньше…) — но един-

ственна и неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие.

Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопяная кутузка без окна, без вентиляции, без нар — грязный пол, коробка, называемая КПЗ, — при сельсовете, милиции, при станции или в порту. Одиночка Архангельской тюрьмы, где стёкла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный божий свет и постоянная лампочка в пятнадцать ватт вечно горела бы с потолка. Или «одиночка» в городе Чойбалсане, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели четырнадцать человек впритиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских «психических» камер, вроде 111-й, окрашенная в чёрный цвет и тоже с круглосуточной двадцативаттной лампочкой, а остальное — как в каждой лефортовской: асфальтовый пол; кран отопления в коридоре, в руках надзирателя.

Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил — а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде; что-то между вашими душами колотившееся; их удивительные иногда слова; и родившиеся в тебе именно там освобождённые плавающие мысли,

до которых недавно не мог бы ты ни допрыгнуть, ни вознестись.

Ещё до той первой камеры тебе что*то* стоило пробиться! Тебя держали в яме, или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором никто не глянул — а только выклёвывали железными клювами из мозга твоего и из сердца, ты кричал, ты стонал — а они смеялись.

Ты неделю или месяц был одинёшенек среди врагов, и уже расставался с разумом и жизнью — и вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум — вернулся к тебе.

Вот что такое первая камера!

Ты этой камеры ждал, ты мечтал о ней почти как об освобождении — а тебя закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую-нибудь чёртову легендарную Сухановку.

Сухановка — это та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. (А кто там был — потом не допросишься: или бессвязный бред несут, или нет их в живых.)

Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь, два корпуса — срочный и следственный

из 68 келий. Везут туда воронк*а*ми два часа, и мало кто знает, что тюрьма эта — в нескольких километрах от Горок Ленинских и от бывшего имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг.

Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером — опять же узким таким, что, если стоять ты не в силах, остаётся висеть на упёртых коленях, больше никак. В таком карцере держат и больше суток — чтобы дух твой смирился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, — а потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор — и картошечку поджаренную, и биточек, делят здесь на двенадцать человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но растравлен больнее.

Камеры-кельи там устроены все на двоих, но подследственных держат чаще по одному. Камеры там — полтора метра на два. В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни, и на каждый пень, если надзиратель отопрёт в стене английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов (то есть на часы следствия, днём его там не ведут вообще) полка и сваливается со-

ломенный матрасик размером на ребёнка. Днём стулик освобождается, но сидеть на нём запрещено. Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель открывает её штырём. Прогулок не бывает никогда, оправка — только в шесть утра, вечером её нет. На отсек в семь камер приходится два надзирателя, оттого глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к третьей, — ты всегда смотришься и всегда во власти.

Но если ты прошёл весь поединок с безумием, все искусы одиночества и устоял — ты заслужил свою первую камеру! И теперь ты в ней заживишься душой.

Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — других живых, кто тоже идёт твоим путём и кого ты можешь объединить с собою радостным словом *мы*.

Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменили твою личность («мы все как один!.. мы горячо негодуем!.. мы требуем!.. мы клянёмся!..»), — теперь открывается тебе как сладостное: ты не один на свете! Есть ещё мудрые духовные существа — *люди*!!

* * *

После четырёх суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в своём ослепительном электрическом боксе лёг по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я всё слышал, но прежде, чем он скажет: «Встаньте! На допрос!» — хотел ещё три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного: «Встаньте! Соберите постель!»

Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казённый матрас. Надзиратель на цыпочках, всё время делая мне знаки, чтоб я не шумел, повёл меня могильно-бесшумным коридором четвёртого этажа Лубянки мимо стола корпусного, мимо зеркальных номерков камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас.

Хотя после отбоя прошли каких-нибудь четверть часа, но у подследственных такое хрупкое ненадёжное время сна и так мало его, что жители 67-й камеры к моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки поверх

одеяла.

От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос.

И эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья. И они — улыбнулись. И какое ж это было забытое выражение! — а всего за неделю!

— С воли? — спросили меня. (Обычный первый вопрос новичку.)

— Не-ет, — ответил я. (Обычный первый ответ новичка.)

Они имели в виду, что я, наверно, арестован недавно и значит, *с воли*. Я же после девяноста шести часов следствия никак не считал, что я с «воли», разве я ещё не испытанный арестант?.. И всё-таки я был с воли! И безбородый старичок с чёрными очень живыми бровями уже спрашивал меня о военных и политических новостях. Потрясающе! — хотя были последние числа февраля 45-го года, но они ничего не знали ни о Ялтинской

конференции[12], ни об окружении Восточной Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире — и вот они ничего не знали!

Я готов был полночи теперь им обо всём рассказывать — с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный надзиратель внёс мою кровать, и надо было бесшумно её расставить.

Кровать мы расставили — и тут бы мне рассказывать (конечно, шёпотом и лёжа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер), но третий наш сокамерник, лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженой голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью, украшающей северян:

— Завтра. Ночь для сна.

И это было самое разумное. Любого из нас в

---

[12] Примечания: 12

На Ялтинской конференции (4—11 февраля 1945) встретились Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин — главы Великобритании, США и СССР, трёх союзных во Второй Мировой войне государств. Они договорились о послевоенном переделе государственных границ Европы, чем на десятилетия определили её судьбу, и наметили основы будущей Организации Объединённых Наций. — *Примеч. ред.*

любую минуту могли выдернуть на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдёт спать, а здесь уже спать запретится.

Одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты.

Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от двухсотваттной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровски припрятали, и заснули.

А я лежал, переполненный праздником быть с людьми. Ведь час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в затылке (следователь всё время мне это обещал), так никого и не повидав. Надо мной по-прежнему висело следствие, но как оно сильно отступило! Завтра буду рассказывать я, завтра будут рассказывать они — что за интересный будет завтра день, один из самых лучших в жизни!

Того старичка с живыми бровями (да в шестьдесят три года он держался совсем не старичком) звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лубянскую камеру — и как хранитель

старых русских тюремных традиций, и как живая история русских революций.

Фамилию Фастенко мы тут же, в камере, прочли в попавшейся нам книге о революции 1905 года.

Свой первый тюремный срок он получил ещё молодым человеком, в 1904 году, но после Манифеста 17 октября 1905 был освобождён вчистую.

Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило: 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые четыре года он отбывал в Севастопольском централе.

Зато в енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки — и всё больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко «бежал», то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он спокойно пересек в поезде всю Россию-матушку и поехал на Украину. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была неугрожающей и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхания погони, что проявил удивительную

беззаботность: доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии! Как же быть? Пассажиров было человек сорок, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался: притворился спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут ещё не был уверен, что это — его. Наконец дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо: «Господин Макаров! Господин Макаров! Пожалуйста, ваш паспорт!»

Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского, при партийной школе Лонжюмо выполнял какие-то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский язык, озирался — и вот его потянуло дальше, смотреть мир. Перед войной он переехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединённых Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко: он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна.

А тут в России произошла — прежде, чем ждали её, — долгожданная революция, и все возвращались. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего

порыва к этим революциям. Но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелётах.

Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его, в уважение к старым подпольным заслугам, усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, — но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом ещё скромней, потом перешёл в трест «Мосгороформление» и там работал совсем уж незаметно.

Я удивлялся: почему такой уклончивый путь? Он непонятно отвечал: «Старого пса к цепи не приучишь».

Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешёл на тихую маленькую пенсию — и так бы он, может, дотянул до 1953 года. Но, на беду, арестовали его соседа по квартире — вечно пьяного беспутного писателя Л. Соловьёва, который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор, а Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым — уж вылитый террорист. И вот теперь следователь *клепал* ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской и канадской разведке, а значит, и осведомителем царской

охранки. И в 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьёзно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьёзные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года.

А старушка-жена (детей у них не было) в разрешённый десятый день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи: кусочек чёрного хлеба граммов на триста (ведь он покупался на базаре и стоил сто рублей килограмм!) да дюжину варёных облупленных (а на обыске ещё и проколотых шилом) картофелин. И вид этих убогих — действительно святых! — передач разрывал сердце.

Столько заслужил человек за шестьдесят три года честности и сомнений.

Четыре койки в нашей камере ещё оставляли посередине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили койку поперёк.

Новичка ввели за час до подъёма, за тот самый сладко-мозговой часочек, и трое из нас не подняли голов, только один соскочил, стали раз-

говаривать шёпотом, мы старались не слушать, но не отличить шёпота новичка было нельзя: такой громкий, тревожный, напряжённый и даже близкий к плачу, что можно было понять — нерядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел.

Когда же по подъёму мы дружно вскочили (залёжка грозила карцером), то увидели — генерала! То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинченных, ни даже петлиц — но дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо! — нет, это был несомненный генерал, типовой генерал, и даже непременно полный генерал, а не какой-нибудь там генерал-майор. Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно толст, но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а — значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо — не сверху, правда, а снизу — бульдожьей челюстью, и здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к середовым годам.

Стали знакомиться, и оказалось, что Леонид Вонифатьевич Зыков — ещё моложе, чем выглядит, ему в этом году только исполнится тридцать

шесть («если не расстреляют»), а ещё удивительней: никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а — инженер!

Инженер?! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта лёгкость и широта мысли, непринуждённость переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники — к обществу, к искусству. Затем — эту воспитанность, хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек; и всегда у всех — духовная печать на лице.

С начала тридцатых годов я утерял связь с этой средой. Потом — война. И вот передо мной стоял — инженер. Из тех, кто пришёл на смену уничтоженным.

В одном превосходстве ему нельзя было отказать: он был гораздо сильнее, нутрянее *тех*. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобождённый от тягомотины вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем *те*, и работал иначе.

Отец его пахал землю в самом полном и насто-

ящем смысле. Лёня Зыков был из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов сокрушались и Белинский, и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в Академию не пришёл, но талантлив — а пахать бы землю и ему, если б не революция.

По советскому времени он пошёл в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из безызвестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в Промышленную Академию. Он попал туда в 1929 — ну как раз когда гнали стадами в ГУЛАГ *тех* инженеров. Надо было срочно выращивать своих — сознательных, преданных, стопроцентных. Такой был момент, что знаменитые *командные высоты* над ещё не созданной промышленностью — пустовали. И судьба его набора была — занять их.

Жизнь Зыкова стала — цепь успехов, гирляндой накручиваемая к вершине. Эти изнурительные годы — с 1929 по 1933, когда Гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, но билетов им не давали, и уехать они не умели — и покорным зипунно-лапотным

человеческим повалом умирали под заборами станций, — в это время Зыков не только не знал, что хлеб горожанам выдаётся по карточкам, но имел *студенческую* стипендию в девятьсот рублей (чернорабочий получал тогда шестьдесят). За деревню, отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце: его новая жизнь вилась уже тут, среди победителей и руководителей.

Побыть рядовым десятником он не успел: ему сразу подчинялись инженеров десятки, а рабочих тысячи, он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим гл*а*вком в Алма-Ату и здесь ворочал ещё б*о*льшими стройками на реке Ил*и*, только работали у него теперь заключённые.

Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни Зыкова! Он сразу умело вошёл в новый военный ритм народного хозяйства: всё для победы, рви и давай, а война всё спишет! Одну только уступку войне он сделал: отказался от костюмов и галстуков и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель — вот этот, в котором пришёл теперь к нам. Так было — модно, общо, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих взглядов

женщин.

Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами; они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки, расходный бумажник пузырился у него как бочонок, червонцы шли у него за копейки, тысячи — за рубли, Зыков их не жалел, не копил, не считал.

Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле! Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно всё согласовать, утрясти, замазать! Он забыл, что, чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он под следствием, ещё с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались ещё доносики и ещё показания агентов. И ещё был донос, что в 1941 он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев (он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы). Зыков зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации, — он думать забыл, что ещё есть 58-я статья. И всё-таки эта глыба долго могла б на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его просну-

лось, дрогнуло и покатило с горы.

Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как Зыков, не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждёт его не больше как десятка, что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом и не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясён крушением столь славной жизни! И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой толстой рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато:

Позабы-ыт позабро-оше-ен
С молоды-ых ю-уных ле-ет,
Я остался си-иро-ото-ою-у…

И никогда не мог дальше! — тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на жалость к себе.

И — к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день (чаще не разрешали) носила ему обильные богатые передачи — белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербро-

дику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью (ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика), и снова лились его слёзы, вдвое. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник с иголочками сединок, объяснил мне: «Жестокость обязательно подстилается сентиментальностью. Это — закон дополнения. Например у немцев такое сочетание даже национально».

А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу. Обняв меня за плечи, он говорил:

Это что – стоять за правду!
Ты за правду посиди!

Или учил меня напевать свою песню, каторжанскую:

Если погибнуть придётся
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всегда отзовётся
На поколеньях живых!

Верю! И пусть страницы эти помогут сбыться

его вере!

* * *

Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так интересны, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел.

Самые тяжёлые часы в дне — два первых: по грохоту ключа в замке мы вскакиваем без промешки, стелем постели и пусто и безнадёжно сидим на них ещё при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, когда постылым кажется весь мир, и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере ни глоточка, — особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но одна таки процедура в эти два часа совершается: утренняя оправка.

Это — та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать. В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день. При тюремной неподвижности и скудости еды, после немощного забытья, вы никак ещё не способны

рассчитаться с природой по подъёму. И вот вас быстро возвращают и запирают — до шести вечера. Теперь вы будете волноваться от подхода дневного допросного времени, и от событий дня, и нагружаться пайкой, водой и баландой, но никто уже не выпустит вас в это славное помещение, лёгкий доступ в которое не способны оценить *вольняшки*.

А вот уже слышно, как очки раздают, — двери раскрываются. Вот принесли очки и нашим. Фастенко в них только читает, а Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться, надел. В его роговых очках — прямые линии надглазий, лицо становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Ещё перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет ещё английским и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был

видным адвокатом Эстонии, и звали его *kuldsuu* (золотые уста).

В коридоре новое движение: дармоед в сером халате — здоровый парень, а не на фронте, принёс нам на подносе наши пять паек и десять кусочков сахара. Эти четыреста пятьдесят граммов невзошедшего сырого хлеба, с болотной влажностью мякиша, наполовину из картофеля, — наш *костыль* и гвоздевое событие дня. Начинается жизнь! Начинается день, вот когда начинается! У каждого тьма проблем: правильно ли он распорядился с пайкой вчера? резать ли её ниточкой? или жадно ломать? или отщипывать потихоньку? ждать ли чая или навалиться теперь? оставлять ли на ужин или только на обед? и по сколько?

Девять часов. Утренняя поверка. Начинается день. Уже приходят там где-то следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью: он выговаривает первую букву только: «кто на Сы?», «кто на Фэ?». Такой порядок заведен против надзирательских ошибок: выкликнет фамилию не в той камере, и так мы узнаем, кто ещё сидит.

В ясные дни поверх намордника, из колодца лубянского двора, от какого-то стекла шестого или седьмого этажа, к нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас

это подлинный зайчик — живое дорогое существо! Мы ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его исполнен смысла, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас.

Прогулка плоха первым трём этажам Лубянки: их выпускают на нижний сырой дворик — дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов четвёртого и пятого этажей выводят на орлиную площадку — на крышу пятого. Бетонный пол, бетонные трёхростовые стены, рядом с нами надзиратель безоружный, и ещё на вышке часовой с автоматом, — но воздух настоящий и настоящее небо! «Руки назад! идти по два! не разговаривать! не останавливаться!» — но забывают запретить запрокидывать голову! И ты, конечно, запрокидываешь. Здесь ты видишь не отражённым, не вторичным — само Солнце! само вечно живое Солнце! или его золотистую россыпь через весенние облака.

Весна и всем обещает счастье, а арестанту десяте-рицей. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, Небо! Я ещё исправлю свои ошибки — не перед *ними* — перед

тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю!

Как из ямы, с далёкого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества, — а отсюда так ясно их ничтожество.

Прогулка всего двадцать минут, но сколько ж забот вокруг неё, сколько надо успеть!

Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это не важно, надо уметь, — зато именно здесь вас, вероятно, не слышит ни *наседка*, ни микрофон.

На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару — мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моём плане и как будто никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история русской революции. А вот свела судьба с Сузи, теперь он увлечённо рассказывает мне всё о своём, а своё у него — это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более — буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюблённые рассказы о двадцати

свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; охотно вникаю в их роковую историю: между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на неё в черёд удары с востока и с запада — и не было видно этому чередованию конца, и ещё до сих пор нет. И ударили по Эстонии ещё и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвёртом, и одних сыновей брала советская армия, других немецкая, а третьи бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе. И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их таллинских квартир. Теперь их человек пятнадцать сидело на московской Лубянке в разных камерах по одному, и обвинялись они по 58-2 в преступном желании самоопределиться.

Возврат с прогулки в камеру это каждый раз — маленький арест. После прогулки хорошо бы закусить, но не думать, не думать об этом! Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду — прочь такую книгу!

Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды!

А библиотека Лубянки — её украшение. Вероятно, свозили её из конфискованных частных библиотек; книголюбы, собиравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное: десятилетиями повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой — и здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пильняка, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. (А иные шутили: нас считают погибшими, потому и дают читать запрещённое.)

В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать, и погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать кому-нибудь, что ты прочёл и что отсюда следует, и вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время!

Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали звяканье в коридоре, потом вносили по-ресторанному на подносе каждому две алюминиевые тарелки (не миски): с черпаком супа и с черпаком водянистой безжирной кашицы.

Тут подходит время вечерней оправки, которую ты скорее всего с содроганием ждал целый

день. Каким облегчённым становится сразу весь мир! Как в нём сразу упростились все великие вопросы — ты почувствовал?

Невесомые лубянские вечера! (Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждёшь ночного допроса.) Невесомое тело, ровно настолько удовлетворённое кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнёта. Какие лёгкие свободные мысли! Да не об этом ли и Пушкин мечтал:

> *Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!*

Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь… Спорим мы, конечно, и по вечерам, но всё-таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное и даже примиряющее и говорить всем согласно.

Один из таких любимейших тюремных разговоров — разговор о тюремных традициях, о том, *как сидели раньше*. У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключённым была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом

невест добивались свиданий. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам? Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котёл. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка — и та несла десяток крашеных яиц, и сердце её облегчалось. И куда же делась эта русская доброта?

А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только — вкусная еда? Они создавали тёплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся.

Так мы разговоримся о всякой всячине, что-то смешное вспомним, — а между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка, и очки отобрали — и вот мигает трижды лампа. Это значит — через пять минут отбой!

Скорей, скорей, хватаемся за одеяла! Как на фронте не знаешь, не обрушится ли шквал снарядов, вот сейчас, через минуту, возле тебя, — так и здесь мы не знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем одну руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать!

* * *

Под первое мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась.

Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке, ещё пасхальная неделя не миновала, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, на следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс (мы слухом чувствовали расположение всех дверей) и при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчётливо слышен был каждый удар в мягкое и в захлебывающийся рот.

Второго мая Москва лупила тридцать залпов, это значило — европейская столица. Их две осталось невзятых — Прага и Берлин, гадать приходилось из двух.

Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1 мая и 7 ноября.

По этому мы только и догадались о конце войны.

Вечером отхлопали ещё один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили ещё салют — кажется, в

сорок залпов, — это уж был конец концов.

Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки и всех окон московских тюрем смотрели и мы, бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо.

Борис Гаммеров — молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности (неизлечимое ранение лёгкого), уже посаженный со студенческой компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишьи, в самых обыденных строках: как уже легли на нарах, накрывшись шинелями; как проснулись от шума; приподняли головы, сощурились на намордник: а, салют; легли

И снова укрылись шинелями.

Теми самыми шинелями — в глине траншей, в пепле костров, в рвани от немецких осколков.

Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна.

Глава 6. Та весна

В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров откуда-то изнедалека — с Лесной улицы или с Новослободской. Это были всё марши, их начинали заново и заново.

А мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы за мутно-зелёными намордниками из стеклоарматуры и слушали. Слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду Победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье — четвёртую годовщину начала войны.

Камням, которые легли в фундамент, кряхтеть и вдавливаться, не им увенчивать здание. Но даже почётно лежать в фундаменте отказано было тем, кто, бессмысленно покинутый, обречённым лбом и обречёнными рёбрами принял первые удары этой войны, отвратив победу чужую.

Та весна 45-го года в наших тюрьмах была по преимуществу весна русских *пленников*. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми плотными серыми косяками, как океанская сельдь.

Не одни пленники проходили те камеры

— лился поток всех, побывавших в Европе: и эмигранты Гражданской войны; и *ost'*овцы новой германской; и офицеры Красной армии, слишком резкие и далёкие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но всё-таки больше всего было пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих ровесников, не моих даже, а *ровесников Октября* — тех, кто вместе с Октябрём родился, кто в 1937, ничем не смущаемый, валил на демонстрации двадцатой годовщины и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, размётанную в несколько недель.

Так та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплатной весной моего поколения.

Это нам над люлькой пели: «Вся власть Советам!» Это мы загорелою детской ручонкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию. И мы же теперь оказались в чёрных за одно то, что всё-таки остались жить. (Уцелевшие бухенвальдские узники *за то*

и сажались в наши лагеря: как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что-то нечисто!)

Ещё когда мы разрез*ал*и Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных — единственные при г*о*ре, когда радовались вокруг все, — и уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я ещё не разумел её причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам (зачем колоннам? почему они строились? ведь их никто не заставлял, военнопленные всех наций возвращались разбродом! А наши хотели прийти как можно более покорными…). Там на мне были капитанские погоны, и под погонами да и при дороге было не узнать: почему ж они так все невеселы? Но вот судьба завернула и меня вослед этим пленникам, я уже шёл с ними из армейской контрразведки во фронтовую, во фронтовой послушал их первые, ещё неясные мне, рассказы, а теперь, под куполами кирпично-красного Бутырского замка, я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной. Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести — и нести до последних, пока не

задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами и я попал в плен на Соловьёвской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях; и, руки назад, нёс свою советскую гордость за проволоку концлагеря; и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей *кавы* (кофейного эрзаца) и оставался трупом на земле, не доходя котла; в офлаге-68 (Сувалки) рыл руками и крышкою от котелка яму колоколоподобную (кверху *уже*), чтоб зиму не на открытом плацу зимовать; и озверевший пленный подползал ко мне остывающему грызть моё ещё не остывшее мясо под локтем; и с каждым новым днём обострённого голодного сознания, в тифозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан, — ясная мысль проникала в мой умирающий мозг: что Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. «России гордые сыны», они нужны были ей, пока ложились под танки, пока ещё можно было поднять их в атаку. А взяться кормить их в плену? Лишние едоки. И лишние свидетели позорных поражений.

Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не даёт. Этих людей объявили изменниками, но в языке примечательно ошиблись — и следователи, и прокуроры, и судьи. И сами осуждённые, и весь

народ, и газеты повторили и закрепили эту ошибку, невольно выдавая правду: их хотели объявить изменниками РодинЕ, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как «изменники РодинЫ».

Ты сказал! Это были не изменники *ей*, а *её* изменники. Не они, несчастные, изменили Родине, но расчётливая Родина изменила им, и притом ***трижды***.

Первый раз бездарно она предала их на поле сражения — когда правительство сделало всё, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться. Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт.

Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену.

И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовёт!») и накинув удавку уже на границе.

Какая же многомиллионная подлость: предать своих воинов и объявить их же предателями?!

И как легко мы исключили их из своего счёта: изменил? — позор! — списать! Да списал их ещё до нас наш Отец: цвет московской интеллигенции он бросил в вяземскую мясорубку с берданками 1866 года, и то одна на пятерых. (Какой Лев Толстой развернёт нам ***это***Бородино?) А в декабре 1941 Великий Стратег переправил через Керченский пролив — бессмысленно, для одного эффектного новогоднего сообщения — **сто двадцать тысяч** наших ребят, — едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородином, — и всех без боя отдал немцам.

И всё-таки почему-то не он — изменник, а — они.

И как легко мы поддаёмся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных — изменниками! Сколько войн вела Россия (уж лучше бы поменьше…) — и много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить?

Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так красноречиво

описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса, — и почему же у *них* в эту войну нашёлся единственный только изменник — коммерсант «лорд Гау-Гау»? А у нас — миллионы?

Да ведь страшно рот раззявить, а может быть, дело всё-таки — в государственном строе?..

Ещё давняя наша пословица оправдывала плен: «Полонён вскликнет, а убит — никогда». При царе Алексее Михайловиче за *полонное терпение* давали дворянство! Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю Первую Мировую войну в России вёлся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сёстры милосердия допускались в Германию к нашим пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну: посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен, — и выслугу лет, и очередные чины,

и даже зарплату.

Только воин единственной в мире Красной армии *не сдаётся в плен*! — так написано было в уставе («Ев*а*н плен нихт», — кричали немцы из своих траншей) — да кто ж мог представить весь этот смысл?! Есть война, есть смерть, а плена нет! — вот открытие!

Только наш солдат, отверженный родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячьей бурде, выдаваемой с задворков Третьего Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой, хоть старались молодые души не верить: какая-то статья 58-1-б, и по ней в военное время нет наказания мягче, чем расстрел! Кому от чужих, а нам от своих.

(Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь…)

Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный — только один: лечь и дать себя растоптать. Все же, все остальные пути,

какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг, — все ведут к столкновению с Законом.

Побег на родину — через лагерное оцепление, через пол-Германии, потом через Польшу или Балканы — приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых: как это так ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто! Говори, гадина, с каким *заданием* тебя прислали (Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и многие, многие).

Побег к западным партизанам, к силам Сопротивления, только оттягивал твою полновесную расплату с Трибуналом, но он же делал тебя ещё более опасным: живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться, — ты решительный человек, ты вдвойне опасен на родине.

Выжить в лагере за счёт своих соотечественников и товарищей? Стать внутрилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти? Сталинский закон не карал за это строже, чем за участие в силах Сопротивления, — та же статья, тот же срок (и можно догадаться почему: *такой* человек менее опасен!). Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, кроме мрази.

За вычетом этих четырёх углов, непосильных или неприемлемых, оставался пятый: ждать вербовщиков, ждать, куда позовут.

Иногда, на счастье, приезжали уполномоченные от сельских бецирков и набирали батраков к бауэрам; от фирм, отбирали себе инженеров и рабочих. По высшему сталинскому императиву ты и тут должен был отречься, что ты инженер, скрыть, что ты — квалифицированный рабочий. Конструктор или электрик, ты только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере копать землю, гнить и рыться в помойках. Тогда за *чистую* измену родине ты с гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить десять лет и пять намордника. Теперь же за измену родине, отягчённую работой на врага, да ещё по специальности, ты с потупленной головой получал — десять лет и пять намордника!

Это была ювелирная тонкость бегемота, которой так отличался Сталин!

А то приезжали вербовщики совсем иного характера — русские, обычно из недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бранили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части.

Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подмётки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня и каждого согласившегося тут же кормят кашею от пуза — хотя бы один раз! Хотя бы в жизни ещё один только раз!

С человека, которого мы довели до того, что он грызёт летучих мышей, — *мы сами* сняли всякий его долг не то что перед родиной, но — перед человечеством!

И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовались в краткосрочных шпионов, почти поголовно так представляли, что едва только немцы перебросят их на советскую сторону — они тотчас объявятся властям, сдадут своё оборудование и инструкции, вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в строй вояк. Это были ребята простосердечные, я многих их повидал — с незамысловатыми круглыми лицами, с подкупающим вятским или владимирским говорком. Они бодро шли в шпионы, имея четыре-пять

классов сельской школы и никаких навыков обращаться с компасом и картой.

Так, кажется, единственно верно они представляли свой выход. Так, кажется, расходна и глупа была для немецкого командования вся эта затея. Ан нет! Гитлер играл в тон и в лад своему державному брату! Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпионский пункт 58-6, взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь постигла китайцев — участников Гражданской войны, если они заблаговременно не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда-либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией, — обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную трубу — обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, — обвинялись прежде всего в шпионстве. Сталин как бы обернул и умножил знаменитое

изречение Екатерины: он предпочитал сгноить девятьсот девяносто девять невинных, но не пропустить одного всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки?! И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они — добровольно завербованные шпионы! Какое разительное подтверждение прогнозов Мудрейшего из Мудрейших! Сыпьте, сыпьте, недоумки! Статья и мзда для вас давно уже приготовлены!

Но уместно спросить: всё-таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли; и нигде по специальности у немцев не работали; и не были лагерными орднерами; и всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая; и всё-таки не умерли, хотя это почти невероятно! Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Андреевич Семёнов и Фёдор Фёдорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели им-то не простила Родина сдачи в плен?

Нет, не простила! И с Семёновым, и с Карповым я познакомился в Бутырках, когда они уже получили свои законные… сколько? догадливый

читатель уже знает: *десять и пять намордника*. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности! А в 41-м году младший лейтенант Семёнов пошёл на фронт добровольно. А в 42-м году он ещё имел пустую кобуру вместо пистолета (следователь не понимал, почему он не застрелился из кобуры). А из плена он *трижды* бежал. А в 45-м, после освобождения из концлагеря, был посажен как штрафник на наш танк (танковый десант) — и брал Берлин, и получил орден Красной Звезды — и уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей Немезиды.

«Эх, если б я знал!..» — вот была главная песенка тюремных камер той весны. Если б я знал, что так меня встретят! что так обманут! что такая судьба! — да неужели б я вернулся на родину? Ни за что!! Прорвался бы в Швейцарию, во Францию! Ушёл бы за море! за океан! за три океана.

* * *

А ещё в ту весну много сидело в камерах — русских эмигрантов.

Это выглядело почти как во сне: возвращение канувшей истории. Деятели Белого движения

уже были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Русская эмиграция, рассеянная жесточе колен израилевых, в нашем советском представлении если и тянула ещё где свой век — то тапёрами в поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаинистами, домирающими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам из наших газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить, что русское Зарубежье — это большой духовный мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского (в ту пору у нас и вовсе проклятого), что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что ещё жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет, издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячеств, где звучит русская речь, и что эмигранты-мужчины не утеряли способности брать в жёны эмигранток-женщин, а те рожать им детей, значит, наших ровесников.

Представление об эмигрантах было выработано

в нашей стране настолько ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли: были эмигранты, воевавшие в Испании не за Франко, а за республиканцев; а во Франции среди русской эмиграции в отчуждённом одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус, после того что не отшатнулись от Гитлера. Во время оккупации Франции множество русских эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению Сопротивления, а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявления на родину. Какая б Россия ни была — но Россия! — вот был их лозунг, и так они доказали, что и раньше не лгали о любви к ней. (В тюрьмах 45–46 годов они были едва ли не счастливы, что эти решётки и эти надзиратели — свои, русские; они с удивлением смотрели, как советские мальчики чешут затылки: «И на чёрта мы вернулись? Что нам, в Европе было тесно?»)

Но по той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, поживший за границей, — как же могли эту участь обминуть эмигранты? С Балкан, из Центральной Европы, из Харбина их арестовывали тотчас по приходе советских войск, брали с квартир и на улицах, как своих. Брали пока

только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле. Из Франции их с почётом, с цветами принимали в советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими — туда руки не дотягивались в 45-м году. Но туда приехал уполномоченный от советского правительства и огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну как не поверить? Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, не был, — Органы он во всяком случае не связывал.) Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с автомобилями, это родине пригодится), селиться в Союзе там, где хотят; и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Уже судьба пароходов была разная: на некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта Находки (одного из главных перевалочных пунктов ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключённых, только ещё не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых мест, до городов, и действительно на 2–3 года пус-

кали пожить. Других сразу привозили эшелоном в лагерь, где-нибудь в Заволжье разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48–49 годах ещё уцелевших дальневосточных реэмигрантов досаживали наподскрёб.

Среди европейских эмигрантов оказался и мой ровесник Игорь Тронько. Мы с ним сдружились. Оба ослабелые, высохшие, жёлто-серая кожа на костях, оба худые, долговатые, колеблемые порывами летнего ветра в бутырских прогулочных дворах, мы ходили всё рядом осторожной поступью стариков и обсуждали параллели наших жизней. В один и тот же год мы родились с ним на юге России. Ещё сосали мы оба молоко, когда судьба полезла в свою затасканную сумку и вытянула мне короткую соломинку, а ему долгую. И вот колобок его закатился за море, хотя «белогвардеец» его отец был такой: рядовой неимущий телеграфист.

Для меня было остро интересно через его жизнь представить всё моё поколение соотечественников, очутившихся там. Они росли при хорошем семейном надзоре, при очень скромных или даже скудных семейных достатках. Они были все прекрасно воспитаны и по возможности хорошо

образованны. Они выросли так, что пороки века, охватившие всю европейскую молодёжь (лёгкое отношение к жизни, бездумность, прожигание, высокая преступность), их не коснулись — это потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей. Во всех странах, где они росли, — только Россию они чли своей родиной. Духовное воспитание их шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их родина. Представления о нашей подлинной жизни у них были самые бледные, но тоска по родине такая, что если бы в 41-м году их кликнули — они бы все повалили в Красную армию. В двадцать пять, двадцать семь лет эта молодёжь уже представила и твёрдо отстояла свою точку зрения. Так, группа Игоря была «непредрешенцы». Они декларировали, что, не разделив с родиной всей сложной тяжести прошедших десятилетий, никто не имеет права ничего решать о будущем России, ни даже что-либо предлагать, а только идти и силы свои отдать на то, что решит народ.

Много мы пролежали рядом на нарах. Я охватил, сколько мог, его мир, и эта встреча открыла мне (а потом другие встречи подтвердили) представление, что отток значительной части

духовных сил, происшедший в Гражданскую войну, увёл от нас большую и важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит её, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей — метрополии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к неущербному развитию.

Я мечтаю дожить до того дня.

* * *

Слаб человек, слаб. В конце концов, и самые упрямые из нас хотели в ту весну прощения. Никому не хотелось в крайнее Заполярье, на цингу, на дистрофию. И особенно почему-то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там был, а особенно — кто там и не был, навевали сокамерникам певучие сны: что за страна Алтай! И сибирское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и медовые реки. Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые деревни…

Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха в незамутнённом воздухе! Погладить добрую серьёзную морду лошади! И будьте вы прокляты, все великие проблемы, пусть колотится о вас кто-нибудь другой,

поглупей. Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спёртой камерной духоты. Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая! — а мы преступно суём её под чьи-то пулемёты или лезем с ней, непорочной, в грязную свалку политики. Там, на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой и тёмной избушке на краю деревни, подле леса. Не за хворостом и не за грибами — так бы просто вот пошёл в лес, обнял бы два ствола: милые мои! ничего мне не надо больше!..

И сама та весна призывала к милосердию: весна окончания такой огромной войны! Мы видели, что нас, арестантов, текут миллионы, что ещё бо́льшие миллионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в тюрьме после величайшей мировой победы! Конечно будет великая амнистия, и всех нас распустят скоро. Кто-то клялся даже, что сам читал в газете, как Сталин, отвечая некоему американскому корреспонденту (а фамилия? — не помню…), сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, какой не видел свет. А кому-то и следователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия.

Но — *на милость разум нужен.*

Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистии политическим не было — и никогда не будет. Мы отмахивались от тех рассудительных из нас, кто разъяснял, что именно потому и сидим мы, миллионы, что кончилась война: на фронте мы более не нужны, в тылу опасны, а на далёких стройках без нас не ляжет ни один кирпич. (Нам не хватало самоотречения вникнуть если не в злобный, то хотя бы в простой хозяйственный расчёт Сталина: кто ж это теперь, демобилизовавшись, захотел бы бросить семью, дом и ехать на Колыму, на Воркуту, в Сибирь, где нет ещё ни дорог, ни домов? Это была уже почти задача Госплана: дать МВД контрольные цифры, сколько посадить.) Амнистии! великодушной и широкой амнистии ждали и жаждали мы!

Была амнистия многим политическим и в день трёхсотлетия Романовых[13]. Так неужели же теперь, одержав победу масштаба века, и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так мелочно-мстительно?..

---

[13] Примечания: 13

21 февраля 1913 года, в день трёхсотлетия Дома Романовых, Высочайшим указом была объявлена амнистия, сократившая все сроки по политическим делам на одну треть. — *Примеч. ред.*

Простая истина, но и её надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! После побед хочется ещё побед, после поражения хочется свободы — и обычно её добиваются.

Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе.

Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полстолетие раньше (французская же оккупация не была для России реальностью). А Крымская война принесла нам свободы.

Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали: что он слышал об амнистии? А если двоих-троих брали из камеры *с вещами* — камерные знатоки тотчас же сопоставляли их дела и умозаключали, что это — самые лёгкие, их, разумеется, взяли освобождать. Началось!

Всё, что билось, пульсировало, переливалось в теле, — останавливалось от удара радости, что

вот откроется дверь…

Но — на милость разум нужен…

В середине же июля одного старика из нашей камеры коридорный надзиратель послал мыть уборную и там с глазу на глаз (при свидетелях бы он не решился) спросил, сочувственно глядя на его седую голову: «По какой статье, отец?» — «По пятьдесят восьмой!» — обрадовался старик, по кому плакали дома три поколения. — «Не подпадаешь…» — вздохнул надзиратель. Ерунда! — решили в камере, — надзиратель просто неграмотный.

27-го июля собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню. Потом распаренных, принеженных — провели изумрудным садиком внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы (а скорее всего, одни только воробьи), зелень же деревьев отвыкшему глазу казалась непереносимо яркой. Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелени листьев, как в ту весну! И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский садик, переход по асфальтовым дорожкам которого никогда не занимал больше тридцати секунд!

Привели в бутырский *вокзал* (место приёма и

отправки арестантов; название очень меткое, к тому ж и главный вестибюль там похож на хороший вокзал), загнали в просторный большой бокс. В нём был полумрак и чистый свежий воздух: его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. А выходило оно в тот же солнечный садик, и через открытую фрамугу нас оглушал птичий щебет, и в просвете фрамуги качалась ярко-зелёная веточка, обещавшая всем нам свободу и дом.

Три часа нас никто не трогал, никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, ходили по боксу и, загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка всё помахивала, всё помахивала за щелью, и осатанело перекликались воробьи.

Вдруг загрохотала дверь, и одного из нас, тихого бухгалтера лет тридцати пяти, вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы ещё усиленнее забегали в нашем ящике, нас выжигало.

Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему. Но это был не он! Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен? Его хлопнули гладильной доской?

— Что? Что? — замирая спрашивали мы. Голо-

сом, сообщающим о конце Вселенной, бухгалтер выдавил:

— Пять!! Лет!!!

И опять загрохотала дверь — так быстро возвращались, будто водили по лёгкой надобности в уборную. Этот вернулся сияя. Очевидно, его освобождали.

— Ну? Ну? — столпились мы с вернувшейся надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха:

— Пятнадцать лет!

Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить.

Глава 7. В машинном отделении

В соседнем боксе бутырского «вокзала» — известном *шмональном* боксе (там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти-шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зэков) теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрей.

Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых одинаковых бумажонок в половину машинописного листа — того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочёл равнодушной скороговоркой (я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обо-

роте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа.

Ни на пол-удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной.

— Нет, я должен прочесть сам.

— Неужели я буду вас обманывать? — лениво возразил майор. — Ну, прочтите.

И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия:

ВЫПИСКА

из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года №...

Затем пунктиром всё это было подчёркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено:

Слушали:	Постановили:
Об обвинении такого-то (имярек, год рождения, место рождения).	Определить такому-то (имярек) за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8 (восемь) лет исправительно-трудовых лагерей.
Копия верна.	Секретарь . . . . .

И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего.

Чтоб хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом:

— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что?

И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни он.

— Вот тут, — ещё раз показал мне майор, где расписаться.

Я расписался. Я просто не находил — что б ещё сделать?

— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив.

— В установленном порядке, — механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажонку в левую стопку.

— Пройдите! — приказал мне надзиратель.

И я *прошёл*.

(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бумажку на двадцать пять лет, ответил так: «Ведь это пожизненно! В былые годы, когда человека осуждали пожизненно, — били барабаны, созывали толпу. А тут как в ведомости за мыло — двадцать пять, и откатывай!»

Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорически протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж была копия.

А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся

смехом и поспешила расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: «Да вы поняли, что я вам прочёл?» — «Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно-трудовых лагерей!»

Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался.)

Я вернулся в бокс с улыбкой. В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же весело покачивалась веточка за окном. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи — четыре картошины! два бублика!

Сосед говорил мне успокаивающе, уютно:

— Ну ничего, мы ещё молодые, ещё будем жить. Главное, не оступиться — теперь. В лагерь приедем — и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать — и молчать, молчать.

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промеж сталинских жерно-

вов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы.

Но я начинал ощущать в себе: если надо *не жить* для того, чтобы жить, — то и зачем тогда?..

* * *

Нельзя сказать, чтоб ОСО[14] придумали после революции. Ещё Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову пятнадцать лет, можно сказать — по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет да и высылали неугодных им без суда.

Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом, простите, это не размах, если можно *перечислять* имена и случаи.

Размах начался с 20-х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие *тройки*. Вначале это с гордостью даже выпирали — Тройка ГПУ! Имён заседателей не только не скрывали — рекламировали! Кто на Соловках не знал знаменитой московской *тройки* — Глеб Бокий, Вуль и Васильев?! Да и верно, слово-то какое — *тройка*! Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул масленицы, а впе-

---

[14] Примечания: 14
Особое СОвещание.

реплёт с тем и загадочность: почему — «тройка»? что это значит? Суд — тоже ведь не четвёрка! а *тройка* — не суд! А пущая загадочность в том, что — заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка: распишитесь. *Тройка* ещё страшней Ревтрибунала получилась. А затем *тройка* ещё обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены *тройки* не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и — навсегда, лишь приговоры нам — через машинисток. (И — с возвратом: такой документ нельзя на руках оставлять.)

Тройки эти отвечали возникшей неотступной потребности: однажды арестованных на волю не выпускать (ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ: чтоб не было брака). И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через *тройку* пусть получит свои «минус тридцать два» (губернских города) или в ссылочку на два-три года, а уже смотришь — ушко и выстрижено, он уж навсегда помечен и теперь будет впредь «рецидивист».

Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого Органа. И как в 1934 стала

тройка в белокаменной называться Особым Совещанием, а *тройки* в областях — спецколлегиями областных судов, то бишь из трёх своих постоянных членов без всяких народных заседателей и всегда закрыто. Проблагоденствовало родимое ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия, благодетель.

19 лет оно просуществовало, а спроси: кто ж из наших крупных гордых деятелей туда входил; как часто и как долго оно заседало; с чаем ли, без чая и что к чаю; и как само это обсуждение шло — разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем — потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность ОСО оставалась триединой, и известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов: один — от ЦК, один — от МВД, один — от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из несуществующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки — это точно были, за это ручаемся!

Нигде не упомянутое, ни в Конституции, ни в Кодексе, ОСО, однако, оказалось самой удобной

котлетной машинкой — неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и легко крутилось без всех его двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая их.

Как шутят в лагере: на *нет* и суда нет, а есть Особое Совещание.

Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде, но для этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие оперирование (не надо голову ломать, подгонять к формулировкам Кодекса), а по числу своему доступные памяти ребёнка:

— АСА — АнтиСоветская Агитация;

— НПГГ — Нелегальный Переход Государственной Границы;

— КРД — КонтрРеволюционная Деятельность;

— КРТД — КонтрРеволюционная Троцкистская Деятельность (эта буквочка «т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере);

— ПШ — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в Трибунал);

— СВПШ — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже;

— КРМ — КонтрРеволюционное Мышление;

— ВАС — Вынашивание АнтиСоветских настроений;

— СОЭ — Социально-Опасный Элемент;

— СВЭ — Социально-Вредный Элемент;

— ПД — Преступная Деятельность (её охотно давали бывшим лагерникам, если ни к чему больше придраться было нельзя);

и наконец, очень ёмкая

— ЧС — Член Семьи (осуждённого по одной из предыдущих литер).

Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а, подобно статьям Кодекса и пунктам Указов, наступали внезапными эпидемиями.

И ещё оговоримся: ОСО вовсе не претендовало дать человеку *приговор*! — оно не давало приговора! — оно *накладывало административное взыскание*, вот и всё. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу!

Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до двадцати пяти лет, до расстрела и включать в себя:

— лишение званий и наград;

— конфискацию всего имущества;

— закрытое тюремное заключение;
— лишение права переписки, —

и человек исчезал с лица земли ещё надёжнее, чем по примитивному судебному приговору.

Ещё важным преимуществом ОСО было то, что его постановления нельзя было обжаловать — некуда было жаловаться: не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и Сатане.

Большим достоинством ОСО была и быстрота: её лимитировала лишь техника машинописи.

В период большой загрузки тюрем тут было ещё то удобство, что заключённый, окончив следствие, мог не занимать собою места на тюремном полу, не есть дарового хлеба, а сразу — быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочесть же копию выписки он мог и гораздо позже.

Бывало, что в лагере по многу месяцев работали, не зная приговоров. После этого (рассказывает И. Добряк) их торжественно построили — да не когда-нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели, — и объявили приговоры *тройки* по Сталинской области: от десяти до двадцати лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 с целым эшелоном

неосуждённых отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. Вдруг зимою, в выходной день (замечаете, в какие дни-то? выгода ОСО в чём?) в трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановления ОСО. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал так:

— А впрочем, ребята, чего вам тут мёрзнуть? Знайте: всем вам дало ОСО по десять лет, это редко-редко кому по восемь. Понятно? Р-разойдись!..

Глава 8. Закон-ребёнок

Мы — всё забываем. Мы помним не быль, не историю — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдаёт нас добычею лжецам.

Так, если не надо, чтоб мы помнили даже гласные судебные процессы, — то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу — и мы не помним. (Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио.) Не о молодёжи говорю, она конечно не знает, но — о современниках тех процессов.

Что ж сказать тогда о негласных?.. Уже в 1918 сколько барабанило трибуналов! — когда не было ещё ни законов, ни кодексов и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче-крестьянской власти.

В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали пря-

тать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918 известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днём, во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон.

Был официальный термин тогда: *внесудебная расправа*. Не потому, что не было ещё судов, а потому, что была ЧК. Только за полтора года (1918 и половина 1919) и только по двадцати губерниям Центральной России расстрелянных ЧК (то есть бессудно, помимо судов) — 8 389 человек, раскрыто контрреволюционных организаций — 412, всего арестовано — 87 000[15].

А — суды? А как же! В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды, и *рабочие и крестьянские Революционные Трибуналы* (Декрет о Суде № 1, 24 ноября 1917, ст. 12 и 13).

Ещё оказалось необходимо создать единую для всей страны систему *Революционных Железнодорожных Трибуналов*. Затем — единую систему *Революционных Трибуналов войск Внутренней Охраны*.

---

[15] Примечания: 15

Лацис М. И. Два года борьбы на внутреннем фронте: Популярный обзор двухгодичной деятельности чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. — М.: Гос. изд-во, 1920. — С. 74–76.

В 1918 году все эти системы уже действовали дружно, однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты — и 14 октября 1918 он подписал приказ о сформировании ещё новой системы *Революционных Военных Трибуналов.*

«Революционные Военные Трибуналы — это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезвреженія и терроризирования врагов Рабоче-Крестьянского отечества и только во вторую очередь — это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта… Рядом с органами судебными должны существовать органы, если хотите, судебной расправы»[16].

Теперь читатель различает? С одной стороны ЧК — это *внесудебная* расправа. С другой стороны — Ревтрибунал, очень упрощённый, весьма немилосердный, но всё-таки отчасти как бы — суд. А — *между* ними? догадываетесь? А между ними как раз и не хватает *органа судебной расправы* — вот это и есть Революционный Военный Трибунал!

Расстрел «не может считаться наказанием, это

---

[16] Примечания: 16

Данишевский К. Х. Революционные военные трибуналы. — М.: Изда-ние Реввоентрибунала Республики, 1920. — С. 5, 8. (Под грифом: «Секретно».)

просто физическое уничтожение врага рабочего класса» и «может быть применён в целях запугивания (террора) подобных преступников» (с. 40).

«Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессии был как можно сильнее» (с. 50).

Можно бы ещё и ещё цитировать, но довольно! Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте нашей страны. Каждое взятие города в ходе Гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями Трибунала. И для того чтоб эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых, мягких, немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недёшево обошлись и корявым рукам. Потому что нет числа крестьянским волнениям и восстаниям с 18-го по 21-й год, хоть никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбуждённые толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулемёты, а потом со связанными руками — десять за

одного! — в шеренги, построенные для расстрела. Сапожковское восстание так и помнят в одном Сапожке, пителинское — в одном Пителине. За те же полтора года по 20 губерниям узнаём и число подавленных восстаний — 344[17]. (А сколько ещё затягивало в те жернова совсем случайных, ну совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции?)

Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского Главковерха, славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблачённого лютого врага народа Н. В. Крыленко[18].

Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно-драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов.

Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы *«было неудобно по ряду технических*

---

[17] Примечания: 17

Лацис М. И. Два года борьбы на внутреннем фронте. — С. 75.

[18] Примечания: 18

Крыленко Н. В. За пять лет. 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.

соображений» (с. 4), удобно же — только его обвинительные речи да приговоры Трибуналов.

Мол, архивы Московского и Верховного Ревтрибуналов оказались (к 1923 году) «далеко не в таком порядке», а «ряд крупнейших процессов прошёл вовсе без стенограммы» (с. 4, 5).

«Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетение… Мы творим новое право и *новые этические нормы*» (с. 22). «Каковы бы ни были индивидуальные качества [подсудимого], к нему может быть применим только один метод оценки: это — оценка с точки зрения классовой целесообразности» (с. 79).

В те годы многие вот так: жили-жили, вдруг узнали, что существование их — нецелесообразно.

А «военный заговор» 1919 года «ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы» (с. 7), так вот тем и «доказано его наличие» (с. 44). (Там всего арестовано было больше 1000 человек — так неужто на всех суды заводить?)

Вот и рассказывай ладком да порядком о судебных процессах тех лет…

Всё же полистаем книгу Крыленко.

Дело «Русских Ведомостей». Этот суд, из самых

первых и ранних, — суд над ***словом***. 24 марта 1918 года эта известная «профессорская» газета напечатала статью Савинкова «С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, но *дорога* проклятая, где его искать? Так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора П. В. Егорова, предложили ему объяснить: как посмел? ведь 4 месяца уже Новой Эры, пора привыкнуть!

Егоров наивно оправдывается, что статья — «видного политического деятеля, мнения которого имеют общий интерес, независимо от того, разделяются ли редакцией». Далее, он не увидел клеветы в утверждении Савинкова: «не забудем, что Ленин, Натансон и К° приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину», — потому что на самом деле так и было, воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться.

Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете (почему же?..), газету судят за *попытку воздействия на умы*!

Приговор: газету, издаваемую с 1864 года, перенесшую все немыслимые реакции, — ныне *закрыть навсегда*! (За одну статью и — навсегда!

Вот так надо держаться у власти.) А редактору Егорову… стыдно сказать… три месяца одиночки. (Не так стыдно, если подумать: ведь это только 18-й год! ведь если выживет старик — опять же посадят, и сколько раз ещё посадят!)

Дело «церковников» (11–16 января 1920) займёт, по мнению Крыленки, «соответствующее место в анналах русской революции».

Вот основные подсудимые: А. Д. Самарин — известное в России лицо, бывший обер-прокурор Синода, старатель освобождения Церкви от царской власти; Кузнецов, профессор церковного права Московского университета; известные московские протоиереи.

А вот их вина: они создали «Московский Совет Объединённых Приходов», а тот создал добровольную охрану Патриарха (конечно, безоружную, из верующих 40–80 лет), учредив в его подворье постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей: при опасности Патриарху от властей — собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за Патриархом, куда его повезут, и *просить* Совнарком отпустить Патриарха!

Какая древнерусская, святорусская затея! — по набату собраться и валить толпой с челобитьем!..

Удивляется обвинитель: а какая опасность грозит Патриарху? зачем придумано его защищать?

Ну, в самом деле: все два года не молчал Патриарх Тихон — слал послания народным комиссарам, и священству, и пастве; его послания, не взятые типографиями, печатались на машинках (вот где первый Самиздат!); обличал уничтожение невинных, разорение страны — и какое ж теперь беспокойство за жизнь Патриарха?

А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идёт опись и реквизиция церковного имущества — Совет же приходов распространял воззвание к мирянам: сопротивляться и реквизициям, бья в набат. (Да ведь естественно! Да ведь и от татар защищали храмы так же!)

И третья вина: наглая непрерывная *подача заявлений* в Совнарком о глумлениях над Церковью приводила к дискредитации местных работников.

Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать за эти ужасные преступления? Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да ***только расстрел!*** Как Крыленко

и потребовал.

Что ж, послушался Трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию: в концентрационный лагерь *до полной победы над мировым империализмом*! (И сегодня б ещё им там сидеть…)

Мы просим читателей сквозно иметь в виду: ещё с 1918 определился такой обычай, что каждый московский процесс — это сигнал судебной политики, это — витринный образец. И сам Верховный Обвинитель охотно разъясняет нам (с. 61): *«почти по всем Трибуналам Республики прокатились»* подобные процессы.

Дело «Тактического центра» (16–20 августа 1920) — 28 подсудимых и ещё сколько-то обвиняемых заочно по недоступности.

Поведывает нам Верховный Обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов «существовал ещё один общественный слой — *так называемой интеллигенции*… В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции» и с судом революции над ней (с. 34).

«Этот общественный слой… подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки». И как же она прошла? А вот: «Русская интеллигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народовластия, вышла из него союзником чёрных… — (даже не белых!) — …генералов» (Крыленко, с. 54).

С неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников чёрных генералов. Особенно шибает нам в нос этот *Центр*.

Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас Тактический Центр *не был организацией,* что у него не было: 1) устава; 2) программы; 3) членских взносов. А что же было? Вот что: они *встречались*! (Мурашки по спине.) Встречаясь же, *ознакамливались* с точкой зрения друг друга! (Ледяной холод.)

Вот самые страшные их действия: в разгар Гражданской войны они… писали труды, составляли записки, проекты. Да, «знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования», они *писали труды*! Профессор С. А. Котляревский — о федеративном устройстве России, В. И. Стемпковский — по аграрному вопросу (и, вероятно, без коллективизации…), В. С. Муралевич — о народном образовании в будущей России, профессор

Карташёв — законопроект о вероисповеданиях. А (великий) биолог Н. К. Кольцов (ничего не видавший от родины, кроме гонений и казни) разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте.

Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну, какую, какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара — ***расстрел***! Это не требование обвинителя — это уже приговор Трибунала! (Увы, смягчили потом: концентрационный лагерь до конца Гражданской войны.)

«И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец — (оно как-то похоже, что так и было…), — всё равно: …в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом… Во время гражданской войны преступно не только всякое действие [против советской власти] …*преступно само бездействие*» (с. 39).

Ну вот теперь всё понятно. Их приговорят к расстрелу — за бездействие. За чашку чая.

Как при падающем киноаппарате, косой неразборчивой лентой проносятся перед нами двадцать восемь дореволюционных мужских и

женских лиц. Мы не заметили их выражений! — они напуганы? презрительны? горды?

Ведь их ответов нет! ведь их последних слов нет! — *по техническим соображениям…*

А кто эта женщина молодая промелькнула?

Это — дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко: что она делала на этих беседах? Ответила: «Ставила самовар!» — Три года концлагеря!

Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок-Закон.

Мы теперь совсем не помним этого.

Глава 9. Закон мужает

Посопутствуем нашему закону ещё и в пионерском возрасте.

Богат был гласными судебными процессами 1922 год — первый мирный год.

В конце Гражданской войны, как её естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжье. А голод этот был — до людоедства, до поедания родителями собственных детей — такой голод, какого не знала Русь и в Смутное Время.

Но гениальность политика в том, чтоб извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит — ведь три шара ложатся в лузы одним ударом: *пусть попы и накормят теперь Поволжье!* ведь они — христиане, они — добренькие!

1) Откажут — и весь голод переложим на них, и церковь разгромим;

2) согласятся — выметем храмы;

3) и во всех случаях пополним валютный запас.

Как показывает Патриарх Тихон, ещё в августе 1921, в начале голода, Церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи

голодающим, начали сбор денег. Но допустить прямую помощь от Церкви и голодающему в рот — значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну.

А на Поволжье ели траву, подмётки и грызли дверные косяки. И наконец в декабре 1921 Помгол (государственный комитет помощи голодающим) предложил Церкви: пожертвовать для голодающих церковные ценности — не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился и 19 февраля 1922 выпустил послание: разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения.

И так всё опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю.

Мысль — удар молнии! Мысль — декрет! Декрет ВЦИК 26 февраля: изъять из храмов *все* ценности — для голодающих!

Тогда 28 февраля Патриарх издал новое, роковое, послание: с точки зрения Церкви подобный акт — святотатство, и мы не можем одобрить *изъятия*, пусть это будет вольная жертва.

И тут же в газетах началась беспроигрышная травля Патриарха и высших церковных чинов, удушающих Поволжье костлявой рукой голода!

И чем твёрже упорствовал Патриарх, тем слабей становилось его положение.

В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании Помгола 5 марта 1922 петроградский митрополит Вениамин огласил: «Православная Церковь готова всё отдать на помощь голодающим» и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится! Председатель Петропомгола Канатчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение Советской власти к Церкви. (Как бы не так!) В тёплом порыве все встали. Митрополит сказал: «Самая главная тяжесть — рознь и вражда. Но будет время — сольются русские люди». Он благословил большевиков — членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. И опять же вымазывается какой-то компромисс! Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. *Такое* единение и *такая* сдача ценностей не нужны голодающим Поволжья! Сменяется бесхребетный состав Петропомгола, газеты взлаивают на «дурных пастырей» и «князей церкви», и разъясняется церковным представителям: не надо никаких ваших жертв! и никаких с вами переговоров! *Всё принадлежит власти* — и она возьмёт, что

считает нужным.

И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями.

Теперь были законные основания начать церковные процессы.

Московский церковный процесс (26 апреля — 7 мая 1922), в Политехническом музее, Мосревтрибунал. 17 подсудимых, протоиереев и мирян, обвинённых в распространении патриаршего воззвания. Это обвинение — важней самой сдачи или несдачи ценностей. Протоиерей А. Н. Заозерский в своём храме ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршье воззвание, считая насильственное изъятие святотатством, — и стал центральной фигурой процесса — и будет сейчас ***расстрелян***. (Что и доказывает: не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час Церковь.)

5 мая вызван в Трибунал свидетелем — Патриарх Тихон. Хотя публика в зале — уже подобранная, подсаженная, но так ещё въелась закваска Руси и так ещё плёнкой закваска Советов, что при входе Патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих.

Патриарх берёт на себя всю вину за составление и рассылку воззвания.

Председатель — Вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры — «за спиною» был выпущен декрет?

Патриарх — Да.

Председатель — Таким образом, вы считаете, что советская власть поступила неправильно?

Сокрушительный аргумент! Ещё миллионы раз нам его повторят в следовательских ночных кабинетах! И мы никогда не будем сметь так просто ответить, как

Патриарх — Да.

Председатель — Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?

Патриарх — Да, признаю, *поскольку они не противоречат правилам благочестия.*

(Все бы так отвечали! Другая была б наша история!)

Идёт переспрос о канонике. Патриарх поясняет: если Церковь сама передаёт ценности — это не святотатство, а если отбирать помимо её воли — святотатство.

Изумлён *председатель товарищ Бек* — Что же для вас, в конце концов, более важно — церковные каноны или точка зрения советского правительства?

Проводится и филологический анализ. «Святотатство» от слова «свято-тать».

Обвинитель — Значит, мы, представители советской власти, — воры по святым вещам? вы представителей советской власти, ВЦИК называете ворами?

Патриарх — Я привожу только каноны.

Трибунал постановляет возбудить против Патриарха уголовное дело.

7 мая выносится приговор: из семнадцати подсудимых — одиннадцать к расстрелу. (Расстреляют пятерых.)

Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли играть.

Ещё через неделю Патриарх отстранён и арестован. (Но это ещё не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь и там будут содержать в строгом заточении. Помните, удивлялся не так давно Крыленко: а какая опасность грозит Патриарху?..)

Ещё через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве, — этого-то митрополита и вывели на

Петроградский церковный процесс (9 июня — 5 июля 1922). Обвиняемых (в сопротивлении сдаче церковных ценностей) было несколько десятков человек, в том числе — профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Главный обвинитель — П. А. Красиков, ровесник и приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать.

Ещё на Невском и на повороте с Невского что ни день густо стоял народ, а при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди Твоя!». В зале большая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинитель и Трибунал называли его *врагом народа* (словечко уже было, заметим).

Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям.

Обвинитель Красиков воскликнул: «Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, *следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь*!»

Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката (Я. С. Гуровича), защитника митрополита:

«Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения… Что скажет история?» — (Ох, напугал! Да забудет и ничего не скажет!) — «Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство — на скамье подсудимых, и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Но не забывайте, что на крови мучеников растёт Церковь». — (А у нас не вырастет!)

Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца. После того ВЦИК шестерых помиловал, а четверо (в их числе митрополит Вениамин) расстреляны в ночь с 12 на 13 августа.

Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их двадцать два.

Процесс эсеров (8 июня — 7 августа 1922). Верховный Трибунал.

Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и всё тянущуюся историю государств. За исключением считаных парламентских де-

мократий в считаные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворней и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами Юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его — законен и отдан *о*дам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов — преступен, подлежит суду и законной казни.

И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были — соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя (из-за своей тактики террора) главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам.

А теперь вот первое обвинение против них: эсеры — инициаторы Гражданской войны! Да, это — *они* её начали! Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулемётным огнём матросов, — эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять.

А вот и второе обвинение: они поддерживали своё незаконное (избранное всеобщим свободным равным тайным и прямым голосованием) Учредительное Собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то

Собрание, и тех демонстрантов. Обвинение третье: они не признали Брестского мира — того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо «все признаки *государственной измены*».

Ну и пятое, седьмое, десятое — набралась обвинений мера полная и с присыпочкой — и уж мог бы Трибунал уходить на совещание, отклёпывать каждому заслуженную казнь, — да вот ведь неурядица:

— всё, в чём здесь обвинена партия эсеров, — относится к 1917 и 1918 годам;

— в феврале 1919 совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против большевицкой власти.

Как же выйти из положения?

Мало того, что они не ведут борьбы, — они признали власть Советов! И только просят произвести перевыборы этих советов со свободной агитацией партий. (И даже тут на процессе: «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод — и мы не будем нарушать законов». Дайте им, да ещё «всей гаммой»!)

Слышите? Вот оно где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло! Да нешто можно? Да ведь *серьёзный момент*! Да ведь *окружены врагами*! А вам — свободную агитацию партий, сукины дети?!

Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки.

Только то и нащипал Крыленко с мёртвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко: «ожесточённые вечные противники» — вот кто такие подсудимые! А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать.

И вот что особенно ново и важно: для нас намерение или действие — всё равно! Вот была вынесена резолюция — за неё и судим. А там «проводилась она или не проводилась — это никакого существенного значения не имеет» (с. 185). Жене ли в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал — всё едино! *Наказание — одинаково!!!*

Это — первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт «негодования

масс». И негодование масс особенно удалось.

8 июня начался суд. Судили 32 человека.

Собрали заводские колонны, на знамёнах и плакатах — «смерть подсудимым», воинские колонны само собою. И на Красной площади начался митинг. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а подсудимых подвели к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания.

Тут — узнаётся много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых ещё далеко не сломлено. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Либеров говорит: «Я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков» (с. 103). Подсудимый Берг: «Считаю себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью, но я надеюсь, что моё время ещё не ушло». (Ушло, голубчик, ушло.)

Конечно, «приговор должен быть один — расстрел всех до одного»!

А Трибунал в своём приговоре проявил дерзость: он изрёк расстрел не «всем до одного», а

только двенадцати человекам. Остальным — тюрьмы и лагеря.

А пожалуй, всего этого процесса стоит кассация Президиума ВЦИК: расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осуждённых будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе. Если будет продолжаться хотя бы подпольно-заговорщицкая работа, — эти 12 будут расстреляны.

Так их подвергли пытке смертью: любой день мог быть днём расстрела. На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли. Под лазурным небом синими водами плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный Исполнительный Комитет Рабочих и Крестьянских депутатов оставлял за пазухой пожизненных заложников.

Члены правящей партии прочли тогда шестьдесят номеров «Правды» о процессе (они все читали газеты) — и все говорили — да, да, да. Никто не вымолвил — нет.

И чему они потом удивлялись в 37-м? На что жаловались?.. Разве не были заложены все основы бессудия — сперва внесудебной расправой ЧК, судебной расправой Реввоентрибуналов, потом

вот этими ранними процессами? Разве 1937 не был тоже *целесообразен*?

Лихо косою только первый взмах сделать.

А все главные и знаменитые процессы — всё равно впереди…

Глава 10. Закон созрел

Ещё в тех днях, когда сочинялся Кодекс, Владимир Ильич написал 19 мая 1922:

«Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим… Надо поставить дело так, чтобы этих “военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро»[19].

Сам товарищ Ленин уже слёг в своём недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провёл излавливание, и в сентябре 1922 около трёхсот виднейших русских гуманитариев были посажены на пароход[20] и отправлены на европейскую свалку. (Из имён утвердившихся и прославившихся там были философы С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин.)

---

[19] Примечания: 19

Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 54. — С. 265, 266.

[20] Примечания: 20

Оставшийся в истории как «Философский пароход». — *Примеч. ред.*

Однако излавливать *постоянно и систематически* — не вышло. От рёва ли эмиграции, что это ей «подарок», прояснилось, что эта мера — не лучшая, что зря упускался хороший расстрельный материал, а на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами. И — покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к *Духонину*, либо на Архипелаг.

Утверждённый в 1926 улучшенный Уголовный кодекс скрутил все прежние верви политических статей в единый прочный бредень 58-й — и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую — тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве и трудно было её контролировать при помощи одного только Передового Учения.

Да наконец же созрел наш Закон и мог явить миру нечто действительно совершенное! — единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами.

[В главе подробно описаны два громких публичных процесса над «вредителями» (читатель уже встречал их упоминания в главе «История нашей канализации») –

Шахтинское дело (1928), о якобы саботаже и «экономической контрреволюции» на шахтах Донбасса, и процесс никогда не существовавшей «Промпартии» (1930), обвинявшейся во вредительстве в различных отраслях советской промышленности и на транспорте и в шпионскодиверсионной помощи западным державам в подготовке интервенции. Обвинения были сфабрикованы, самооклеветания вымучены из обвиняемых пытками (все осуждённые по Шахтинскому делу и большинство по процессу «Промпартии» впоследствии реабилитированы «за отсутствием состава преступления»). Тех, кто устоял и под пытками, – судили при закрытых дверях, большинство из них расстреляно. – Следующий спектакль – процесс «Союзного Бюро Меньшевиков», сконструированного ГПУ (1931). Были арестованы бывшие меньшевики, работавшие в государственном аппарате – в Госплане, Госбанке, ВСНХ (Высшем совете народного хозяйства), Наркомторге. В главе приводится рассказ М. П. Якубовича, единственного участника процесса,

выжившего к 60-м годам, записанный с его слов автором «Архипелага ГУЛАГа»: «Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов».

Поставленная Сталиным цель – списать нарастающее в стране недовольство голодом, холодом, безодёжьем на вредителей и напугать народ нависшей интервенцией – была достигнута.

Теперь предстояла расправа с «ленинской гвардией», товарищами по партии большевиков.

В августе 1936 – процесс «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра». Судили Зиновьева, Каменева и ещё 14 человек. Всех расстреляли.

В январе 1937 – процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Судили Пятакова, Сокольникова, Радека, всего 17 человек. По приговору суда расстреляны 13, четверо убиты позже.

В марте 1938 – процесс «Антисоветского правотроцкистского блока». Судили Бухарина, Рыкова, ещё 19 человек, боль-

шинство расстреляны.]

По знатности имён подсудимых *эти* суды были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. И ещё будут толковать. И нам лишь немного коснуться — их *загадки*.

С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили уныло, покорно и блеяли всё, что было приказано, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить.

Это не видано было в памятной истории. Партийные товарищи из несгибаемой когорты, и самые крупные из них, кого называли «ленинской гвардией», — теперь выходили перед судом облитые собственной мочой.

Недоумевают особенно потому, что ведь это всё — старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это — закалённые, пропечённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь — простая ошибка. Это были *не те* старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и

анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали *сроки* — но настоящего неумолимого *следствия* отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А *эти* не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам.

Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой *червонец*, как в наше время любой колхозник; правда, среди той десятки — три года каторжного централа, так и тоже не невидаль.

У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные. Каменев просидел 2 года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, *не просидел и трёх месяцев!* не имел *ни одного приговора!* По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они — младенцы, они не видели тюрьмы.

А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкою: почему там столько на-

говорено на себя и на других? — мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова мы заранее считаем сверхлюдьми — и только из-за этого, по сути, наше недоумение.

Но всё-таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых — те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста. А дали себя арестовать те, кто *хотели жить*. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора.

Самых податливых и вывели! Отбор всё-таки был.

Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.

И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей — Н. И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется че-

ловек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию — и думал, что обыграл Кобу: подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был — в пасти.

Процесс Каменева-Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь-Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе — и прочёл уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы… Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.

Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?

Однако ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии — и в своей кремлёвской квартире полгода жил как в тюрьме. К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бес-

конечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..» — оставшиеся без единого ответа.

Он ещё искал сердечного контакта со Сталиным!

А *дорогой Коба*, прищурясь, уже репетировал… Коба уже много лет как сделал пробы на роли, и знал, что *Бухарчик* свою сыграет отлично. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников, он стерпел их разгром. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли. А теперь, ещё кандидат Политбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шёпотом. Так это всё и были пробы на роль!

Если так они ведут себя ещё на воле, ещё на вершинах почёта и власти — то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безупречно подчинятся тексту драмы.

У Бухарина (у них у всех!) не было своей *отдельной точки зрения*, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи.

Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль — и ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе Режиссёра с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. И теперь под тучами чёрных обвинений — долгий, бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление — оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то — и не уйдёт, того тоже будет — год.)

Газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» — с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».

И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат — это было бы чудовищно!

На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг — к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! — здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на мавзолее».

Так из жарк*а* в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли бухаринскую Конституцию и нарекли её вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он недослышивал): «Скажите, а вы *добровольно* даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно», — пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского — воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».

Тут гневно и проклинающе выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика! — но не выходило…) и Молотов. А Сталин! — какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин». Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.

Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института

Красной Профессуры, и Радека, и всех других — и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» — а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома (и время давал ему Сталин!) — он не кончил с собой.

Разве он не вжился в назначенную роль?..

И ещё один гласный процесс прошёл — и ещё одну пачку расстреляли… А Бухарина щадили, а Бухарина не брали…

В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Тогда созван был Пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.

Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на Пленум. — «Что это ты выдумал?» — душевно спросил Дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить…» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из партии не исключит!»

И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед Пленумом, тут же снял голодовку. Но в ходе

Пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считаются!) обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.

Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров — этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки! — наверно, и этого не мог ему Коба простить.)

Так может, уж такой густой загадки и нет?

Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: *ведь мы же с вами — коммунисты!* И как же вы могли склониться — выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе — это *мы*!

Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет — такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:

— Нет, *с вами* мы не революционеры!.. Нет, *с вами* мы не русские!.. Нет, *с вами* мы не коммунисты!

А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпа-

лись декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным.

———

Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.

Да и каждый разумный человек согласится, что, если бы возюкаться с открытыми судами, — НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи.

Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.

Глава 11. К высшей мере

Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях, в воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить — и все 20 лет царствования никого не казнила. Притом вела Семилетнюю войну! — и обошлась. Для середины XVIII века, за полстолетия до якобинской рубиловки, пример удивительный. Правда, мы нашустрились всё прошлое своё высмеивать; ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаём. Так и Елизавету можно вполне очернить: заменяла она казнь — кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением *«воръ»* и вечною ссылкой в Сибирь. А может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем? И может, в ходе этой книги ещё склонится к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей

потяжеле елизаветинской казни?

По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II — классовый. Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необоронённо. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических, она признала казнь вполне уместной.

При Павле отмена смертной казни была подтверждена. (А войн было много, но полки — без трибуналов.) И во всё долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учинённых в походе (1812). (Тут же скажут нам: а шпицрутенами насмерть? Да слов нет, негласные убийства конечно были, так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием! Но всё-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских — ещё полвека от Пугачёва до декабристов не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам.)

От пяти повешенных декабристов смертная казнь за государственные преступления у нас не отменялась, она была подтверждена Уложениями 1845 и 1904 годов, пополнялась ещё и военно-уголовными и морскими уголовными

законами, — но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами.

И сколько же человек было за это время в России казнено? Вот строгие цифры знатока русского уголовного права Н. С. Таганцева[21]. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За тридцать лет с 1876 до 1905 (время народовольцев и террористических актов; время массовых забастовок и крестьянских волнений; время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции) было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. За годы первой революции и подавления её число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слёзы Толстого, негодование Короленко и многих и многих: с 1905 по 1908 было казнено около 2200 человек (сорок пять человек в месяц!). Казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была *эпидемия казней*, как пишет Таганцев.

(Странно читать, что когда в 1906 были введены военно-полевые суды, то из сложнейших проблем было: кому казнить? Требовалось — в те-

---

[21] Примечания: 21

Таганцев Н. С. Смертная казнь: Сборник статей. — СПб.: Гос. тип., 1913. (Перепечатано в журнале «Правоведение», 1993, № 4–6; 1994, № 1. — *Примеч. ред.*)

чение суток от приговора. Расстреливали войска — производило неблагоприятное впечатление на войска. А палач-доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок — может многих перестрелять.)

Временное правительство при своём вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 оно возвратило её для Действующей армии и фронтовых областей — за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабёж (чем те районы весьма тогда изобиловали). Это была — из самых непопулярных мер, погубивших Временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был: «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским!»

Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия: одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную казнь? — и Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей, он-то знал, что без смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 казнь была всё-таки отменена. Ничего хо-

рошего от этой «добренькой» позиции выйти, конечно, не могло.

Смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 — нет, не «восстановлена», а — установлена как новая эра казней. По двадцати центральным губерниям России за 16 месяцев (июнь 1918 — октябрь 1919) было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть *более тысячи в месяц.*

Ещё страшней нам кажется мода — на *потопление барж*, всякий раз с несосчитанными, непереписанными, даже и неперекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников — в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Чёрном морях, ещё и в Байкале. Это — история *нравов*, откуда — всё дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали и закончили Гражданскую войну?

Революция спешит всё переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и «смертная казнь» была переназвана — *в высшую мер*у. Основы уголовного законодательства 1924 объясняют нам, что установлена эта высшая мера *временно, впредь до полной её отмены ЦИКом.*

И в 1927 её действительно начали *отменять*: её оставили *лишь* для преступлений против государства и армии, по статьям же, защищающим частных лиц, по убийствам, грабежам и изнасилованиям, — к 10-летию Октября расстрел отменили.

А к 15-летию Октября добавлена была смертная казнь по закону от «седьмого-восьмого» — тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху.

Как всегда, особенно поначалу накинулись на этот закон, — в одних только ленинградских Крестах в декабре 1932 ожидало своей участи **единовременно двести шестьдесят пять смертников** — а за целый год по одним Крестам и за тысячу завалило?

И что ж это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А например, сидело там шесть колхозников из-под Царского Села, которые вот в чём провинились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. **Все эти шесть мужиков не были помилованы ВЦИКом, приговор приведён в исполнение!**

Какая Салтычиха? какой самый гнусный и от-

вратительный крепостник мог бы ***убить*** шесть мужиков за несчастные окоски?.. Да ударь он их только розгами по разу, — мы б уже знали и в школах проклинали его имя[22]. А сейчас — ухнуло в воду, и гладенько. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования! И ещё смеют нам визжать: «Как вы смели тревожить великую тень?», «Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению!» — Да. И — уголовному кодексу.

Впрочем, Ленин с Троцким — чем же лучше? Начинали — они.

Об этих расстрелах — какой правовед, какой уголовный историк приведёт нам проверенную статистику? где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые посвежу, в 1939—40 годах, бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго

---

[22] Примечания: 22

Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. (*Пругавин А. С.* Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством: К вопросу о веротерпимости. — М.: Посредник, 1905. — С. 39.)

(они-то знали!). Говорили ежовцы, что в два эти года расстреляно по Союзу ***полмиллиона***«политических» и 480 тысяч блатарей (ст. 59-3, их стреляли как «опору Ягоды»; этим и подрезан был «старый воровской благородный» мир).

В годы советско-германской войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось (например, военизация железных дорог), то обогащалось по формам (с апреля 1943 — указ о повешении).

Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни, однако терпением и преданностью наш народ всё-таки выслужил её: в мае 1947 Иосиф Виссарионович продиктовал президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время (с заменою на — 25 лет, *четвертную*).

Но народ наш неблагодарен и неспособен ценить великодушие. Поэтому покряхтели-покряхтели правители два с половиной года без смертной казни, и 12 января 1950 издан Указ противоположный: возвратили смертную казнь для уже накопившихся «изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов».

Но всё это — *временно, впредь до полной отмены.*

И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петровне.

* * *

В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. *Мы* инстинктивно уверены, что мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли. Нам ещё много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезёт — очень часто не помилование получали они, а *вышку*.

Агроном райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна! — 1937 год.

Председатель кустарной артели (изготовлявшей ниточные катушки!) Мельников приговорён к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры! — 1937 год. (Правда, его помиловали и дали десятку.)

В тех же Крестах в 1932 году ждали смерти: Фельдман — за то, что у него нашли валюту; Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев.

Удивляться ли тогда, что смертную казнь полу-

чил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду — не милиционера, нет! — но милицейскую лошадь! (Правда, той же милиции назло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал: «громи чертей!»...)

Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали, — она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано — сделано: открываются несколько разветвлённых заговоров! Вы спите в своей нетопленой ленинградской комнате, а когтистая чёрная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то, член-корреспондент Игнатовский, — у него окна выходят на Неву, и он вынул белый носовой платок высморкаться — сигнал! А ещё Игнатовский как инженер любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игнатовский взят. Итак, назовите сорок членов

вашей организации. Называет. Так если вы — капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики, а если вы профессор Технологического института — так вот вы и в списке, — и что же от вас зависело? А по такому списку — всем расстрел.

И всех расстреливают. И вот как остаётся в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик. Страховича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер: «Вы что ж? нарочно поскорее всё признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были?» Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг! Следствие идёт, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев: он не то что хочет жить, но он устал умирать и, главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу: «Это вас всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает! — его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников.

Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает.

И вот столько расстреляно — сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И всё-таки — это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если б когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казнённых, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, — то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

В одном моём знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере — десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; уходят не попрощавшись.

Вот так бы везде… Хоть какой-нибудь рубчик

на сердце мы бы вынесли из этих смертей.

Чтоб — *не напрасно* всё же!..

Как *это всё* происходит? Как люди *ждут*? Что они чувствуют? О чём думают? К каким приходят решениям? И как их *берут*? И что они ощущают в последние минуты? И как именно… их… это…?

Естественна больная жажда людей проникнуть за завесу (хоть никого из нас это, конечно, никогда не постигнет). Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем — ведь их помиловали.

Дальше — знают палачи. Но палачи не будут говорить.

Однако и палач не знает всего до конца. *До конца-то* и он не знает! До конца знают только убитые — и значит, никто.

Вот от помилованных мы составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а *ждут*. Что успокаиваются только утром.

Но какой фантаст мог бы вообразить смертные камеры 37-го года? Он плёл бы обязательно свой психологический шнурочек: как ждут? как прислушиваются?.. Кто ж бы мог предвидеть

и описать нам такие неожиданные ощущения смертников:

1. Смертники страдают от *холода*. Спать приходится на цементном полу, под окном это минус три градуса (Страхович). Пока расстрел, тут замёрзнешь.

2. Смертники страдают от *тесноты и духоты*. В одиночную камеру втиснуто семь (меньше и не бывает), десять, пятнадцать или *двадцать восемь* смертников (Ленинград, 1942). И так сдавлены они недели и *месяцы*! Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а — как вот сейчас ноги вытянуть? как повернуться? как воздуха глотнуть?

3. Смертники страдают от *голода*. Они ждут после смертного приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода: как бы поесть? — А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд?.. Слава нашей науки академик Н. И. Вавилов прождал расстрела несколько месяцев, да как бы и не год; в состоянии смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна, и когда летом 1942, помилованный, был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на

руках.

4. Смертники страдают без *медицинской помощи.* Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле?

А убить себя человек даёт почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтоб в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В ленинградских Крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателей револьверы и стреляли. После этого была принята техника: разглядевши в глазок, кого им надобно брать, вваливались в камеру сразу пятеро невооружённых надзирателей и кидались хватать одного.

Надежда! Чт*о* больше ты — крепишь или расслабляешь? Уже на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?

Но разве и при аресте не так же было всё обречено? Однако все арестованные, на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды.

* * *

Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по тёмному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырёх сторон, мысль его была: как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он ещё не поверил в свой приговор! Ещё надеялся жить…

В той тюрьме в Иванове было четыре смертных камеры — в одном коридоре с детскими и больничными! Власов попал в 61-ю. Это была одиночка: длиною метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу, на каждой кровати валетом лежало по два смертника. И ещё четырнадцать лежало на цементном полу поперёк.

На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на *три аршина* земли — и то ещё Чехову казалось мало…

Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё живы…»

И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в полном упадке ждут

вывода на смерть.

Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня!! а вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью: «Уберите вещи с подоконника!» От этого отпирания, может быть, все четырнадцать стали на год ближе к своей будущей смерти; может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить пуль! — но как ему благодарны, что всё обошлось: «Сейчас уберём, гражданин начальник!»

Яков Петрович Колпаков, председатель Судогодского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. Говорливость Власова его раздражала: «Как ты можешь?» — «А ты к раю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оканье. — Я только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не прокуроры, — ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас, палачей-добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!»

Колпаков был расстрелян.

Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми.

Кто-то терял связную речь и связное понимание — но всё равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошёл с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается.

Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 впервые после революции ввели пятнадцати– и двадцатипятилетние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов.

Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда хочется крикнуть: «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!»

За сорок один день ожидания расстрела именно это чувство озлобления всё больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании — а он отказывался.

Но на 42-й день его вызвали в бокс и огласили, что Президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания — двадцатью годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав.

Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашёлся сказать:

— Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин

— верит, если думает, что ещё и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря?..

Тогда это недостижимо казалось — через двадцать.

Странно, они понадобились и через сорок.

Глава 12. Тюрзак

Ах, доброе русское слово — *острог* — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острог*а*, и острот*а* (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, — а *рог*? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!

А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну заведение это всё за последние, скажем, лет девяносто, — так т*а*к и видишь не рог уже, а — два рога: народовольцы начинали с кончика рога — там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью, — и постепенно всё это становилось покруглей, поокатистей, сползало сюда, к комлю, и стало уже как бы даже и не рог совсем (это начало XX века) — но потом (после 1917) быстро нащупались первые хребтинки второго комля — и по ним стало это всё опять подниматься, сужаться,

строжеть, рожеть — и к 38-му году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: *тюрзак!*[23]

Хотя уже разбросался огромный Архипелаг — но никак не хирели и отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения.

Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с туземцами Архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты — никак не могли быть открыто показываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и *морально-политического ущерба*. Так же и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой — но содержимы и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы ещё узнаем, Тюрьмы Особого Назначения (ТОНы) понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в «исправлении»

---

[23] Примечания: 23
ТЮРемное ЗАКлючение (официальный термин).

воров, велит Сталин и разным *паханам* давать тоже тюрзак, а не лагерь. И наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание ещё таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе — как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением.

В 20-е годы в политизоляторах (ещё *политзакрытками* называют их арестанты) ***кормили***очень прилично: обеды были всегда мясные, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931–1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время и цинга, и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 во Владимирском ТОНе И. Корнеев постоянно ощущал голод: 450 граммов хлеба, два куска сахару, два горячих, но не сытных приварка — и только кипятка «от пуза» (опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод; зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму: посылки не ограничивались). — ***Свет*** в камерах был пайковый всегда — и в 30-е годы и в 40-е:

намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки (темнота — важный фактор угнетения души). Во Владимирском ТОНе этот недостаток света восполняли ночью: всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. — ***Воздух*** тоже нормировался, форточки — на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы и из Ярославской. — ***Прогулка***в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 минут до 45. Никакого уже шлиссельбургского или соловецкого общения с землёй, всё растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу — «Смотреть только под ноги!» — вспоминают и Козырев, и Адамова (Казанская тюрьма). — С в и д а н и я с родственниками запрещены были в 1937 и не возобновлялись. — ***Письма***по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы (но, Казань: прочтя, через сутки вернуть надзору), также и ***ларёк***на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и ***мебель***. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере (Суздаль)

простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. — Во Владимирском ТОНе И. Корнеев испытал два разных ***режима***: и такой (1947—48), когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днём лежать и вертухай мало заглядывал в глазок. И такой (1949—53), когда камера была под двумя замками (у вертухая и у дежурного), запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать (в Казанке — только шёпотом!), личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала; участились свирепые ***обыски***налётами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере ***карцер***. Карцеры были бич в Тюрьмах Особого Назначения. В карцер можно было попасть за кашель («закройте одеялом голову, тогда кашляйте!»); за ходьбу по камере (Козырев: это считалось «буйный»). Вот как было с Козыревым (описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо). За хождение по камере ему объявлено пять суток карцера. Осень, помещение карцера — неотап-

ливаемое, очень холодно. Раздевают до белья, разувают. Пол — земля, пыль (бывает — мокрая грязь, в Казанке — вода). У Козырева была табуретка. Решил сразу, что погибнет, замёрзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трёхсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев вёл счёт времени. — После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошёл с ума, и больше года Козырев сидел вдвоём с сумасшедшим.

Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский ТОН 50-х годов *курортом*. Так нашёл Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абезь, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда (1956) из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать… в ООН) и отличной библиотекой, включая

иностранные языки: в камеру приносят полный каталог, и составляешь годовую заявку.

А ещё же не забудьте и гибкость нашего Закона: приговорили тысячи женщин («жён») к тюрзаку. Вдруг свистнули — всем сменить на лагеря (на Колыме золота недомыв)! И сменили. Без всякого суда.

Так ***есть*** ли ещё тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая?

* * *

Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у тюремщика не вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик боится общественного мнения. И только тогда голодовка сильна.

Царские тюремщики были ещё зелёные: если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. В те годы, кроме мучений голода, никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для арестанта. Его не могли за голодовку избить, второй раз судить, увеличить срок, или расстрелять, или этапировать.

В 20-х годах бодрая картина голодовок омра-

чается. Правда, ещё принимаются письменные заявления о голодовке, и ничего подрывного в них пока не видят. Но вырабатываются новые правила: голодовщик должен быть изолирован в специальной одиночке (в Бутырках — в Пугачёвской башне[24]): не только не должна знать о голодовке митингующая воля, не только соседние камеры, но даже и та камера, в которой голодовщик сидел до сего дня, — это ведь тоже общественность, надо и от неё оторвать.

Но всё ж в эти годы можно добиться голодовкой хоть личных требований.

С 30-х годов происходит новый поворот государственной мысли по отношению к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные голодовки — зачем, собственно, государству нужны? И вот с 30-х годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. «Голодовка как способ борьбы *больше не существует*!» — объявили Екатерине Олицкой в 1932 году и объявляли многим. Власть упразднила ваши голодовки! — и баста.

---

[24] Примечания: 24

Одна из башен Бутырского тюремного замка, построенного архитектором М. Ф. Казаковым в 1771 г. В подвале этой башни в январе 1775 г. закованный в цепи Емельян Пугачёв находился до дня казни. — *Примеч. ред.*

Примерно со средины 1937 года пришла директива: администрация тюрьмы впредь *совсем не отвечает за умерших от голодовки*! Исчезла последняя личная ответственность тюремщиков! Больше того: чтоб и следователь не волновался, предложено: дни голодовки подследственного вычёркивать из следственного срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заключённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта!

Это значило: хотите подыхать? Подыхайте!!

Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки.

Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли это? Не подчинение?

И вот тут только — только здесь! — должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиночного арестанта. Вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счёт

преходящих минут даёт интимное общение со Вселенной, — одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли (да впрочем, асфальт!..). Как голова его сама запрокидывается к Вечному Небу (да впрочем, запрещено!..). Сколько умильного внимания вызывает в нём прыгающая на подоконнике птичка (да впрочем, намордник, сетка и форточка на замке…). И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге (да впрочем только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию…).

Но что-то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы: в Тюрьме Нового Типа, в Тюрьме Особого (а какого?) Назначения — очищается ли душа человека? или гибнет окончательно?

Если каждое утро первое, что ты видишь, — глаза твоего обезумевшего однокамерника, — чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом,

спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и Высшем духе его; о звёздах; об их внутреннем состоянии; и о том, что*о* же такое есть Время и ход Времени.

И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он упёрся в забытые цифры. Дальше он строить не мог — ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И учёный взмолился: Господи! Я сделал всё, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше.

В это время полагалась ему на 10 дней всего одна книга (он был уже в камере один). В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы — пришли сменить ему книгу и, как всегда не спрашивая, швырнули — «Курс астрофизики»! Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке! Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать, запоминать всё, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло

всего два дня, ещё восемь дней было на книгу — и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу. — «Да ведь вы по специальности астроном?» — «Да». — «Отобрать эту книгу!» — Но мистический приход её освободил пути для работы, продолженной в норильском лагере.

Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решётки.

Но что это?.. Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный корпусной с длинным списком: «Фамилия? Имя-отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?.. Соберитесь *с вещами*! Быстро!»

Ну, братцы, этап! Этап!.. Куда-то едем! Господи, благослови! Соберём ли косточки?..

А вот что: живы будем — доскажем в другой раз. В Четвёртой Части. Если будем живы…

Часть вторая – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Колёса тоже не стоят,
Колёса…
Вертятся, пляшут жернова,
Вертятся…

В. Мюллер

Глава 1. Корабли Архипелага

От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов заколдованного Архипелага. Они невидимы, но они — есть, и с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объём и вес.

Черезо что же возить их? На чём?

Есть для этого крупные порты — пересыльные тюрьмы, и порты помельче — лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли — *вагон-заки.* А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые *воронки*. Вагон-заки ходят по расписанию. А при нужде отправляют из порта в порт по диагоналям Архипелага ещё целые караваны — эшелоны красных товарных телячьих вагонов.

Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами, но — невидимо вам (а можно и глаза смежить). На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит далеко от пассажирского перрона, её видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой

проулок между двумя пакгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам вагонзака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда, он успевает только видеть ступеньки (иногда нижняя ему по пояс, и сил карабкаться нет), а конвоиры, обставшие узкий переходик от воронка к вагону, рычат, гудят: «Быстро! Быстро!.. Давай! Давай!..»

И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, недосуг приглядываться: зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон? Ничего на нём не написано, и очень похож он на багажный — тоже косые прутья решёток и темнота за ними. Только зачем-то едут в нём солдаты, защитники отечества, и на остановках двое из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон.

Поезд тронется — и сотня стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, понесётся по тем же змеистым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — но за вашими стёклами в воздухе ещё меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде. И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой пачкой белья для постели,

с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас пронёсся за три секунды до вас через этот же объём эвклидова пространства?

«Вагон-зак» — какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключённых.

Вагон-зак — это обыкновенный купейный вагон, только из девяти купе пять, отведенные арестантам (и здесь, как всюду на Архипелаге, половина идёт на обслугу!), отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решёткой, обнажающей купе для просмотра. Окна коридорной стороны — обычные, но в таких же косых решётках извне. А в арестантском купе окна нет — лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок (вот без окон — и кажется нам вагон как бы багажным).

Всё вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решёткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

По расчётам вольных инженеров, в сталинском купе могут шестеро сидеть внизу, трое — лежать

на средней полке (она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз) и двое — лежать на багажных полках вверху.

Если теперь сверх этих одиннадцати затолкать в купе ещё одиннадцать (последних под закрываемую дверь надзиратели запихивают уже ногами) — то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. По двое скорчатся, полусидя, на верхних багажных, пятеро лягут на соединённой средней (и это — самые счастливые, места эти берутся с бою, а если в купе есть блатари, то именно они лежат там), на низ же останется тринадцать человек: по пять сядут на полках, трое — в проходе меж их ног. Где-то там вперемешку с людьми, на людях и под людьми — их вещи. Так со сдавленными поджатыми ногами и сидят сутки за сутками.

Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей! Осуждённый — это трудовой солдат социализма, зачем же его мучить, его надо использовать на строительстве. Но, согласитесь, и не к тёще же в гости он едет, не устраивать же его так, чтоб ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности: доедет, не подохнет.

Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестан-

тов жаждой, все эти вагонные сутки в изнеможе и давке их кормят вместо приварка только селёдкой или сухою воблой (так было *все* годы, тридцатые и пятидесятые, зимой и летом, в Сибири и на Украине, и тут примеров даже приводить не надо). Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами — чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен, сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов — не разожрутся ли? Селёдка, лучше не придумаешь, да хлеба ломоть — чего ж ещё?

Ты бери, бери свои полселёдки, пока дают, и радуйся! Если ты умён — селёдку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, слопаешь на пересылке, где водица. Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью, она в кармане не пролежит, бери её сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь — и ешь. Делят камсу на чьём-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол, и делят её на лавках, на коленях.

И конечно, не для того, чтоб арестант мучился, ему не дают после селёдки ни кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды. Надо понять: штаты конвоя ограниченны, одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лазят

под вагоном, по крыше: смотрят, не продырявлено ли где. Другие чистят оружие, да когда-то же надо с ними заняться и политучёбой, и боевым уставом. А третья смена спит, восемь часов им отдай как закон, война-то кончилась. Потом: носить воду вёдрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа?

Но и всё б это конвой перенёс, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды — и оправки не просят; один раз напоишь — один раз и на оправку; пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на оправку. Прямой расчёт всё-таки — не поить.

И не потому оправки жалко, что уборной жалко, — а потому, что это ответственная и даже боевая операция: надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. Выставляются два поста — один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны, а ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта. И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит

тридцать арестантов в своём купе и сто двадцать во всём вагоне, да наряд конвоя! Так «Давай! Давай!.. Скорей! Скорей!» — понукают его по пути ефрейтор и солдат, и он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборной у государства.

И даже при таком быстром темпе уходит на оправку ста двадцати человек больше двух часов — больше четверти смены трёх конвоиров!

Так вот: поменьше оправок! А значит — воды поменьше. И еды поменьше.

Поменьше воды! А селёдку положенную выдать! Недача воды — разумная мера, недача селёдки — служебное преступление.

Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассудительны! Но, как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненые языки сыпят соль.

Так же и совсем не имеют цели этапные конвоиры перемешивать в купе Пятьдесят Восьмую с блатарями и бытовиками, а просто: арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез — когда с ними разбираться? Одно из четырёх купе держат для женщин, в трёх остальных если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтоб удобнее выгружать.

И разве потому распяли Христа между разбой-

никами, что хотел Пилат его унизить? Просто день был такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. *И к злодеям причтён.*

* * *

Это смешение, эта первая разящая встреча происходит или в воронке, или в вагон-заке. До сих пор как ни угнетали, пытали и терзали тебя следствием — это всё исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством. Но зато твои однокамерники, хотя б они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты, хотя б ты спорил с ними, хотя б они на тебя и стучали, — все они были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провёл всю жизнь.

Вталкиваясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решётки, с этой ты их не ждёшь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке — и видишь там три-четыре — нет, не лица! нет, не обезьяньих морды, у обезьян же морда гораздо добрей и задумчивей! нет, не образину — образина хоть чем-то должна быть похожа на образ! — ты видишь жестокие гадкие

хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя как паук, нависший над мухой. Их паутина — эта решётка, и ты попался!

Эти странные гориллоиды скорее всего в майках — ведь в купе духота, их жилистые багровые шеи, их раздавшиеся шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится — крестик! да, алюминиевый крестик на верёвочке. Ты поражён и немного облегчён: среди них есть верующие, так ничего страшного не произойдёт. Но именно этот «верующий» вдруг загибает в крест и в веру и суёт два пальца тычком, рогатинкой, прямо тебе в глаза — не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте «глаза выколю, падло!» — вся философия их и вера! Если уж глаз твой они способны раздавить, как слизняка, — так что на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь ещё не выдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчёта: кто из вас уже сошёл с ума? кто ещё сходит?

Ты смотришь на соседей, на товарищей — давайте же или сопротивляться, или заявим протест! — но все твои товарищи, твоя Пятьдесят

Восьмая, ограбленные поодиночке ещё до твоего прихода, сидят покорно, сгорбленно.

Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для Пятьдесят Восьмой. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушён телом: он голодал, не спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если бы только телом! — он сокрушён и душой. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот задача следствия по 58-й статье.

Но если не кулачный отпор — то отчего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он, медленно прохаживается за решёткою, конвойный солдат.

Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвоир всё прохаживается — почему ж не вмешается он сам? В метре от него, в полутёмной пещере купе грабят человека — почему ж не заступится воин государственной охраны?

А вот по тому самому: после многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам.

Конвой и с*ам стал вор.*

С середины 30-х годов и до середины 40-х, в это десятилетие величайшего разгула блатарей и нижайшего угнетения политических, — никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабёж политического в камере, в вагоне, в воронке. Но расскажут вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен принёс им водки, еды (послаще пайковой), курева. Эти примеры уже стали хрестоматийными.

Ещё отличаются пассажиры вагон-зака от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идёт поезд и на какой станции им сходить: ведь билетов у них нет и маршрутных табличек на вагонах они не читают. Если конвойная команда верна уставу — от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, уснём в переплёте тел, в пристукивании колёс, не узнав — леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки через решётку, коридор, два стекла и ещё решётку видны всё-таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стёкла не обмёрзли, иногда можно прочесть

и название станции — какое-нибудь Авсютино или Ундол. Где такие станции?.. Никто не знает в купе. Иногда по солнцу можно понять: на север вас везут или на восток.

Но и узнав направление — ничего вы ещё не узнали: пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке, с любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет, — а думаешь, 501-я стройка слаще — железная дорога по тундре, по северу Сибири? Она стоит их всех.

Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли всё-таки в русла (или в МВД расширили штаты?), стали сопровождать каждого осуждённого запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут. Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами, — может быть, вы и словчите прочесть, что кого-то везут в Княж-Погост, а вас — в Каргопольлаг.

Ну, теперь ещё больше волнений! — что это за Каргопольлаг? Кто о нём слышал?.. Какие там *общие*?.. (Бывают общие работы смертные, а бывают и полегче.) Доходиловка, нет?..

А ещё лучше — переставайте вы поскорее быть этим самым *фраером* — смешным новичком, добычей и жертвой.

И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них! Не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте: в вагон-заке, в воронке ли, на приёме в пересыльную тюрьму — всё равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя — будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем — за своё же добро останетесь с кровоточащим ртом.

Не имейте! Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймём, что имуществом губим душу свою?

Ну разве селёдка пусть греется в твоём кармане до пересылки, чтобы здесь не клянчить тебе попить. А хлеб и сахар выдали на два дня сразу — съешь их в один приём. Тогда никто не украдёт их. И забот нет. И будь как птица небесная!

То имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запо-

минай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост.

Оглянись — вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори — больше услышишь.

Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном вагоне, потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни.

Как и всякий вагон, арестантский затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки.

И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колёсный шум, ничуть не мешающий тишине. И тогда, если ещё и конвойный ушёл из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвёртым женским.

Разговор с женщиной в тюрьме — он совсем особенный. В нём благородное что-то, даже если говоришь о статьях и сроках.

Один такой разговор шёл целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58–10. А в мужских занялся шум: стал конвой сгонять всех зэков из трёх купе в два (уж по сколько там сгрудили — не спрашивай). И ввели какого-то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен — и волнистые светло-жёлтые волосы, истые кудри, вызывающе лежали на его породистой большой голове. Он был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения (конвой сам оробел перед инструкцией, написанной на конверте его дела), — и девушка успела это всё рассмотреть. А он её не видел (и как же потом жалел!).

По шуму и сутолоке она поняла, что для него освобождено особое купе — рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон-заке невозможно, а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решёткой и тихо позвала его (а может быть, сперва напела тихо. За всё это

конвой должен был бы её наказать, но конвой угомонился, в коридоре не было никого). Незнакомец услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же трёхсантиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски. Они были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть.

Эрик Арвид Андерсен понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю, она же ему — простенькую историю московской студентки, получившей 58–10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал её о советской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и из своего официального визита сюда.

Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необычный арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание девушки у его уха — у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского голоса он уже

полтора года вообще не слышал.)

И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз… (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода.)

———

Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а сойти — отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом.

Сперва конвой станет кругом у вагонных ступенек, и, едва ты с них скатишься, свалишься, сорвёшься, — конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе со всех сторон (так учены): «Садись! Садись! Садись!» Это очень действует, когда в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты невольно корчишься, спешишь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше.

«Садись!» — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её ещё не понимаешь.

В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в обнимку (если чемодан сработан не в лагере, а на воле, у него всегда рвётся ручка, и всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороной и, не углядев, как сидели передние, сел на чемодан — не мог же я в офицерской шинели, ещё не такой уж грязной, ещё с необрезанными полами, сесть прямо на шпалы, на тёмный промазученный песок! Начальник конвоя — румяная ряшка, добротное русское лицо, разбежался — я не успел понять, что*о* он? к чему? — и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что-то удержало — не пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Са-дись!» — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь среди окружающих зэков, — и, ещё не успев спросить: «А как же сидеть?» — я уже понял как, и берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, кошки у дверей.

(Этот чемодан у меня сохранился, я и теперь, когда попадётся, провожу пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на сердце. Вещи памятливее нас.)

И эта посадка — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что колени твои

возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают нас потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броситься на конвой — пока зашевелимся, нас перестреляют прежде.

Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь — испытание для вольных: мы-то разглядываем их с полным правом, во все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? — совесть не позволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят «за дело»). С сочувствием? с жалостью? — а ну-ка фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане опускают свои виновные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, — и, отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагерники, бытовики конечно. Лагерники знают: «Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет» — и смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в

их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт наземь, пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху, на доброту, на хлеб: «Эй, проходи, бабка!»

И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят.

Глава 2. Порты Архипелага

Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные чёрные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? вся карта усижена заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов Архипелага.

Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. И ещё не будет здесь — тёплого голубого моря (воды для купанья здесь — литр на человека, а чтоб удобней мыться — четыре литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь!). Но всей прочей портовой романтики — грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычья и драк — тут с лихвой.

Редкий зэк не побывал на трёх-пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а *сыны* ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. И у кого память чёткая — тому теперь и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уложилась

по пересылкам.

Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат, вместе со следственными. И в каждом райцентре так — чем же не пересылка? В Соль-Илецке? Есть пересылка! В Рыбинске? А тюрьма № 2, бывший монастырь? Ох, покойная, дворы мощёные пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие. В Чите? Тюрьма № 1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В Торжке? А на горе, в монастыре тоже.

Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки! Ведь суды же работают везде! А в лагерь как их везти — по воздуху?

Конечно, пересылка пересылке не чета. Но какая лучше, какая хуже — доспориться невозможно. Соберутся три-четыре зэка, и каждый хвалит обязательно «свою».

— Да хоть Ивановская не уж такая знатная пересылка, а расспроси, кто там сидел зимой с 37-го на 38-й. Тюрьму *не топили* — и не только не мёрзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стёкла в окнах, чтоб не

задохнуться. В 21-й камере вместо положенных двадцати человек сидело *триста двадцать три*! Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрёт — его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. А почему там вышла такая перегрузка — три месяца в баню не водили, развели вшей, от вшей — язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин, и этапов четыре месяца не отправляли.

— Так это, ребята, не в Ивановской дело, а дело в году. В 37—38-м, конечно, не то что зэки, но — камни пересыльные стонали. Иркутская тоже — никакая не особенная пересылка, а в 38-м врачи не осмеливались и в камеру заглянуть, только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Которы *без сознания — выходи*!»

— Да что всё ваш Тридцать Седьмой да тридцать седьмой? А Сорок Девятого в бухте Ванино, в 5-й зоне, — не хотели? Тридцать пять тысяч! И — несколько месяцев! — опять же на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов: свистки! крики! — «выходи *без последнего*!» Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струёй поливают, кто рот подставит — твоя. Стали драться у цистерны — с вышки огонь!

Ну точно как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник УСВИТЛа[25], вышел к нему перед толпой военный лётчик, разорвал на себе гимнастёрку: «У меня семь боевых орденов! Кто дал право стрелять по зоне?» Деревянко говорит: «Стреляли и *будем стрелять*, пока вы себя вести не научитесь».

Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский русский Северо-Восток, откровеннее потому, что это было уже глубоко в Архипелаге и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930 (надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать), однако и в 1938 далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых… брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморозки люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали коченеть неподвижно, их всё время считали, бодрили проверками (бывало там 20 тысяч чело-

[25] Примечания: 25

УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных (то есть колымских) ИсправТрудЛагерей.

век единовременно) или внезапными ночными обысками. — В зиму 1944/45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч, из них умирало в день — пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. (Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процента в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, но ведь и главная-то косиловка — лагерная работа, тоже ведь ещё не начиналась.)

Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту! Несколько суток зажатые и скрюченные в купе вагон-зака — как мы мечтали о пересылке! Что здесь мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку. Что здесь мы вволю попьём и водицы, и кипяточку. Что здесь не заставят нас выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим приварком. И наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться.

А здесь если что по нашим грёзам и сбудется, так всё равно чем-нибудь обгажено.

Что ждёт нас в бане? Этого никогда не узна-

ешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин (Красная Пресня, 1950, ноябрь). Или нас, череду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершам. В вологодской парной дородная тётя Мотя кричит: «Становись, мужики!» — и всю шеренгу обдаёт из трубы паром. Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды; что в прожарке сгорают вещи, что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за вещами.

С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые всё-таки нет-нет да держатся же какого-то писаного закона. Тут владеют вами — *придурки* пересылки. Тот хмурый банщик, который придёт за вашим этапом: «Ну, пошли мыться, господа фашисты!»; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком *воспитатель*, который газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки, — до чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути?

Ба-а-а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утёсовские урки! Это же опять Женька-

Жоголь, Серёга-Зверь и Димка-Кишкеня, только они уже не за решёткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и *с понтом* наблюдают за дисциплиной — уже нашей.

Всякий начальник пересылки догадывается до этого: за все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством. А из *социально-близких* — только свистни, сколько угодно охотников исполнять эту работу за то одно, что они на пересылке *зачалятся*, не поедут в шахты, в рудники, в тайгу. Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, портные по починке белья — это вечно-пересыльные, они основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним ещё недощупанными, и они дурят нас всласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателей, а перед обыском предлагают сдавать деньги на хранение, и серьёзно пишут какой-то список — и только мы и видели этот список вместе с денежками! — «Мы деньги сдавали!» — «Кому?» — удивляется пришедший офицер. — «Да вот тут был какой-то!» — «Кто ж именно?» Придурки не видели… — «Зачем же

вы ему сдавали?» — «Мы думали…» — «Индюк думал! Меньше думать надо!» Всё.

«Так это же не блатные! — разъясняют нам знатоки среди нас. — Это — *суки*, которые служить пошли. Это — враги *честных воров*. А честные воры — те в камерах сидят». Но до нашего кроличьего понимания это как-то туго доходит. Ухватки те же, татуировка та же. Может, они и враги тех, да ведь и нам не друзья, вот что…

* * *

Но даже новичку, которого пересылка лущит и облупливает, — она нужна, нужна! Она даёт ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание. Надо постепенно.

Потом пересылка даёт ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое законное своё письмо: иногда — что он не расстрелян, иногда — о направлении этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного следствием. Там, дома, его ещё помнят прежним, но он никогда уже не станет им — и вдруг это молнией прорвётся в какой-то корявой строке. Корявой, потому что хоть письма с пере-

сылок и разрешены и висит во дворе почтовый ящик, но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя, тем более нечем их чинить. Впрочем, находится разглаженная махорочная обёртка или обёртка от сахарной пачки, и у кого-то в камере всё же есть карандаш — и вот такими неразборными каракулями пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей.

Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут ещё застигнуть мужа на пересылке — хотя свиданья им никогда не дадут и только можно успеть обременить его вещами.

Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для памятника всем жёнам — и указала даже место.

Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулёвские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне — нам не было видно снизу. На нём редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это

время три многолюдные камеры — и среди этих густых трёх сотен обезличенных муравьёв она хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, что подскажет сердце? Ей, наверно, не дали свидания — и она взобралась на эту кручу. Её со дворов все заметили, и все на неё смотрели. У нас, в котловинке, не было ветра, а там наверху был изрядный. Он откидывал, трепал её длинное платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней.

Я думаю, что статуя такой женщины, именно там, на холме над пересылкой и лицом к Жигулёвским воротам, как она и стояла, могла бы хоть немного что-то объяснить нашим внукам.

Долго её почему-то не прогоняли — наверно, лень была охране подниматься. Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать — и согнал.

Ещё пересылка даёт арестанту — обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров (в лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальце *опера*) — ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и

лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, чего б никогда не прочёл.

Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантийкой[26], так и горба ж не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать вволю. Растянись и лежи от баланды до баланды. Неуедно, да улёжно. Только тот, кто отведал лагерных *общих*, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрей идёт. Убить бы день, а ночи не увидим.

Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том смысле, что, куда ни ехать, её нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе из Ташкента в Сочи и из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через Москву, так и арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это-то время я там и застал. Пресня

---

[26] Примечания: 26
Пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы.

изнемогала от переполнения. Строили дополнительный корпус.

На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру *спецнарядника*, и он лёг рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном Управлении была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих вагон-заках, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет: он защищён накладной, его не погонят валить лес.

Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже бо́льшую часть своего срока. С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье.

Что ждёт нас в лагере? Жалея нас, он поучал:

— С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя! Оглядывайтесь: не подбирается ли кто укусить вас. Потом ещё привыкайте: в лагере никто ничего не делает даром, никто ничего — от доброй души. За всё нужно платить. Самое же главное: избегайте общих работ! Избегайте их с первого же дня! В первый день

попадёте на общие — и пропали, уже навсегда.

– *Общих* работ?..

— Общие работы — это главные основные работы в данном лагере. На них работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подыхают. Все. И привозят новых взамен — опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. *Живут* же в лагере только те, кто *не* на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня.

Любой ценой!

Любой ценой?..

На Красной Пресне я усвоил и принял эти — совсем не преувеличенные — советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край её?

Глава 3. Караваны невольников

Маетно ехать в вагон-заке, непереносимо в воронке, замучивает скоро и пересылка — да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами.

Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Караваны *краснух* (красных телячьих вагонов) — так отправляли миллионы крестьян в 1929—31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В тридцатых годах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику Немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации — так же. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей — из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ. В 1949 так собирали Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря.

Вагон-заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымется из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага.

Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых — сперва он должен быть подготовлен: должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по эшелону с нужною частотой вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с пулемётами); должны быть оборудованы всходы на крыши; должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должны быть устроены кухни — для конвоя и

для заключённых. Лишь после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там «скоропортящийся».

Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важные обязательные цели: скрыть посадку от народа и терроризировать заключённых.

Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около тысячи человек (по крайней мере, двадцать пять вагонов), это не маленькая группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида *вместе*. В Орле в 38-м году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда-нибудь! И не надейся: не модно, не модно…) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: молодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно,

каждой ночью, и так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну этапа. Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают — вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат: такого-то здесь нет?.. такого-то и такого-то нет?..

Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок.

И в Москве, со старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это закон.

Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем.

Если в вагоне есть блатные, они занимают свои

традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Подохни ты сегодня, а я завтра!

Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание: на глухих станциях (опять-таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или наливают баланду в те самые вёдра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем! — потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля.

Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят — но и спать же не дадут. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулаговский стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона: не управились ли её уже выпилить?

От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Зимами 1944/45 и 1945/46 годов в посёлок Желез-

нодорожный (Княж-Погост), как и во все главные узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых территорий шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов.

Страшно и смертно ехать зимой. Но и в жару ехать не так-то сладко: из четырёх малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один вагон-зак.

Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспересадочностью, этот красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли! Скорей бы уж приехать.

* * *

Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны — и только так можно было управиться сбросить всю эту серую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах,

стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив в тундру — уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой.

Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими *освобождённые* западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме *стояли* вплотную — и это не одни сутки.

Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — трёхэтажный, тёмный. Только через колодец проёма, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку.

Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к све-

ту. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап проходит трудно, то без стеснения *отметают святой костыль* (отбирают пайку у серой скотинки).

А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали сопротивление блатным (*сукам*), которых было человек около восьмидесяти (и, как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на владивостокской пересылке «Три-десять», они обыскивают никак не хуже тюремщиков, все потайки знают, но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё. Зная это, они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги — можно купить махорки». И Миша Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Сука Володька-Татарин крикнул ему: «Ты что ж, падло, *налогов не платишь*?» И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) оттолкнул его. Володька-Татарин сделал рогатку в глаза, Павел сбил его с ног. Подскочило сук сразу человек 20–30, — а вокруг Грачёва и Павла встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан; Се-

рёжа Потапов; Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью), или помешала им близость часового, — но они отступили, ограничась угрозой: «На земле — *мусор* из вас будет!» (Бой так и не состоялся, и «мусора» из ребят не сделали.)

Но вот я замечаю, что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут грузовиками на сотни километров и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках.

Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках, тут их будут *комиссовать*, то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными).

Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагон-заки. Это идут краснухи. Во

всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков. Всё время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых.

Мы пересмотрели все способы доставки — и нашли, что все они — хуже. Мы оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, — ложная надежда.

В лагере будет — хуже.

Глава 4. С острова на остров

А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архипелага. Это называется — *спецконвой*. Это — самый нестеснённый вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Его не надо путать со *спецнарядом*, который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути.

А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не садиться, и даже обыска никакого не будет. Вообще-то, предупреждает конвой, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако поедемте *просто*, держитесь легко, не давайте понять, что вы — заключённый.

Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами (от хватки инструмента они у меня перестали разгибаться) жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвёл меня от развода и со внезапным уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряже-

нию министра внутренних дел…»

Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили.

Одни говорили: «навешивать будут новый срок», другие говорили: «на освобождение». Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учётные карточки ГУЛАГа. Важнейшая графа там была «специальность». И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности: «парикмахер», «портной», «кладовщик», «пекарь». А я прищурился и написал: «ядерный физик». Ядерным физиком я отроду не был, только до войны слушал что-то в университете, названия атомных частиц и параметров знал — и решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал, забыл.

Это — глухая, совершенно недостоверная, никем не подтверждённая легенда, которую нет-нет да и услышишь в лагерях: что где-то в этом же Архипелаге есть крохотные Райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был — мол-

чит. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах, ниже как сметаной и яйцами там не кормят; там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная.

И вот на те-то Райские острова (в арестантском просторечии — *шарашки*) я на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю (уж есть о них роман[27]).

Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем.

Ты окунаешься в гущу *воли*, толкаешься в станционном зале. Успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском «диване» и слушаешь странные и ничтожные разговоры: о том, что какой-то муж бьёт жену или бросил её; а свекровь почему-то не

---

[27] Примечания: 27

«В круге первом»; в романе описана «марфинская шарашка», где заключённые специалисты разрабатывали «секретную телефонию». — *Примеч. ред.*

уживается с невесткой; а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног. Ты всё это слушаешь — и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове: тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной! мера всех слабостей и страстей! — а этим грешникам никак не дано её увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими.

И — незаполнимая бездна между вами! Ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи: ведь ты — дух, ты — призрак, а они — материальные тела.

Как же внушить им — прозрением? видением? во сне? — братья! люди! Зачем дана вам жизнь?! В глухую полночь распахиваются двери смертных камер — и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селёдки горькими языками сухие губы, они грезят о счастьи распрямлённых ног, об успокоении после оправки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля — и лишь тогда в неё закапывают кости умерших за зиму. А у вас — под голубым небом, под горячим солнцем есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться,

куда угодно ехать без конвоя — какое ж электричество в коридоре? при чём тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки её — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти!..

Но конвоиры поглаживают в карманах чёрные ручки пистолетов. И мы сидим втроём рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья.

Первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне,

хотя четвёртый раз уже меня в неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала!

…Как домой иду через сводчатую башенку вахты, — и ничто мне, что сейчас поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: «фамилия? имя-отчество?.. год рождения?..»

Фамилия!.. Я — Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — не подвластна им.

Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введен буду в камеру и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть.

* * *

Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, — та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, Архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на всё то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в Архипелаге — добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях

не находилось больше двенадцати миллионов (одни уходили в землю, Машина приволакивала новых). И не больше половины из них было политических. Шесть миллионов? — что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Немудрено же, что попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись — и обязательно найдёшь с однокамерниками общих знакомых.

Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького (не новичка — тот входит подавленно, смущённо, а — уже сиделого зэка). И сам люблю входить в новую камеру (впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил) — беззаботная улыбка, широкий жест: «Здорово, братцы! — Бросил свой мешочек на нары. — Ну, какие новости за последний год в Бутырках?»

…Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?.. Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75-ю камеру. Освещённая из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты:

жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подёргивались. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек 80.

По команде «подъём!», выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать — новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: обычный поток свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь специалистов — физиков, химиков, математиков, инженеров-конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты. (Тут я успокоился, что министр не будет мне *домат*ывать срока.) Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закруглённым под ястреба:

— Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообще-

ние? Какое именно?

Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не разогнулись и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесенная с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не видел? Пустой вопрос, конечно нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе.

После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допонять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа.

Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух-дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда

Жебрак, не зная о том (а может быть и зная), имел смелость написать для канадского журнала: «Русская биология не отвечает за Лысенко, русская биология — это Тимофеев-Ресовский» (во время разгрома биологии в 1948 Жебраку это припомнили).

А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую учёные следующих поколений даже и не хотят иметь (или изменились возможности охвата?). Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — боковой потомок Степана Разина, и эта казацкая могута очень в нём чувствовалась — в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.

В той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперёд. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги (их, путёвых, три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут прогулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под про-

ливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий, как лесное озеро. Эн-тэ-эсовец[28] из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз.

И опять идут пленники, пленники, пленники — поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты — из Европы и из Маньчжурии.

И конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): «Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдёте!» — «И ты же, собака, на удобрение!» — кричат ему. «Нет, моё дело пересмотрят, я осуж-

---

[28] Примечания: 28

НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов) — антикоммунистическая эмигрантская организация; создана белоэмигрантской молодёжью в Белграде в 1930 г.; издавала журналы «Грани», «Посев»; в 1990-х годах НТС легализовался в России. — *Примеч. ред.*

дён невинно!» Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки: «Дети мои, помиримся!.. Дети мои!» Воют и ему: «В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!» Только — сыновья ГУЛАГа…

После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе.

Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам: «Атбой!» Нет, и до войны, учась в двух ВУЗах сразу, ещё зарабатывая репетиторством и порываясь *писать*, — кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере в то лето…

* * *

Говорили, что с 1944 на 1945 год через Малую (областную) Лубянку прошла «демократическая

партия». Она состояла, по молве, из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту — ученик 10-го класса московской школы, был её «генеральный секретарь». — Мелькали и студенты в московских тюрьмах в последний год войны, я встречал их там и здесь. Кажется, и я не был стар, но они — моложе…

Как же незаметно это подкралось! Пока мы — я, мой одноделец, мои сверстники — воевали четыре года на фронте, — а здесь росло ещё одно поколение! Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле?! — и вдруг по плитам тюремных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы поражённо узнаём, что самые молодые и умные уже не мы — а они! Но я не был обижен этим, уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, всё знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках — шевеление тюремного ореола вокруг самовлюблённых и умных мордочек.

В июне 1945 в бутырской камере, — я ещё только вступил в проход, ещё места себе не увидел, —

как навстречу мне вышел с предощущением разговора-спора, даже с мольбой о нём — бледно-жёлтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трёпаную простреленную солдатскую шинель: его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я, не помню почему, упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил как само собой ясное:

— Ну, это, конечно, ханжество.

И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, он как будто приподнялся и спросил:

— По-че-му? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренно верить в Бога?

Только всего и было сказано! Уж там каков Рузвельт, но — с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рождённого в 1923 году?.. Я не сумел ему возразить, я только спросил:

— А вы верите в Бога?

— Конечно, — спокойно ответил он.

Конечно? Конечно… Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди

первых заметило это.

Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержантом-противотанкистом на сорокапятках «прощай, Родина!», но и получил ранение в лёгкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулёзный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, — и так сплелись в нём две пряжи: одна — от солдатчины, другая — от совсем не глупой и совсем не мёртвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем (хотя это им не было никем поручено) — и вот оттуда намётанный глаз Органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37-м году, и сын рвался на тот же путь.

На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами, и в ожидании Красной Пресни мне пришлось столкнуться с их объединённой точкой зрения. Не помню, чтоб нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого — и с какой стороны! Толстой отвергал Церковь? Но он не учитывал её мистической и организующей роли! Он отвергал библейское учение? Но для новейшей

науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках её о создании мира. Он отвергал государство? Но без него будет хаос! Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке? Но это — бессмысленная нивелировка способностей! И наконец, как мы видим по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим!

Не здесь ли, в тюремных камерах, и обретается великая истина? Тесна камера, но не ещё ли теснее *воля*? Не народ ли наш, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?

В Бутырской церкви, уже осуждённые, отрубленные и отрешённые, московские студенты сочинили песню и пели её перед сумерками неокрепшими своими голосами:

…Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера
И иглой тюремной контрабандною
Шьём себе в дорогу сидора.
О себе теперь мы не заботимся:
Подписали – только б поскорей!

И ко-гда? сюда е-щё во-ро-тимся?..
Из сибирских дальних лагерей?..

Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов — а тут ещё одна молодёжь выросла и тронулась! Да не *туда* ли она тронулась?.. Не туда ли, куда мы не могли б и осмелиться?

Часть третья – ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

Только ети можут нас понимать, хто кушал разом с нами с одной чашки.

Из письма гуцулки, бывшей зэчки.

То, что должно найти место в этой части…

То, что должно найти место в этой части, — неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях — в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря — на истребление.

Оттого: все, кто глубже черпанул, полнее изведал, — те в могиле уже, не расскажут. *Главного* об этих лагерях уже никто никогда не расскажет.

И непосилен для одинокого пера весь объём этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но к счастью, ещё несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния.

Да вкус-то моря можно отведать и от одного хлебка.

Глава 1. Персты Авроры

Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага.

Когда наши соотечественники услышали по Би-би-си, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас (да и на Западе) были поражены: неужели так рано? неужели уже в 1921?

Конечно же нет! В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные (они даже *оканчивались* уже). Гораздо вернее будет сказать, что Архипелаг родился под выстрелы «Авроры».

А как же могло быть иначе? Рассудим.

Медлить с тюрьмой, старой ли, новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин нащупывал новые пути. В декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: «конфискацию всего имущества… заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные работы всем

ослушникам настоящего закона»[29]. Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея Архипелага — принудительные работы, была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц. Но законодательно это было объявлено — в 1918 году, во «Временной инструкции о лишении свободы»: *«Лишённые свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду».*

Можно сказать, что от этой вот Инструкции 23 июля 1918 (через девять месяцев после Октябрьской революции) и пошли лагеря, и родился Архипелаг. (Кто упрекнёт, что роды были преждевременны?)

В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Владимир Ильич в телеграмме Пензенскому губисполкому написал: «сомнительных (не «виновных», но *сомнительных. — А. С.*) запереть в концентрационный лагерь вне города». А кроме того: «…провести беспощадный массовый террор…» (это ещё не было декрета о терроре)[30].

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном

---

[29] Примечания: 29
Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 35. — С. 176.

[30] Примечания: 30
Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 50. — С. 143, 144.

Терроре, в нём, в частности, говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в *концентрационных лагерях*» [31].

Так вот ***где*** — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин — «концентрационные лагеря», — один из главных терминов Двадцатого века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот ***когда*** — в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в Первую Мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Концлагеря содержались в прямом ведении ЧК для *особо враждебных элементов и для заложников*. За побег из концлагеря срок увеличивался

[31] Примечания: 31

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 1918: Отд. 1. № 65. Ст. 710: О Красном терроре.

(тоже без суда) в десять раз! (Это ведь звучало тогда: «десять за одного!», «сто за одного!») За второй же побег из концлагеря полагался расстрел (и конечно, применялся аккуратно).

Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях: крепкие замкнутые стены, добротные здания и — пустуют (ведь монахи — не люди, их всё равно вышвыривать). Так, в Москве концлагеря были в Андрониковом монастыре, Новоспасском, Ивановском. В петроградской «Красной газете» от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь «будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре… *В первое время* предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5 тысяч человек» (курсив мой. — *А. С.*). В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре (Казанском).

Да над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич, ещё мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов, под жужжание шмелей. Ещё тогда он подсчитал и успокоил нас, что «подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно

будет стоить гораздо меньше крови… обойдётся человечеству гораздо дешевле», чем предыдущее подавление большинства меньшинством[32].

(И во сколько же обошлось нам это «сравнительно лёгкое» внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаённой и раздёрганной советской статистики, — но страшные тьмы погубленных наплывают и оттуда[33].)

Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в её переливы.

---

[32] Примечания: 32

Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 33. — С. 90.

[33] Примечания: 33

В капитальном 7-томном своде документов «История сталинского ГУЛАГа», выпущенном в свет Государственным архивом Российской Федерации, содержатся материалы, показывающие, что, по официальным данным, в 1930–1952 гг. было расстреляно около 800 тыс. человек; через лагеря, колонии и тюрьмы за этот период прошли около 20 млн человек; не менее 6 млн составляли спецпоселенцы («кулаки», депортированные народы и т. д.). В год смерти Сталина (1953) общая численность заключённых в лагерях составляла 2 481 247 человек, а численность спецпоселенцев, ссыльно-поселенцев, ссыльных и высланных, находящихся в спецпосёлках и под надзором органов МВД, — 2 826 419 человек. (История сталинского ГУЛАГа: конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: собрание документов: В 7 т. Т. 4. «Население Гулага: численность и содержание», с. 135; Т. 5. «Спецпереселенцы в СССР», с. 172. М.: РОССПЭН, 2004–2005.) Разумеется, в годы, когда Солженицын работал над «Архипелагом ГУЛАГом», никакие официальные цифры не были доступны. Более того, «и замысел свой, и письма, и материалы, — пишет он в «Послесловии», — я должен был таить, дробить и сделать всё в глубокой тайне». Однако основная

оценка общей численности Архипелага была, как показывают вышеприведенные цифры, угадана им верно: население, находившееся в СССР в тот или иной год в условиях неволи одновременно, было сопоставимо с населением таких европейских стран, как Швеция или Греция (см. Часть вторая, гл. 4, с. 206). — *Примеч. ред.*

Глава 2. Архипелаг возникает из моря

На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлёвских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников, — и серо-белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлём и клекочат.

«В этой светлости как бы нет греха… Эта природа как бы ещё не доразвилась до греха» — так ощутил Соловецкие острова Пришвин.

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда.

Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вкруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра и покрывалось ледяною шугой, а где схватывалось; полыхали полярные сияния в полнеба; и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали

— а здесь всё не было хищных зверей и не было человека.

Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Обонежскую пятину. Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ пересекли перламутровое море в лодчонке монахи Савватий и Зосима и этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошёл Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Вознесения Господня на Секирной горе, и ещё два десятка церквей, и ещё два десятка часовен, скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский, и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам.

Здесь приложен был труд многий — сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озёра. В деревянных трубах пошла озёрная вода в монастырь. А самое удивительное — легла (XIX век) дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только

святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи[34]. Огороды растили плотную белую сладкую капусту (кочерыжки — «соловецкие яблоки»). Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вызревали и бахчи. Развились рыбные промыслы — морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря «митрополичьих садках». С веками и с десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплётная, своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич, и морские судёнышки для себя — всё делали сами.

Однако никакое народное развитие ещё никогда не шло, не идёт — и будет ли когда-либо идти? — без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной.

Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров — на границе Великой Империи, и стало

---

[34] Примечания: 34

Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев (возвысивший голос против Грозного) внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду.

быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины, и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор (ФОТО 1). (И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854, и выстоять.)

Мысль тюремная. Как же это славно — на отдельном острове да стоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников, и охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. (Сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей.)

И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове?..

* * *

Пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, *там* воспитанным, ну пусть потрясённым Гражданской войной, — но всё-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению, — и вот

тогда да вступит он в ворота Соловков — в Кемперпункт. Это — пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединённый дамбой с материком. Первое, что вступивший видит в этом голом, грязном загоне — карантинную роту (заключённых тогда сводили в «роты», ещё не была открыта «бригада»), одетую… *в мешки*! — в обыкновенные мешки: ноги выходят вниз как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки (ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка!). Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда, но, ещё и мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку.

Курилко выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими чёрными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне — как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью: «Э-э-эй! Внима-ни-е! Здесь республика не со-вец-ка-я, а соловец-ка-я! Усвойте! — нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю! — и не ступит! Порядочек будет у нас такой: скажу “встать” — встанешь, скажу “лечь” — ляжешь!

Письма писать домой так: жив, здоров, всем доволен! точка!..»

Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы да тёмные среднеазиаты — чего не слыхано и не видано, не читано никогда. А Курилко, не прогремевший в Гражданской войне, но сейчас, вот этим историческим приёмом вписывая своё имя в летопись всей России, ещё взводится, ещё взводится и, любуясь собой и заливаясь, — начинает учение:

— Здравствуй, первая карантинная рота!.. — (Должны отрывисто крикнуть: «Здра!») — Плохо, ещё раз! Здравствуй, первая карантинная рота!.. Плохо!.. Вы должны крикнуть «здра!» — чтоб на Соловках, за проливом было слышно! Двести человек крикнут — стены падать должны!! Снова! Здравствуй, первая карантинная рота!

Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилко начинает следующее учение — бег карантинной роты вокруг столба:

— Ножки выше!.. Ножки выше!

Это и самому нелегко, он и сам уже — как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим,

разостланным по земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути соловецкой обещает:

— Сопли у мертвецов сосать заставлю!

И это — только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших.

Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного Века? Он ничего ещё не знает ни о Второй Мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит: *отделённые* выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами (и даже глагол уже всем понятный: *дрыновать*). Он видит: сани и телегу тянут не лошади, а люди (по нескольку в одной) — и тоже есть слово *вридло* (временно исполняющий должность лошади).

А от других соловчан он узнаёт и пострашней, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово — *Секирка*. Это значит — Секирная гора (ФОТО 2). В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку, и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант — как бы удержаться. Если же свалится — надзи-

рители подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к *балану* (бревну) для тяжести — и вдольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже).

Ну да за *жёрдочками* не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом — «на пеньки», это значит — голого под комаров. Ещё — целые роты в снег кладут за провинность. Ещё — в приозёрную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот ещё способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся.

«Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлёвском дворе, густом, как Невский, — трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов (передний не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключённых), быстро под руки волокут опавшего, с обмякшими ногами

и руками человека в одном белье — страшно увидеть его *стекающее* как жидкость лицо! — волокут *под колокольню*, вон туда под арку, в ту низенькую дверь, она — в основании колокольни (ФОТО 3, ФОТО 4). В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют — там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно семь-восемь человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин (матерей и жён ушедших в Константинополь; верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от неё детей) — помыть ступени.

Что ж, нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? — тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток зараз.

Расстреливали и иначе — прямо на Онуфриевском кладбище, за женбараком (бывшим странноприимным домом для богомолок) — и та дорога мимо женбарака так и называлась *расстрельной*. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье (это не для пытки! это чтоб не пропала обувь и обмундирование) с руками, связанными проволокою за спиной, — а осуждённый гордо, прямо держится и одними губами, без помощи

рук, курит последнюю в жизни папиросу. (По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов.)

Фантастический мир! Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки.

Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошёл на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвёз мантию и Святые Дары. По доносу посажен в карцер и приговорён к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (он и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трёх дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать

омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. — «Что с тобой?» — «Ничего», — прояснился он тут же. Она могла ещё остаться — он упросил её уехать. Черта времени: убедил её взять тёплые вещи, он на следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу.

Но ведь кто-то же и подарил им эти три дня. Эти три осоргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим ещё не стянулся панцырем *системы*. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти ещё добродушным непониманием: к чему это всё идёт? какие соловецкие черты становятся зародышами великого Архипелага, а каким суждено на первом взросте и засохнуть? Всё-таки не было ещё у соловчан общего твёрдого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима и топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. (А ведь было-то так!..)

* * *

Да где ж те Савватий с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал — жить под Полярным Кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут?

О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро — за год, за два — привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали всё на месте? И, тысячи имея незанятых рук, — ничего не уметь добыть из земли.

Только вольным — молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключённым — гнилая треска, солёная или сушёная; худая баланда с перловой или пшённой крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот — цинга… С дальних командировок возвращаются «этапы на карачках» (так и ползут от пристани на четырёх ногах).

Но как убежать с Соловков? Полгода море подо льдом — да не цельным, местами промоины, и крутят метели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и бо́льшую часть лета — белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только

с удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в Кремле, конечно, а на командировках, кто имел и передвижение, и время, где-нибудь в лесу близ берега строили лодку или плот и отваливали ночью (а то и просто на бревне верхом) — наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалось на острове — и радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шёпотом спрашивали: ещё не поймали? ещё не нашли?.. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг карельского берега — так тот скрывался глуше мёртвого.

А знаменитый побег в Англию произошёл из Кеми. Этот смельчак (его фамилия нам не известна, вот кругозор!) знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми — и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его — а беглеца не нашли. (Оказывается: при всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах.) Платилась огромная неустойка за задержку парохода — и решили на авось, что

арестант утонул, отпустили пароход.

А ещё по морю бежала группа Бессонова, пять человек (Мальсагов, Мальбродский, Сазонов, Приблудин).

И стали в Англии выходить книги, даже, кажется, не по одному изданию. (Юр. Дм. Бессонов. «Мои 26 тюрем и моё бегство с Соловков».)

Эта книга изумила Европу. И конечно, автора-беглеца упрекнули в преувеличениях, да просто должны были друзья Нового Общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному: как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте Фане» и тем альбомам о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе: отличная бумага, достоверные снимки уютных келий.

Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв! И на остров сочтено было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки!

Опережающий слух донёсся до Соловков — заколотились арестантские сердца, засуетились

охранники. Надо знать заключённых, чтобы представить их ожидание! В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник! первый русский писатель! вот он им пропишет! вот он им покажет! вот, батюшка, защитит! Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию.

Волновалось и начальство: как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше; из санчасти списали многих больных и навели чистоту. И натыкали «бульвар» из ёлок без корней (несколько дней они должны были не засохнуть) — к детколонии, открытой три месяца назад, гордости УСЛОНа, где все одеты, и нет социально-чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме.

Недоглядели только в Кеми: на Поповом острове грузили «Глеба Бокия» заключённые в белье и в мешках — и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители! Вот вам достойная задача: голый остров, ни кустика, ни укрытия — и в трёхстах шагах показалась свита Горького, — ваше решение?!

Куда девать этот срам, этих мужчин в мешках? Вся поездка Гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не заметить, — но помогите же! Утопить их в море? — будут барахтаться… Закопать в землю? — не успеем… Нет, только достойный сын Архипелага может найти выход! Командует нарядчик: «Брось работу! Сдвинься! Ещё плотней! Сесть на землю! Т*а*к сидеть!» — и накинули поверху брезентом. — «Кто пошевелится — убью!» И бывший грузчик взошёл по трапу, и ещё с парохода смотрел на пейзаж, ещё час до отплытия — не заметил…

Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в Бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (чёрная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги), — живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой.

В окружении комсостава ГПУ Горький прошёл быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и сестёр, он и смотреть не стал, ушёл. Дальше чекисты УСЛОНа бесстрашно по-

везли его на Секирку. И что ж? — в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное, — жёрдочек никаких! На скамьях сидели воры (уже их много было на Соловках) и все… читали газеты! Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они: держать газеты вверх ногами. И Горький подошёл к одному и молча обернул газету как надо. Заметил! Догадался! Так не покинет! Защитит!

Поехали в детколонию. Как культурно! — каждый на отдельном топчане, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький! Всё, что ты видишь, — это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковьи…) И велено было выйти всем, — и детям, и даже сопровождающим гепеушникам, — и мальчик полтора часа всё рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак: «О *комариках* сказал?» — «Сказал!» — «О *жёрдочках* сказал?» — «Сказал!» — «О

вридлах сказал?» — «Сказал!» — «А как с лестницы спихивают?.. А про мешки?.. А ночёвки в снегу?..» Всё-всё-всё сказал правдолюбец мальчишка!!!

Но даже имени его мы не знаем.

22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в «Книге отзывов», специально сшитой для этого случая:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры»[35].

23-го Горький отплыл. Едва отошёл его пароход — мальчика расстреляли. (Сердцевед! знаток людей! — как мог он не забрать мальчика с собою?!)

Так утверждается в новом поколении вера в справедливость.

Толкуют, что там, наверху, глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуазной Европой! *Но именно сейчас, именно в этот момент,* такой опасный и сложный!.. А

---

[35] Примечания: 35

Соловецкие острова. — 1929. — № 1. — С. 3. (В собрании сочинений Горького этой записи нет.)

режим? — мы сменим, мы сменим режим.

И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно.

И, в гроб сходя, благословил

Архипелаг…

А насчёт режима — это уж как обещано. Режим *исправили* — в 11-й карцерной роте теперь *неделями стояли вплотную*. На Соловки поехала следственно-карательная комиссия. Тут ещё неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова (бывшего министра Дальне-Восточной Республики) с Шипчинским — побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть, — и стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами.

И в ночь на 29 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям, — Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути

на кладбище. Водили партиями всю ночь. (И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блэк, подозревая, что именно в этой ведут её хозяина Грабовского. По вою собаки считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застрелен и Блэк, и все собаки за Блэка.)

Расстреливали те три морфиниста-хлыща. Стреляли они пьяные, неточно — и утром большая присыпанная яма ещё шевелилась.

Глава 3. Архипелаг даёт метастазы

Да не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица — не было и погони за рабочими руками заключённых, и аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметанье с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все сто пятьдесят тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание, и обширные общественные работы первой пятилетки, — изменился и взгляд на Архипелаг, и всё в Архипелаге.

Если в 1923 на Соловках было заключено не более 3 тысяч человек, то к 1930 — уже около 50 тысяч, да ещё 30 тысяч в Кеми. С 1928 года соловецкий рак стал расползаться — сперва по Карелии — на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Во всех точках Мурманской железной дороги от Лодейного Поля до Тайболы к 1929 году уже появились лагерные пункты СЛОНа. К 1930 в Лодейном Поле окреп и стал на свои ноги Свирлаг, в Котласе образовался Котлаг. С

1931 года с центром в Медвежьегорске родился БелБалтлаг, которому предстояло в ближайшие два года прославить Архипелаг во веки веков и на пять материков.

А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой — финская граница, — но беспрепятственны были пути на восток по русскому Северу. Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали СевДвинлаг.

Переползя её, они вскоре дали самостоятельные Соликамлаг и СевУраллаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в своё время очень восславленное. И на Ухте образовался лагерь, Ухтлаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору — и преобразовался в УхтПечлаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделения — всё основы будущих великих самостоятельных лагерей.

И тут ещё многое пропущено.

Так из тундренных и таёжных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. Вся северная часть Архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними! По великому

зову советской власти исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин.

А мы в это время — шагали под барабаны!..

Вся долгая история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъёмок, ни на пейзажи художников.

Но не так с Беломорканалом. В нашем распоряжении есть книга, и по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством.

История книги такова: 17 августа 1933 года состоялась *прогулка* ста двадцати писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключённый прораб канала Д. П. Витковский был свидетелем, как во время шлюзования паро-

хода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых с территории шлюза, спрашивали, вопросов было много, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в горьковском коллективном труде, остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряжённым трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд[36].

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через два-три года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали её в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за неё срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание[37] — и тем отягчительнее чув-

[36] Примечания: 36

Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина: История строительства / Под ред. М. Горького, Л. Л. Авербаха, С. Г. Фирина. — [М.]: История Фабрик и Заводов, 1934. — С. 213, 216.

[37] Примечания: 37

Спустя 64 года, в 1998 году, переиздана факсимильно. — *Примеч. ред.*

ствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге.

Как случилось, что для первой великой стройки Архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что — нет. Сталину нужна была *где-нибуд*ь великая стройка заключёнными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней (избыток людей от раскулачивания), с надёжностью душегубки, но дешевле её, — одновременно оставив великий памятник его царствования типа пирамиды.

«Канал должен быть построен в короткий срок и *стоить дёшево*! — таково указание товарища Сталина!» (А кто жил тогда — тот помнит, что значит — Указание Товарища Сталина!) Двадцать месяцев! — вот сколько отпустил Великий Вождь своим преступникам и на канал, и на исправление: с сентября 1931 по апрель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог — так торопился. Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий длиной в 160 км — 10 лет, Беломорско-Балтийский в 227 км — меньше 2 лет, не хотите? Скального грунта вынуть два с половиной мил-

лиона кубометров, всего земляных работ — 21 миллион кубометров. Да загромождённость местности валунами. Да болота. Семь шлюзов «Повенчанской лестницы»[38], двенадцать шлюзов на спуске к Белому морю. 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ — 390 тысяч кубометров, ряжевых — 921 тысяча. И — «это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ, и *ни копейки валюты*!»

Вот теперь всё более и более нам яснеет замысел: значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что — ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас *сто тысяч* заключённых — какой капитал ещё ценней? И в двадцать месяцев отдайте канал! ни дня отсрочки.

Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу, а там ещё нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана — что же надо делать?

Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек,

---

[38] Примечания: 38

Посёлок Повенец — начальный пункт Беломорско-Балтийского канала, связывающего Онежское озеро с Белым морем. В районе Повенца начинается «Повенчанская лестница» — 12 км трассы канала, включающей 7 шлюзов и связанные с ними плотины, дамбы и водоспуски. — *Примеч. ред.*

кнопок (!) и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках, это похоже на Гражданскую войну! — упиваются наши авторы.

Но вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят: будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты: некогда. Инженеры говорят: нужно много железа. Чекисты: замените деревом! Инженеры говорят: нужны тракторы, краны, строительные машины! Чекисты: ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте всё руками!

Весёлым тоном записных забавников они рассказывают нам: женщины приехали в шёлковых платьях, а тут получают тачки! И «кто только не встречается друг с другом в Тунгуде: былые студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам!» Почти давясь от смеха, рассказывают они нам: везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, чалмах — а тут карельские морозы! То-то неожиданность для басмачей!

Тут норма — два кубометра гранитной скалы разбить и вывезти на сто метров тачкой! А сыпят снега и всё заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег. «Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях»; даже не скальным,

а просто мёрзлым грунтом «тачка нагружается час» (ФОТО 5).

Или более общая картинка: «В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. По двое, по трое, они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился…» Но тут на помощь приходит техника нашего славного века: «валуны из котлована вытягивают сетью» — а сеть тянется канатом, а канат — «барабаном, крутимым лошадью»! Или вот другой приём — *деревянные журавли* для подъёма камней (ФОТО 6). Или вот ещё — из первых механизмов Беломорстроя — пять веков назад, пятнадцать назад (ФОТО 7)?

И это вам — вредители? Да это гениальные инженеры! — из Двадцатого века их бросили в пещерный — и, смотрите, они справились!

А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка: обвязывают деревья верёвками и в разные стороны попеременно бригады тянут — *расшатывают* деревья! Всё может наша смекалка! — а почему? А потому что **канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!** — написано в газетах и повторяют по радио каждый день.

Представить такое поле боя, и на нём «в длинных серо-пепельных шинелях или кожаных куртках» — чекисты. Их всего 37 человек на сто тысяч заключённых, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами.

В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничество. Кранов нет? Будут свои! — и делаются «деррики» — краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами.

«Своя индустрия на канале!» — ликуют наши авторы. И тачечные колёса тоже отливают из самодельной вагранки.

Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колёс! Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ!

Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку Двадцатого века, материковый канал, построенный «от тачки и кайла», — несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника — на сорок веков назад!

В том-то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было.

А тем временем в уши неугомонно: **«Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!»**

«Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика, *радио, не спящее ни днём ни ночью* (вообразите!), эти бесчисленные чёрные рты, чёрные маски без глаз кричат неустанно: что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия». То же — думай и ты! То же — думай и ты! Да здравствует соцсоревнование и ударничество! Соревнования между бригадами! Соревнования между фалангами (250–300 человек)! Соревнования между шлюзами! (ФОТО 8)

Как будто всё идёт хорошо. Летом 1932 Ягода объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его: нормы не выполняются, прекратить *бездельное шатание тысяч людей!* Обнаружено: по сводкам уже *несколько раз* выбрано по 100 % кубатуры! — а канал так и не кончен!

В начале 1933 — новый приказ Ягоды: все управления переименовать в *штабы боевых участков*!

Работать — в три смены (ночь-то почти полярная)! Кормить — прямо на трассе (остывшим)! За тухту — судить!

В январе — **Штурм** водораздела! Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место! Не всем хватило палаток, спят на снегу — ничего, берём! Канал строится по инициативе…

Из Москвы — приказ № 1: «до конца строительства объявить *сплошной штурм*»!

В феврале — запрет свиданий по всему БелБалтлагу — то ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на зэков.

В апреле — непрерывный штурм сорокавосьмичасовой — ура-а!! — **тридцать тысяч человек не спит!**

И к 1 мая 1933 нарком Ягода докладывает любимому Учителю, что канал — готов в назначенный срок.

В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография — они сидят в плетёных креслах на палубе, «шутят, смеются, курят». (А между тем Киров уже обречён, но — не знает.)

В августе проехали сто двадцать писателей.

Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных («спецпере-

селенцев»).

Бо*л*ьшая часть «каналоармейцев» поехала строить следующий канал — Москва — Волга.

———

Как ни мрачны казались Соловки, но соловчанам, этапированным кончать свой срок на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины — неумолкающий мат и дикий шум раздоров вперемешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках Медвежьегорского лагпункта при Управлении БелБалтлага спали на вагонках (уже изобретенных) не по четыре, а по восемь человек: на каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. Дни рекордов. Ночи штурмов. В густоте, в неразберихе при взрывах скал — много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа — мы уже прочли. Какая еда — а какая ж может быть еда в 1931—33 годах? Одежда — своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка: «Давай!.. Давай!..

Давай!..»

Говорят, что в первую зиму, с 1931 на 1932, 100 тысяч и вымерло — столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная: в сходных условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре 100 тысяч могло вымереть за три месяца с небольшим.

Это освежение состава за счёт вымирания, постоянную замену умерших новыми живыми зэками надо иметь в виду, чтобы не удивиться: к началу 1933 года общее единовременное число заключённых в лагерях ещё могло не превзойти миллиона. Секретная «Инструкция», подписанная Сталиным и Молотовым 8 мая 1933, даёт цифру 800 тысяч[39].

Д. П. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и этою самою тухтою, то есть приписыванием несуществующих объёмов работ, спасший жизнь многим, рисует («Полжиз-

[39] Примечания: 39

Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры (8 мая 1933). (Архив Смоленского обкома ВКП/б/.) // Социалистический вестник: Орган заграничной делегации РСДРП. — Нью-Йорк, 1955, № 4 (681). — С. 52.

ни», Самиздат[40]) такую вечернюю картину:

«После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замёрз. Там замёрзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попал со своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить, они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют — и вот замерзают, обнявшись по двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком.

А летом от неприбранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там».

---

[40] Примечания: 40

Мемуары Д. П. Витковского впервые, спустя 30 с лишним лет, опубликованы в журнале «Знамя» (1991, № 6). — *Примеч. ред.*

* * *

Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору (ФОТО 9), посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми ста двадцатью. Так нельзя: не на чем. Надо проситься на грузовое судно. А там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклёванная, сразу будет подозрение: зачем еду? Итак, чтобы книга была целей, — лучше не ехать.

Но всё-таки немножко я туда подобрался. Сперва — Медвежьегорск. До сих пор ещё — много барачных зданий, от тех времён. И — величественная гостиница с 5-этажной стеклянной башней. Ведь — ворота канала! Ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные… Попустовала-попустовала, отдали под интернат.

Дорога к Повенцу. Хилый лес, камни на каждом шагу, валуны.

От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Но что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Там, где 30 тысяч человек не спали ночью, — теперь и днём все спят. Не

гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день, — отчего бы?..

Так прошёл я пять шлюзов «Повенчанской лестницы» и после пятого сел на берегу. Изображённый на всех папиросных пачках, так позарез необходимый нашей стране — почему ж ты молчишь, Великий Канал?

Некто в гражданском ко мне подошёл, глаза проверяющие. Я простодушно: у кого бы рыбки купить? да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? — Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны ещё было, а после войны — нет. — Ну и пусть едут. — Да разве можно им показывать?! — А почему вообще не идут никто? — Идут. Но мало. Видишь, мелкий он, пять метров. Хотели реконструировать, но, наверно, будут рядом другой строить, сразу хороший.

Эх, начальничек, это мы давно знаем: в 1934 году, только успели все ордена раздать, — уже был проект реконструкции. Но — куда что возить? Ну, вот вырубили ближний лес — теперь откуда возить? Архангельский — в Ленинград? Так его и в Архангельске купят, издавна там иностранцы и покупают. Да полгода канал подо льдом, если не

больше. Какая была в нём необходимость? Ах да, военная. Перебрасывать флот.

— Такой мелкий, — жалуется начальник охраны, — даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают.

А как насчёт крейсеров?.. О, тиран-отшельник! Ночной безумец! В каком бреду ты это всё выдумал?!

И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли — а крестьянские ребята сколько б тебе наработали! Сколько б раз ты ещё в атаку их поднял — за родину, за Сталина!

— Дорого обошёлся, — говорю я охраннику.

— Зато быстро построили! — уверенно отвечает он.

На твоих бы косточках!..

Я вспоминаю гордую фотографию беломорского тома: старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам (ФОТО 10).

На ваших бы косточках…

В тот день провёл я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки

к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта — не возвращалась.

Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одинаковыми сосновыми брёвнами, уже лежалыми, годными лишь на дрова.

А вычитая, получим ноль.

И четверть миллиона в уме.

Глава 4. Архипелаг каменеет

В 1933 году Великий Вождь объявил на январском пленуме ЦК и ЦКК, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами «отмирание государства придёт не через ослабление государственной власти, а через её *максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов…*»[41] (курсив мой. — *А. С.*). Вышинский состоял на своём подручном месте и сразу же подхватил: «и следовательно, максимальное *укрепление…* исправительно-трудовых учреждений»![42] — Вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы! — это не юмористический журнал сострил, это сказал генеральный прокурор Советского Союза!

«В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия

---

[41] Примечания: 41

Сталин И. В. Сочинения: [В 13 т.]. М.: 1949–1955. — Т. 13. — С. 211.

[42] Примечания: 42

От тюрем к воспитательным учреждениям / Под общ. ред. А. Я. Вышинского; Институт Уголовной и Исправительно-трудовой Политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР. — М.: Советское Законодательство, 1934. — Предисловие А. Я. Вышинского. — С. 7.

пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средства принуждения и воспитания должна *ещё больше возрасти и усилиться*»[43].

Кто упрекнёт нашу Передовую Теорию, что она отставала от практики? Всё это чёрным по белому печаталось, да мы читать ещё не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован.

Но что же истинно произошло с Архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским, Архипелаг очень «укрепился»: резко умножилось его население. Но вопреки распространённому представлению это произошло далеко не только за счёт арестованных в 1937 году с воли: обращались в зэков «спецпереселенцы». Это был отжёв коллективизации и раскулачивания, те, кто смогли выжить и в тайге и в тундре, разорённые, без крова, без обзавода, без инструмента. По крепости крестьянской породы — ещё и этих невымерших оставались миллионы. И вот «спецпосёлки» высланных теперь целиком включали в ГУЛАГ. Такие посёлки обносились колючей проволокой, если её ещё не было, и стали лагпунктами (весь Норильский комбинат возник таким образом).

И вот это добавление — снова крестьянское! —

---

[43] Примечания: 43
Там же. — С. 449.

и было главным приливом на Архипелаг в 1937.

Так гигантски возрос Архипелаг — но режим его мог ли ещё ужесточиться? Оказывается, мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики.

Тряханули Архипелаг — и убедились, что, ещё начиная с Соловков и тем более во времена каналов, вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабину выбирали.

Прежде всего никуда не годилась охрана, это не лагеря были вовсе: на вышках часовые только по ночам; на вахте одинокий невооружённый вахтёр, которого можно уговорить и пройти на время; фонари на зоне допускались керосиновые; несколько десятков заключённых сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение. Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли наконец вполне современный, известный нам вид.

———

И железный занавес опустился вокруг Архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту.

И тогда-то оскалились волчьи зубы! И тогда-то зинули бездны Архипелага!

— В консервные банки обую, а на работу пойдёшь!

— Шпал не хватит — вас положу!

И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался: с поощрением шпаны, блатных. Блатным ещё последовательней отдавали все «командные высоты» в лагере. Блатных ещё последовательней натравливали на Пятьдесят Восьмую, допускали беспрепятственно грабить её, бить и душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками.

Говорят, что в феврале-марте 1938 года была спущена по НКВД секретная инструкция: *уменьшить количество заключённых!* (не путём их роспуска, конечно). Я не вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал.

Тогда-то легли вповалку гнить пеллагрические[44]. Тогда-то начальники конвоев стали проверять точность пулемётной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда-то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту, в штабеля.

На Колыме, этом Полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом прошёл с резкостью, достойной Полюса.

Вот *кареты смерти* на ключе Марисном (66-й км Среднеканской трассы). Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк и ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы — для тех была карета: поставленный на тракторные сани сруб 5×3×1,8 метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3–4 километра от лагеря, в распадок.

---

[44] Примечания: 44

Пеллагра (от *итал.* pelle agra — шершавая кожа) — заболевание, вызываемое авитаминозом, следствие длительного неполноценного питания. — *Примеч. ред.*

Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок и трупы выбрасывали. Вьюги их заметут.

Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником УСВИТлага (Управления Северо-Восточных лагерей) был назначен Гаранин.

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные, летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы и «актировать» день разрешили только с 55 градусов.

Ещё и цинга, без начальства, валила людей.

Но и этого всего казалось мало, ещё недостаточно режимно. И начались «гаранинские расстрелы», прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могильниками: и Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый и Серпантинка. На Золотистом выводили днём бригады из забоя — и тут же расстреливали кряду. (Это не взамен ночных расстрелов, те — сами собой.) На Серпантинке расстреливали каждый день 30–50 человек под навесом близ изолятора.

Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку.

Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и «повезло»: там выжил Варлам Шаламов; там выжили Евгения Гинзбург, Ольга Слиозберг и другие — и все написали мемуары. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк В. Шаламова о гаранинских расстрелах:

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму… Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного».

Так Архипелаг закончил Вторую пятилетку и, стало быть, вошёл в социализм.

* * *

С начала войны (вероятно, по мобилизационным предписаниям) уменьшились нормы питания в лагерях. Всё ухудшались с каждым годом и сами продукты: овощи заменялись кормовою репой, крупы — викой и отрубями.

Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и совершенно недостижимая цель, он ответил бы: «Один раз наесться вволю *черняшки* — и можно умереть». Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на фронте. Л. А. Комогор в «слабосильной команде» всю зиму 1941/42 года был на этой лёгкой работе: упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. (Очевидно, лагерь был близкий, поэтому надо было упаковывать.)

Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека, — склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел — тот и лагеря не отведал.

Вот что такое лагеря военных лет: больше работы — меньше еды — меньше топлива — хуже одежда — свирепей закон — строже кара — но и это ещё не всё. Внешний протест и всегда был от-

нят у зэков — война отнимала ещё и внутренний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и поучал: «А на фронте как умирают?.. А на воле как работают? А в Ленинграде сколько хлеба получали?..» И даже внутренне нечего им было возразить. Да, на фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись из жил и голодали. (И вольный *трудфронт*, куда из деревень забирали незамужних девок, где были лесоповал, семисотка, а на приварок — посудные ополоски, стоил любого лагеря.) Да, в Ленинградскую блокаду давали ещё меньше лагерного карцерного пайка. Во время войны вся раковая опухоль Архипелага оказалась (или выдавала себя) как бы важным, нужным органом русского тела — она как бы тоже работала на войну! от неё тоже зависела победа! — и всё это ложным оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем, — и, умирая её гниющей клеточкой, ты даже лишён был предсмертного удовольствия её проклясть.

Для Пятьдесят Восьмой лагеря военного времени были особенно тяжелы накручиванием *вторых сроков*, это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные, спасая самих себя от

фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных подкомандировках заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооружённых восстаний и массовых побегов. В УхтПечлаге как из мешка сыпались приговоры на расстрел и на 20 лет: «за подстрекательство к побегу», «за саботаж».

Были многие зэки — это не придумано, это правда, — кто с первых дней войны подавали заявления: просили взять их на фронт. Они отведали самого густо-вонючего лагерного зачерпа — и теперь просились отправить их на фронт! («А останусь жив — вернусь отсиживать срок»...) Вот это и был русский характер: лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте! Уйти от здешней застойной обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то ещё проще, но отнюдь не позорно: там пока ещё умереть, а сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут, можно в окошко смотреть из вагона. И ещё тут было добродушное прощение: вы с нами плохо, а мы — вот как!

Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения, кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определён был каждому

свой круг жизни и смерти; при первом разборе попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть.

Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На лесоповале это не очень шло, а вот: «Дадим уголь сверх плана — это свет для Ленинграда!», «Поддержим гвардейцев минами!» — это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Формаков, человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что лагерь их был увлечён работой для фронта; обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну («Джидинец»).

А награды — общеизвестны, их объявили вскоре после войны: дезертирам, жуликам, ворам — амнистия, Пятьдесят Восьмую — в Особые лагеря.

* * *

В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что, каменея, они переставали источать из себя метастазы.

К предвоенным годам относится завоевание Архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей, выбрасываются плодотворные метаста-

зы в Джезказган с его отравленной медной водой, в Моинты, в Балхаш.

Пухнут новообразования в Новосибирской области (Мариинские лагеря), в Красноярском крае (Канские, Краслаг), в Хакасии, в Бурят-Монголии, в Узбекистане, даже в Горной Шории.

Не останавливается в росте излюбленный Архипелагом русский Север (УстьВымлаг, Ныроблаг, Усольлаг) и Урал (Ивдельлаг).

Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей.

В 1939 году, перед финской войной, гулаговская *alma mater* Соловки, ставшие слишком близкими к Западу, были переброшены Северным морским путём, кто не на Новую Землю, те — в устье Енисея, и там влились в создаваемый Норильлаг, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что, даже умирая, они дали ещё один последний метастаз — и какой!

Глава 5. На чём стоит Архипелаг

Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Алексеевск (в честь Цесаревича). Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли — и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили: заключёнными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем (БАМлаг).

Так символы рождаются жизнью сами.

Лагеря не просто «тёмная сторона» нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком — а едва ли не печенью событий.

Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно: государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок (тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре!) и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила:

а) предельно дешёвая, а лучше — бесплатная;

б) неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время — ни кухни, ни

бани.

Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей.

Была, однако, в Уголовном кодексе 1926 года статья 9-я, случайно я её знал и вызубрил:

«Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмездия и кары себе не ставят».

Вот где голубизна! Любя *оттянуть* начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью — и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по двадцать лет, к пенсии готовились — никогда никакой Девятой статьи не слышали, да впрочем, и кодекса в руках не держали.

«Собственного достоинства»! Того, кто осуждён без суда? Кого на станциях сажают задницей в грязь? Кто по свисту плётки гражданина надзирателя скребёт пальцами землю, политую мочой, и относит — чтобы не получить карцера? Тех образованных женщин, которые как великой чести удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина начальника лагпункта?

...Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона — тёмная, у костра — я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона — льготная, такая льготная, что я как будто на воле, — это Райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё-таки холодновато от резкого ветра.

А ***она*** — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду...

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это — вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная

девушка, ветер дёргает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала — охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус, спохватились — её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами — шырк! шырк! — голову остригли перед строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал — и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет:

— Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..

Но даже в лагерь ей никто не скажет: *святая! войди!..*

Её потому так долго не пускают, что завтра — воскресенье, для работы она не нужна.

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя хотят на всю жизнь проучить.

Огонь, огонь!.. Воевали — в костры смотрели, какая будет Победа… Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу.

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет.

Это происходит в конце 1947 года, под тридцатую годовщину Октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем восьмисотлетие своих жестокостей. В двух километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до останкинского Дома творчества крепостных.

* * *

Крепостных!.. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права

и Архипелага один и тот же: это общественные устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь, туземцы Архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Хворыми признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи (с нар). Так же существовали и наказания для провинившихся, только помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней плетьми на конюшне, карцера у него не было, начальник же лагпункта помещает виновного в ШИЗО (штрафной изолятор) или БУР (барак усиленного режима). Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или шуты (мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось), любую рабыню определить себе в экономки, в наложницы или в прислугу. Как и помещик, он вволю мог дурить, показывать свой нрав.

Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своём рождении, так не выбирал её и заключённый, он тоже попадал на Архипелаг чистым роком.

Это сходство давно подметил русский язык:

«людей накормили?», «людей послали на работу?», «сколько у тебя людей?», «пришли-ка мне человека!». *Людей, люди* — о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключённых. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях — «сколько у тебя людей?» — никто и не поймёт.

Но, возразят нам, всё-таки с крепостными не так уж много и сходства. Различий больше.

Согласимся: различий — больше. Но вот удивительно: все различия — к выгоде крепостного права! все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛАГа!

Крепостные не работали дольше чем от зари до зари. Зэки — в темноте начинают, в темноте и кончают. У крепостных воскресенье было свято, да все двунадесятые, да храмовые, да из святок сколько-то (ряженые же ходили!). Заключённый перед каждым воскресеньем трусится: дадут или не дадут? А праздников он вовсе не знает: эти 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими и, на ночь ложась — на печи, на полатях, на лавке, — знали: вот это место моё, давеча тут спал и дальше буду. Заключённый не знает, в каком ба-

раке будет завтра. Нет у него «своих» нар, «своей» вагонки. Куда перегонят.

У крепостного бывали лошадь своя, соха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кой-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким — и которые почти никогда не отбирались помещиком. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности — только вши. Крепостной нет-нет да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды.

Бо́льшую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умирывал», — говорит пословица. А пословицу сбрёху не составят. Крепостные были рабы, но

были сыты[45]. Архипелаг же десятилетиями жил в пригнёте жестокого голода, между зэками шла грызня за селёдочный хвост из мусорного ящика.

Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством, над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи (уж вряд ли) крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучён с семьёй с первого дня ареста и в половине случаев — навсегда. Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, — спешили наказать карцером, разорвать и разослать.

Да вообще всё положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил: они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заклю-

---

[45] Примечания: 45

По всем столетиям есть такие свидетельства. В XVII пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в Смутное время «давные житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же пренаполнены одоней, и копен, и зародов до четырёх-на десять лет» (Авраамий Палицын). В XVIII веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал:

Везде следы *довольства* и труда.

чённых: он их не покупал, детям в наследство не передаёт, а умрут одни — пришлют других.

Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем ещё приблизительно можно сравнивать положение туземцев Архипелага — это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими. Или — с аракчеевскими поселенцами. (А иные возражают мне: и то жирно, в аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным.)

И лишь одно, лишь одно преимущество заключённых над крепостными приходит на ум: заключённый попадает на Архипелаг, даже если малолеткой в 12–15 лет, — а всё-таки не со дня рождения! А всё-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определённого судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, — то здесь много оговорок: если срок не «четвертная»; если статья не 58-я; если не будет «до особого распоряжения»; если не намотают второго лагерного срока; если после срока не пошлют автоматически в ссылку; если не вернут с воли тотчас же назад на Архи-

пелаг как повторника. Оговорок такой частокол, что ведь вспомним, иногда ж и крепостного барин на волю отпускал по причуде…

Вот почему когда в камере на Лубянке новичок сообщил нам ходящую среди московских рабочих анекдотическую расшифровку ВКП(б) — Второе Крепостное Право (большевиков), — это не показалось нам смешным, а — вещим.

* * *

Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали «великий почин» субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Ещё на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось.

Что же тогда? Где ж искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос шибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтоб запах перестал раздражать и его можно было бы мирно принять как «социалистический принцип материальной

заинтересованности».

Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: «В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм».

Так вот Архипелаг сумел чудесно совместить и то и другое.

И всего-то приёмов для этого понадобилось: 1. Котловка; 2. Бригада; 3. Два начальства.

Так вот на этих трёх китах стоит Архипелаг.

А если считать их «приводными ремнями» — от них крутится.

Котловка — это такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паёк заключённого, который в паразитических обществах выдаётся арестанту бездействующему, наш зэк ещё бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по сто граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные (у тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не

умеет соразмерить вещь и цену за неё. Как солдат на чужой войне дешёвым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдаёт жизнь, так и зэк за эти нищенские подачки, скользнув с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли.

Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на неё клюют. Как крепостные когда-то усвоили: «хоть хвойку глодать, да не пенья ломать», так и зэки поняли: в лагере не маленькая пайка губит, а большая.

Ленивые! тупые! бесчувственные полуживотные! они не хотят этого дополнительного! они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешенного на картошке, вике и воде! они уже и досрочки не хотят! они и на доску почёта не хотят! Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства, они рады в тёмной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать.

Было думано. И придумана была — *бригада*. Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты — через «коллектив».

Соответственно целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры (по-лагерному

— «бугры»). Прогоняя заключённых через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствие начальства, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир всё оставался тот же. В Кемерлаге такой был бригадир Переломов — языком он не пользовался, только дрыном.

Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества — как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал — и не одну. Правда, это были обычно бригады специальные: электриков, слесарей-токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее (по 10–12 человек), тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки.

Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий: в меру жестокий; проницательный и справедливый в бригаде; со своей отработанной хваткой против начальства — кто хриплым лаем, кто исподтишка; страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю стограм-

мовку, ватные брюки, пару ботинок. Хорошо знающий работы и участки выгодные и невыгодные. С острым взглядом на тухту — где её легче в эту пятидневку вырвать: в нормах или в объёмах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом. И *лапу* умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач (и если не очень умный и вредный — пусть и будет, а то худшего подставят). А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежностей нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров — у Синебрюхова, у Павла Баранюка. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры — из «кулацких» сыновей.

А *два начальства* удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый и правый захват, оба. Два начальства — это молот и наковальня, и куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор.

В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет — рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и

каждый вечер уводит в лагерь. Производственному начальству важно принудить заключённых за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостачи производства: ведь воруют и тресты, и СМУ (строительно-монтажные управления), и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, да и то не для себя (им уносить некуда), а для своего лагерного начальства и конвоя.

В руках лагерного начальства — только *рабсила* (язык знает, как сокращать!). Но это — решающее. Лагерные начальники так и говорят: мы можем на них (производственников) нажимать, они нигде не найдут других рабочих. (В тайге и пустыне — где ж их найдёшь?) И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег.

А что ещё важно: что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключённый, а не производство; не будет очень уж настаивать, что заключённым нужна

спецодежда или в каком-то цеху вентиляции нет (нет так нет, что ж поделаешь, временные трудности).

И если всё-таки тухту в нарядах непрерывно *дуют*, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле; ремонт отопления или станка, не выходившего из строя; смена столбов целёхоньких, которые ещё десять лет перестоят, — то делается это самими заключёнными (бригадирами, нормировщиками, десятниками), потому что все государственные нормы рассчитаны не для земной реальной жизни. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый — выполнить эти нормы не может! Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетённого арестанта?

Трёх китов подвело под Архипелаг Руководство: котловку, бригаду и два начальства. А четвёртого и главного кита — тухту — подвели туземцы и сама жизнь.

Тухта — это затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не — ограбить государство.

Нельзя государству быть таким слишком лютым — и толкать подданных на обман.

Так и принято говорить у заключённых: *без тухты и аммонала не построили б Канала.*

Вот на всём том и стоит Архипелаг.

Глава 6. Фашистов привезли!

— Фашистов привезли! Фашистов привезли! — возбуждённо кричали, бегая по лагерю, молодые зэки — парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный тридцатью *фашистами*, въехали в черту небольшого квадрата лагеря Новый Иерусалим.

Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни — один час переезда сюда с Красной Пресни — то, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были — весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира! — трамваи — красные, троллейбусы — голубые, толпа — в белом и пёстром, — да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А ещё почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками, какой-то неожиданный праздник — 14 августа, совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. (В этот день объявлено о капитуляции Японии, конце семидневной войны.) На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвевали наши стриженые головы.

Этот луговой ветер — кто может вбирать жаднее арестантов? Мы с Гаммеровым вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось — концом такого пути не могло быть ничто мрачное.

И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем затекшие ноги и спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам: она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой, и во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. — Так вы — фашисты? Вы все — фашисты? — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И, утвердившись, что — да, фашисты, — тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им.

(Мы уже знаем, что «фашисты» — это кличка для Пятьдесят Восьмой, введенная блатными и очень одобренная начальством: когда-то хорошо звали «каэрами», потом это завяло, а нужно меткое клеймо.)

— А что? Здесь неплохо… как будто… — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя.

Один паренёк задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашистов. Чёрная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб,

руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню.

— Н-неплохо! — встряхнуло ему грудь. Кривя губы, он ещё раз презрительно осмотрел нас и отпечатал: — Со-са-ловка!.. За-гнётесь!

И, сплюнув нам под ноги, ушёл. Невыносимо ему было ещё дальше слушать таких дураков.

Наши сердца упали.

Зона. Двести шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь — голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой «индивидуальной варки», сарайчик бани, серая будка запущенной уборной с прогнившими досками, — и никуда не денешься, всё. Может быть, в твоей жизни этот островок — последний кусок земли, который тебе ещё суждено топтать ногами.

В комнатах наставлены голые *вагонки*. Вагонка — это изобретенье Архипелага, приспособление для спанья туземцев и нигде в мире не встречается больше: это четыре деревянных щита в два этажа на двух крестовидных опорах — в голове и ногах. Когда один спящий шевелится — трое остальных качаются.

Матрасов в этом лагере не выдают, мешков

для набивки — тоже. Слово «бельё» неведомо туземцам новоиерусалимского острова: здесь не бывает постельного, не выдают и не стирают нательного. И слова «подушка» не знает завхоз этого лагеря, подушки бывают только свои и только у баб и у блатных. Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться, но учти — ботинки твои сопрут. Лучше спи в обуви. И одежонки не раскидывай: сопрут и её. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке: чем побрезгуют воры, то отберут надзиратели: *не положено!* Утром вы уходите на работу, как снимаются кочевники со стоянки, даже чище: вы не оставляете ни золы костров, ни обглоданных костей животных, комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй её днём другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками.

Но и на работу ты ничего не унесёшь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в каптёрку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернёшься с работы — стань в очередь в каптёрку и возьми, что по предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до каптёрки не добьёшься.

И так — десять лет. Держи голову бодро!

* * *

«Фашистов привезли! Фашистов привезли!» — так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах Архипелага. Наш приезд — «фашистов» — открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали ещё 7 июля, с тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчёт в бухгалтерии — но сперва месяц, а где второй, где и третий амнистированные зэки томились в опостылевшей черте колючки — их некем было заменить.

Их *некем было заменить*! — а мы-то, слепорожденные, ещё смели всю весну и всё лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию! Что Сталин нас *пожалеет*!.. Что он «учтёт Победу»!.. Что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую особую для политических… Но если нас помиловать — кто спустится в шахты? кто выйдет с пилами в лес? кто отожжёт кирпичи и положит их на стены?

«Фашистов привезли!» Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. Вот какова оказалась та великая

сталинская амнистия, какой «ещё не видел мир». Где, в самом деле, видел мир амнистию, которая не касалась бы политических?!

Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многожёнство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил (да такие и не сидели), торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы (это я просто перелистал статьи Кодекса, попавшие под амнистию, это не фигура красноречия).

Половину срока сбрасывали: растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам (за государственный карман Сталин всё-таки обижался).

Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное *всепрощение дезертиров* военного времени! Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами

прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях, превращаясь в сгорбленного заросшего зверя, — все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, — объявлялись теперь равноправными незапятнанными несудимыми советскими гражданами. (Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: не красен бег, да здоров.)

Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом, — тем не могло быть прощения, так понимал Верховный Главнокомандующий.

* * *

Весь кирпичный завод это — два завода, мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование. Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьера «бросили» в цех. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчонка — поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Её место, её должность в цеху никак не называлась, а назвать можно было — «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами (только что замешенные из

глины, они очень тяжелы), стояли две девушки — нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхней расставлялке — стоящей на постаменте царице цеха — надо было непрерывно: наклоняться; брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич; не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч; не меняя положения ног, разворачиваться станом на прямой угол (иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приёмная вагонетка нагружалась); и расставлять кирпичи на пяти деревянных полках, по двенадцати на каждой. Движения её не знали перерыва, остановки, изменения, они делались в быстром гимнастическом темпе — и так всю 8-часовую смену, если только не портился пресс. Ей всё подкладывали и подкладывали — половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, её же никто не менял за восемь часов. От пяти минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем должно было всё закружиться. Девушка же в первой половине смены ещё и улыбалась (переговариваться из-за грохота пресса было нельзя), может быть ей нравилось, что она

выставлена на пьедестал как королева красоты и все видят её босые голые крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии.

За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку: триста граммов лишнего хлеба (всего в день — 850) и на ужин кроме общих чёрных щей — «три стахановских»: три жалкие порции жидкой манной каши на воде — так мало её клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски.

«Мы работаем за деньги, а вы за хлеб, это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс.

Не хватало глинокопов — они тоже освобождались, меня снова погнали на карьер. Прислали на карьер и Борю Гаммерова, так мы стали работать вместе. Норма была известная: за смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебёдки шесть вагонеток (шесть кубометров) глины. На двоих полагалось двенадцать. В сухую погоду мы вдвоём успевали пять. Но начинался мелкий осенний дождичек-бусенец. Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шёл не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. «На трассе дождя не бывает!» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и

телогреек, и под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не даёт, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги.

Борис слабее меня, он едва ворочает лопатой, отяжелевшей от прилипшей глины, он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Всё же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьёва. Обогнал он меня и тут — сколько уже читал Соловьёва, а я ни строчки из-за своих бесселевых функций.

И что вспоминает — он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли, не та голова сейчас.

— Владимир Соловьёв учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, — не будет.

Это верно…

Нагружаем, сколько можем. Штрафной паёк — так и штрафной, пёс вас задери! Скрадываем день и плетёмся в лагерь. Но ничто радостное не ждёт нас там: трижды в день всё тот же чёрный несолёный навар из крапивных листьев, да однажды — черпачок кашицы, треть литра. А хлеба уже ср*е*зали, и дают утром 450, а днём и вечером ни крошки. И ещё под дождём нас строят на про-

верку. И опять мы спим на голых нарах во всём мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топят.

И на следующий день всё сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нём увязаем. Сколько ни возьми на лопату и как ни колоти о борт вагонетки — глина от неё не отстаёт. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать её в вагонетку.

Боря кашляет, у него в лёгких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и жёлт, обострились мертвецки его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю: зимовать ли ему в лагере[46].

Так мы молчим и руками накладываем глину. Всё дождь… Но нас не только не снимают с карьера. До нас доходит: сегодня не снимут бригаду в конце смены в два часа дня, а будут держать на

---

[46] Примечания: 46

Зимой того года Борис Гаммеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулёза. Я чту в нём поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник.

карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед и ужин.

Дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки окоченели от холодной глины, уже мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей.

Со стороны — два рыжеватых камня на поле.

Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своём просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по-новому исказить окружающий, недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортёров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они *хотели сказать* в своей последней или первой книге.

Барабанит дождь по затылкам, озноб ползёт по мокрой спине.

Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всём карьере, и на всём поле за зоной никого. В серой завесе — заветная деревенька, и петухи все спрятались в сухое место.

Мы берём лопаты, чтоб их не стащили, — они записаны за нами, и, волоча их как тачки тяжёлые за собой, идём в обход завода — под навес.

Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, оживлённо ищут что-то. Когда находят — пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо-чёрному куску.

— Что это вы едите, ребята?

— Это — морская глина. Врач — не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуёшь — и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много…

…Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Велят оставить нас и на ночь. Но — гаснет всюду электричество, зона остаётся без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Всё черно. Мы идём, не видя, где

жидко, где твёрдо, всё меся подряд, оступаясь и дёргая друг друга.

И в жилой зоне темно — только адским красноватым огнём горит из-под плиты «индивидуальной варки». И в столовой — две керосиновые лампы около раздачи.

И завтра так будет, и каждый день: шесть вагонеток рыжей глины — три черпака чёрной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь — гораздо быстрей. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться.

А в бараках — и вовсе тьма. Мы лежим во всём мокром на всём голом, и кажется: ничего не снимать будет теплей, как компресс.

Раскрытые глаза — к чёрному потолку, к чёрному небу.

Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу Тебя — пошли мне смерть…

Глава 7. Туземный быт

Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага — кажется, легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех — обо всех островах и островках.

А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы; из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, — работа эта *общая*, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю.

Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки таскать. Кирпичи разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить шесть кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю грызть (кремнистый грунт, да зимой; на дороге

Тайшет — Абакан при 40° мороза — киркой и лопатой взять 4 кубометра). Ещё можно — медную руду молоть (сладкий привкус во рту, из носа течёт водичка). Можно креозотом пропитывать шпалы (и всё тело своё). Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно плавить руды. Можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать (а ходить по полголени в воде).

Но всем отец — наш русский лес со стволами истинно золотыми (из них золотц*о* добывается). Но старше всех работ Архипелага — лесоповал. Он всех зовёт, он всех поместит, и даже не закрыт для инвалидов (безруких звеном по три человека посылают утаптывать полуметровый снег). Снег — по грудь. Ты — лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Всё в том же рыхлом снегу волоча, все ветки ты снесёшь в кучи и в кучах сожжёшь (а они дымят, не горят). Теперь лесину распилишь на размеры и сштабелюешь. И норма тебе на брата в день — пять кубометров, а на двоих — десять. (В Буреполоме — семь кубов, но толстые кряжи надо было ещё колоть на плахи.) Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят.

В годы войны (при военном питании) звали

лагерники три недели лесоповала — *сухим расстрелом.*

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и берёзовые своды! Ты ещё потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива.

Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой 7 часов (!), летом — 12,5. На Акатуйской лютой каторге летний рабочий день составлял с ходьбою вместе — 8 часов, с октября — 7, а зимой — только 6. — У нас же тринадцать-то часов хватили многие — и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах, — и это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес да пять назад. Рассказать об этом некому: они умерли все.

И как же за всё это их кормили? Наливалась в котёл вода, ссыпалась в него хорошо если нечищеная мелкая картошка, а то — капуста чёрная, свекольная ботва, всякий мусор. Ещё — вика, отруби, их не жаль. Всё же стоющее всегда и непременно разворовывается для начальства, для придурков и для блатных — повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных «субпродуктов», и рыбы, и гороха, и круп — но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже, в глухих местах, начальство отбирало соль для своих солений. (В 1940 на железной дороге Котлас — Воркута и хлеб и баланду давали несолёными.)

Накормить по нормам ГУЛАГа человека, тринадцать или даже десять часов работающего на морозе, — нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котёл сатанинская мешалка котловки: накормить одних работяг за счёт других. «Котлы» разделяются: при выполнении (в каждом лагере это высчитывают по-своему), скажем, меньше 30 % нормы — котёл карцерный: 300 граммов хлеба и миска баланды в день;

с 30 % до 80 % — штрафной: 400 граммов хлеба и две миски баланды; с 81 % до 100 % — производственный: 500–600 граммов хлеба и три миски баланды; дальше идут котлы ударные, причём разные: 700–900 хлеба и дополнительная каша, две каши, «прем-блюдо» («премиальное») — какой-нибудь тёмный горьковатый ржаной пирожок с горохом.

И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела, — сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками, и говорят так: *лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь!*

Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это — типичные цифры: по Краслагу времён войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное, самая высокая в ГУЛАГе (потому что тем углем отапливалась героическая Москва), была: за 80 % под землёю и за 100 % наверху — кило триста.

А до революции? В ужаснейшем убийственном Акатуе в *нерабочий* день («на нарах») давали два с половиною фунта хлеба (кило!) и 32 золотника мяса — 133 грамма! В рабочий день — три фунта хлеба и 48 золотников (200 граммов) мяса — да не

выше ли нашего фронтового армейского пайка? У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям. — Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского[47]. — На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы наибольшей работы получали в день: хлеба — 4 фунта (кило шестьсот!), мяса — 400 граммов, крупы — 250! И добросовестный Чехов исследует[48]: действительно ли достаточны эти нормы или, при плохом качестве выпечки и варки, их недостаёт? Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался.

Какая же фантазия в начале века могла представить, что «через тридцать-сорок лет» не на Сахалине одном, а по всему Архипелагу будут рады ещё более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями чёрт-те чего хлебу — и семьсот грам-

---

[47] Примечания: 47

Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) провёл четыре года на каторге, в Омском остроге (с 1849 по 1953). В 1860—61 написал «Записки из Мёртвого дома», где подробно описаны быт и нравы каторжан. — *Примеч. ред.*

[48] Примечания: 48

Антон Павлович Чехов (1860–1904) посетил в 1890 году Сахалин, где за три месяца собрал огромный материал о труде и быте сахалинских каторжан и местных жителей; в 1895 опубликовал книгу «Остров Сахалин», вызвавшую в России огромный резонанс. — *Примеч. ред.*

мов его будут завидным «ударным» пайком?!

Нет, больше! — что по всей Руси колхозники ещё и этой арестантской пайке позавидуют! — «у нас и её ведь нет!..»

Как же одеты и как обуты наши туземцы?

Все архипелаги — как архипелаги: плещется вокруг синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несёт расхода на одежду туземцев — ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый Архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем: вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним.

К счастью, родясь за пределами Архипелага, арестанты сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чём есть — верней, в чём оставят их *социально-близкие*, — только в знак Архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану: у шинелей косо обрезать полы, у будёновок срезать шишаки, сделав продув на макушке.

Это когда-нибудь ещё увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты одного цвета, рукава к ним — другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или заплата на брюках — из обшивки чьей-то посылки, и

ещё долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом.

А на ногах — испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. (У горя и догадки…) Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку — то вот и знаменитое «ЧТЗ» (Челябинский тракторный завод).

Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник ОЛПа отвечает им с гулаговским остроумием:

— У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные. А вы все в чунях.

Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица. Слезящиеся глаза, покраснелые веки. Белые истресканные губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками.

Узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага!

Но сколько б ни был часов рабочий день — когда-то приходят же работяги и в барак.

Барак? А где и землянка, кое-как врытая в

землю. А на Севере чаще — палатка, правда обсыпанная землёй, кой-как обложенная тёсом. Нередко вместо электричества — керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир.

Нары в два этажа, нары в три этажа, признак роскоши — вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воруют настолько подчистую (а потом проматывают через вольных), что уже и казённого ничего не выдают, и своего в бараках ничего не держат: носят на работу и котелки и кружки (даже вещмешки за спиной — и так землю копают), либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее (и сушилка есть) — так раздетый ведь замёрзнешь на голом. Так и сушат на себе.

Ко всему этому ещё пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами — иначе вырвут, собьют, расхватают. Наложить на это всё — вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен: то слухи об этапе, то сам этап. И ещё — твою постоянную

цепкую (для интеллигента — мучительную) неотдельность, не состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде.

Вот это и есть — быт моего Архипелага.

* * *

Столетиями открыто, что Голод — правит миром. (И на Голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся Передовая Теория, кстати. И всё не так: восстают лишь чуть приголоженные, а истинно голодным не до восстания.) Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть («брюхо вытрясло — совесть вынесло»). Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чём подумать, ни о чём заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны — о еде, и бессонница — о еде. И скоро — одна бессонница.

Как ничто, в чём держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс — *доходяг*.

И ещё это должен увидеть русский экран: как

доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. Экран покажет, как под одеялами стационара лежат ещё сочленённые кости и почти без движения умирают — и их выносят. Как (лагпункты Унжа, Нукша) мордатый социально-близкий нарядчик за ноги сдёргивает с нар на развод, а тот уже мёртв, головою об пол. «Подох, падло!»

Чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза, она различит эти оттенки смертного пути, называемые то цингой, то пеллагрой, то безбелковым отёком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе — это цинга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить дёсны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от человека завоняет трупом, в стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. — Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос — это пеллагра. Человек слабеет, слабеет, и тем быстрей, чем он крупнее ростом. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, он

перешёл все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого. Иногда всё тело умирающего от голода покрывают сине-чёрные горошины с гнойными головками меньше булавочной. К ним не прикоснуться, так больно. Человек сгнивает заживо.

Фи, какой натурализм. Зачем ещё об этом рассказывать?

И вообще: зачем это всё вспоминать? Зачем бередить старые раны?

На это ответил ещё Лев Толстой: «Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя… Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и новое наше теперешнее насилие откроется»[49].

* * *

Но одно *досрочное освобождение* никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение это — смерть.

---

[49] Примечания: 49

Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. — Т. 3. — Гл. 5. Бондарев. Палкин. Дерулед. — *Примеч. ред.*

И это есть самая неуклонная и никем не нормируемая продукция Архипелага.

Некоторые бригады целиком умирали, и с бригадирами. Осенью 1941 Печорлаг (железнодорожный) имел списочный состав — 50 тысяч, весной 1942 — 10 тысяч. *За это время никуда не отправлялось ни одного этапа,* — куда же ушли ***сорок тысяч***? А по всем лагерям, по всем годам? — не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря в бараках доходяг в феврале 1943 из пятидесяти человек умирало за ночь двенадцать, никогда — меньше четырёх. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и четырёхстах граммах хлеба.

Мертвецов, ссохшихся от пеллагры, сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие, чаще же не анатом, а конвоир проверял — действительно ли зэк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях.

Когда-то хоронили в белье, потом — в самом плохом, третьего срока, серо-грязном. Потом было единое распоряжение: не тратиться на бельё (его ещё можно было использовать на живых), хоронить голыми.

Считалось когда-то на Руси: мёртвый без гроба не обойдётся. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских каторжан — в гробах же. Но на Архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию: работайте хорошо — *и вас тоже похоронят в деревянном гробу!*

Вывозили на санях или подводе — по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечёвками, чтоб они не болтались. После этого наваливали, как брёвна, а потом покрывали рогожей. Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братские, по грунту: большие на многих или мелкие на четверых. (Весной из мелких ямок начинает на лагерь повонивать,

посылают доходяг углублять.)

Зато никто не обвинит нас в газовых камерах.

Где было больше досуга — например, в Кенгире — там над холмиками ставились столбики и представитель УРЧа, не кто-нибудь, сам важно надписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем, в Кенгире же кто-то занялся и вредительством: приезжавшим матерям и жёнам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник Степлага полковник товарищ Чечев велел бульдозерами свалить и столбики, сравнять и холмики, раз ценить не умеют.

Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница.

Глава 8. Женщина в лагере

Да как же не думать было о них ещё на следствии? — ведь в соседних где-то камерах! в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это следствие — им-то, слабым, как перенести?!

Но кажется, им не тяжелее, а может быть, и легче. В женских воспоминаниях о следствии поражает именно: о каких «пустяках» с точки зрения арестантской (но отнюдь не женской) они могли там думать. Надя Суровцева, красивая и ещё молодая, надела впопыхах на допрос разные чулки, и вот в кабинете следователя её смущает, что допрашивающий поглядывает на её ноги. Да казалось бы, и чёрт с ним, хрен ему на рыло, не в театр же она с ним пришла, к тому ж она едва ль не доктор (по-западному) философии и горячий политик, — а вот поди ж ты! Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943, рассказывала мне потом в лагере, что они там часто шутили: то прятались под стол, и испуганный надзиратель входил искать недостающую; то раскрашивались свёклой и так отправлялись на прогулку.

Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом свежеосуждённых, как и мы, женщин, и я с удивлением ясно увидел, что все они не так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равная для всех тюремная пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают так быстро от голода.

Но и для всех нас, а для женщины особенно, тюрьма — это только цветочки. Ягодки — лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, переродясь, приспособиться.

В лагере, напротив, женщине всё тяжелее, чем нам. Начиная с лагерной нечистоты. Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит чистоты и в лагере. В среднем лагере в женской рабочей бригаде — и значит, в общем бараке — ей почти никогда не возможно ощутить себя по-настоящему чистой, достать тёплой воды (иногда и никакой не достать: на 1-м Кривощёковском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мёрзлая вода, и растопить негде). Где уж там стирать!..

Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь, — если не считать выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на

горбу среди конвоя и собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. (По статистике 20-х годов, у нас сидела в заключении одна женщина на шесть-семь мужчин. После Указов 30-х и 40-х годов соотношение это немного выравнялось, но не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных.) Женщин доводят до их барака — и тут-то входят сытые, в новых телогрейках, уверенные и наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают. Приглашают сходить к ним в гости. А они живут не в общем барачном помещении, а в «кабинках» по несколько человек. У них там и электроплитка, и сковородка. Да у них жареная картошка! — мечта человечества! На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют и уплаты, более сдержанные идут проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, милая, в зоне, пока предлагают по-джентльменски. И чистота, и стирка, и приличная одежда, и неутомительная работа — всё твоё.

И в этом смысле считается, что женщине в лагере — «легче». Легче ей сохранить саму жизнь. Но

иным с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ёжатся, колеблются, смущены, а когда решатся, когда смирятся — смотришь, поздно, они уже не идут в лагерный спрос.

Потому что предлагают — не каждой.

И этот выбор вместе с мужниными жёнами, с матерями семейств делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными.

Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть верна! Какая корысть в верности мертвячки? *«Выйдешь на волю — кому ты будешь нужна?»* — вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. «Здесь все так живут».

Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.

Те, кто не уступили сразу, — или одумаются, или их заставят всё же уступить. А кто прождёт дольше — то самой ещё придётся плестись в общий мужской барак, уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: «Полкило… полкило…» И если избавитель пойдёт за нею с пайкой, то завесить свою вагонку с трёх сторон простынями и в этом шатре, шала-

ше (отсюда и «шалашовка») заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель.

Вагонка, обвешанная от соседок тряпьём, — классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это опять-таки Кривощёковский 1-й лагпункт, 1947–1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте — блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки — всё перемешано. Женский барак всего один — но на пятьсот человек. Он — неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нём тяжёлый запах, вагонки — без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчики по 12–13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья или времени — но вагонки не завешивались, и конечно никогда не тушился свет. Всё совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше ничто. Привлекательность была проклятьем, у такой непрерывно сидели гости на койке, её постоянно

окружали, её просили и ей угрожали побоями и ножом, — и не в том уже была её надежда, чтоб устоять, но — сдаться-то умело, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит её от остальных, от следующих, от этой жадной череды, и от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают.

А — работа? Ещё в смешанной бригаде какая-то есть женщине потачка, какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская, — тут уж пощады не будет, тут давай кубики! А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот «29-я точка» Карлага — сколько ж в этой точке женщин? Ни много ни мало — шесть тысяч! Кем же работать там женщине? Елена Орлова работает грузчиком — она таскает мешки по 80 и даже по 100 килограммов! — правда, наваливать на плечи ей помогают, да и в молодости она была гимнасткой.

А конечно, где ж, как не в лагере, пережить тебе первую любовь, если посадили тебя (по политической статье!) *пятнадцати лет*, восьмиклассницей, как Нину Перегуд? Как не полюбить

джазиста-красавца Василия Козьмина, которым ещё недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен? И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладёт на музыку и поёт ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен).

Девочки из кривощёковского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса, — признак, что — в лагерном браке, но может быть — и в любви?

Инструкции ГУЛАГа требовали: уличённых в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом.

Ограбленные во всём, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь, — в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и, может быть, интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, забытостью и зверством, — к чему ж ещё могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и лагерный надзор изо всякой *заначки* (уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь женщины, ещё глубже становилась духовность

лагерной любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле! Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолётного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязно-мрачном лагерном существовании!

«Заговор счастья» видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не любил её так — ни муж-кинорежиссёр, ни все бывшие поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ.

Да ещё этот риск — почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами, — ведь героическая любовь! Кто-то шёл содержанками придурков без любви — чтобы спастись, а кто-то шёл на общие и гиб — за любовь.

Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Архипелаг настолько

вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину разъединяет то, что должно крепче всего их соединить: рождение ребёнка. За месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница с родильным отделением и где резвые голосёнки кричат, что не хотят быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый ближний лагпункт *мамок*.

Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове! Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов: не мать, а мамка; не больница, а больничка; не свидание, а свиданка; не помилование, а помил*о*вка; не вольный, а вольняшка; не жениться, а *под*жениться — та же насмешка, хоть и не в суффиксе.

Так вот на своём лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребёнок в это время находится уже не в больнице, а в «детгородке» или «доме малютки», как это в разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают свиданий с ними — или в виде исключения «при образцовой работе и дисциплине». Но и на старый лагпункт, к своему лагерному «мужу», женщина тоже уже не вер-

нётся чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребёнка, пока он в лагере. Дети же в детгородке после отъёма от груди ещё содержатся с год, иногда дольше. Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом. Так сын туземки и туземца пока уходит с Архипелага, не без надежды вернуться сюда *малолеткой*.

Кто следил за этим, говорят, что нечасто мать после освобождения берёт своего ребёнка из детдома (блатнячки — никогда), — так проклятые многие из этих детей, захватившие первым вздохом маленьких лёгких заразного воздуха Архипелага. Другие — берут или даже ещё раньше присылают за ним каких-то тёмных (вероятно, религиозных) бабушек.

Матери из *зах**и**дниц* (западных украинок) непременно, а из русских неинтеллигентных иногда — норовили крестить своих детей (это уже послевоенные годы). Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке (надзор бы не пропустил такой контрреволюции), либо заказывался за хлеб лагерному умельцу. Доставали и ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. Экономился сахар из пайки,

пёкся из чего-то крохотный пирог — и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала молитву, ребёнка окунали в тёплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к столу.

Всё сказанное до сих пор относится к совместным лагерям, смешанным по полу, — к таким, какими они были от первых лет революции и до конца Второй Мировой войны.

Но в 1946 году на Архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка — колючую проволочку.

Если до разделения было дружеское сожительство, лагерный брак и даже любовь, — то теперь Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или слишком высоко — в платоническую переписку, или слишком низко — в однополую любовь.

Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных местах. На пакетиках писались и адреса условные: так, чтобы надзи-

ратель, перехватив, не мог бы понять — от кого кому. (За переписку теперь полагалась лагерная тюрьма.)

Иногда и знакомились-то заочно; переписывались, друг друга не увидав; и расставались не увидав. (Кто вёл такую переписку, знает и её отчаянную сладость, и безнадёжность, и слепоту.) В том же Кенгире литовки выходили *замуж* через стену за земляков, никогда прежде их не знав: ксёндз (в таком же бушлате, конечно, из заключённых) свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеной — а для католичек соединение было необратимо и священно — мне слышится хор ангелов. Это — как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчёта и подпрыгивающего джаза.

Глава 9. Придурки

Одно из первых туземных понятий, которое узнаёт приехавший в лагерь новичок, это — *придурок*. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить общей обречённой участи: или же ушёл с *общих*, или не попал на них.

Придурков немало на Архипелаге. По статистике НКЮ 1933 года, обслуживанием мест лишения свободы, вместе, правда, с *самоохарауливанием*, занимались тогда 22 % от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17–18 % (без самоохраны), то всё-таки будет одна шестая часть. Но придурков много больше, чем одна шестая: ведь здесь подсчитаны только *зонные* придурки, а ещё есть *производственные*. А самое главное: среди выживших, среди освободившихся придурки составляют очень вескую долю, среди выживших долгосрочников из Пятьдесят Восьмой — мне кажется — девять десятых.

Потому что лагеря — истребительные, этого не надо забывать.

Всякая житейская классификация не имеет резких границ, а переходы все постепенны. Так и тут: края размыты. Вообще каждый, не выхо-

дящий из жилой зоны на рабочий день, может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора уже живётся значительно легче, чем работяге общему: ему не становиться на развод, значит, можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под конвоем до рабочего объекта и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы, к тому ж и кончается его рабочий день раньше, его работы или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его работа — обычно не бригадная, а — отдельная работа мастера, значит, понуканий ему не слышать от товарищей, а только от начальства. А так как он частенько делает что-либо по личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются подачки, поблажки, разрешение в первую очередь обуться-одеться. Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зэков. Чтобы было понятнее: хоздвор — это как бы рабочая часть дворни. Если среди неё слесарь, столяр, печник — ещё не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной — это уже придурки высокого класса.

Прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков — тоже придурки, но низшего класса. Им

приходится работать руками, и иногда немало. Все они, впрочем, сыты.

Истые зонные придурки — это: повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикмахеры, «воспитатели» КВЧ, заведующий баней, заведующий пекарней, заведующие каптёрками, заведующий посылочной, старшие бараков, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъёма тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и значит, власть над людьми. Все судьбы прибывающих и отправляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками.

Трудно, трудно зонному придурку иметь неомрачённую совесть.

Придурки производственные — это инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, и ещё бухгалтеры, секретарши, машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, идут в конвоируемой колонне (иногда, впрочем, бесконвойны). Но положение их на производстве — льготное, не требует от них физических

испытаний, не изнуряет их. Напротив, от них от многих зависит труд, питание, жизнь работяг. Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять своё положение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя сравняться с ними им не удаётся никогда.

Обычно в лагере они живут почти как работяги, часто состоят и в рабочих бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно, и там-то в рабочих кабинетах и кабинках, оставшись без вольных, они отодвигают казённую работу и толкуют о житье-бытье, о сроках, о прошлом и будущем, больше же всего — о слухах, что Пятьдесят Восьмую (а они чаще всего набраны из Пятьдесят Восьмой) скоро будут снимать на *общие*.

Но к придуркам производственным никак не справедливо было бы относить упрёки «объедают», «сидят на шее»: не оплачен труд работяг, да, но не потому, что придурков кормит, труд придурков тоже не оплачен — всё идёт в ту же прорву.

А ведь были, были и такие светлоголовые умники, обходившие лагерный произвол, помогавшие устроить общую жизнь так, чтоб не всем умереть, такие герои Архипелага, понимавшие свою

должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой, — таких и «придурками» не извернётся язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И — слава им!

А остальным славы нет. На пьедестал возводить — нечего.

Да, чтоб отказаться от всякого «устройства» в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно, — нужна очень устоявшаяся душа, очень просветлённое сознание, большая часть отбытого срока да ещё, наверно, и посылки из дому — а то ведь прямое самоубийство.

Как говорит благодарно-виновно старый лагерник Дмитрий Сергеевич Лихачёв: если я сегодня жив — значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по списку; если я сегодня жив — значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем трюме; если я сегодня жив — значит, мне достались те лишние двести граммов хлеба, которых не хватило умершему.

Это всё написано — не к попрёку. В этой книге уже принято и будет продолжено до конца: всех страдавших, всех зажатых, всех, поставленных перед жестоким выбором, лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет — оправдать.

Глава 10. Вместо политических

Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может; где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, — в этом мире что же и где же были *политические* — носители чести и света всех тюремных населений истории?

А мы уже проследили, как «политических» отъединили, удушили и извели.

Ну а взамен их?

А — что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж «политические», если установилась всеобщая справедливость? Просто — отменили политических. Нет и не будет!

А те, кого сажают, ну, это *каэры (контрреволюционеры)*, враги революции. С годами увяло слово «революция», хорошо, пусть будут *враги народа*, ещё лучше звучит. (Если бы счесть по обзору наших Потоков всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трёхкратное количество членов семей — изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ стал враг самому себе.)

Известен лагерный анекдот, что осуждённая баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали её «конный милиционер» (а это было «контрреволюционер»!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за быль.

Портной, откладывая иголку, вколол её, чтоб не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор).

Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я, 10 лет.

Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) — и нашла, у кого. КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет.

Пастух в сердцах выругал корову за непослушание «колхозной б…» — 58-я, срок.

Глухонемой плотник — и тот получает срок за контрреволюционную агитацию! Каким же образом? Он стелет в клубе полы. Из большого зала всё вынесли, нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашёл, увидел.

58-я, 10 лет.

Перед войною в Волголаге сколько было их! — деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58–10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. (Рассказ Лощилина.)

После же войны сидел я в лагере с ветлужцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук обсуждать с ними передовицу «Правды» (16 января 1942 года: «Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!»). Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал: «Это правильно! Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой…» И политрук хлопал, как будто всё правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет — «восхваление немецкой техники», 58-я.

Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. (По Указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста!)

Вздорно? дико? бессмысленно? Ничуть не бессмысленно, вот это и есть «террор как средство убеждения». Есть пословица: бей сороку да ворону — добьёшься и до белого лебедя!

На Архипелаге любят шутить, что не все статьи Уголовного кодекса *доступны*. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату — но никак не может устроиться кассиром. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна: как ты свяжешься по пункту «4» с мировой буржуазией, если живёшь в Ханты-Мансийске? как подорвёшь государственную промышленность и транспорт по пункту «7», если работаешь парикмахером? Но 10-й пункт 58-й статьи — *общедоступен*. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым. Заработать 10-й пункт можно с таким же успехом в будний день, как и в воскресенье, на работе и дома, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения.

Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею жалила, почему

съезда партии долго не собирают, устав нарушают (будто их собачье дело!..). Получили по десятке.

Фаина Ефимовна Эпштейн, поражённая преступностью Троцкого, спросила на партсобрании: «А зачем его выпустили из СССР?» (Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович, может быть, локти кусал!) За этот нелепый вопрос она заслуженно получила (и отсидела) один за другим *три срока*. (Хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чём её вина.)

А Груша-пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у неё икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы (да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами) и, что особенно отметило следствие по доносу соседок, — вымыла полы! (А немцы так и не пришли.) К тому ж около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула её в вазочку на комоде. И всё-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше *только*: 8 лет лагеря да 3 года лишения прав. А муж её тем временем погиб на фронте. А дочь училась

в техникуме, но *кадры* всё допекали: «Где твоя мать?» — и девочка отравилась. (Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать — плакала и уходила.)

Воскликнут, что весь этот перечень — чудовищен? несообразен? Что поверить даже нельзя? Что Европа не поверит?

Европа, конечно, не поверит.

Да и мы лет пятьдесят назад — ни за что б не поверили.

* * *

В прежней России политические и обыватели были — два противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления.

В СССР обывателей стали грести как «политических».

И оттого политические сравнялись с обывателями.

Половина Архипелага была Пятьдесят Восьмая. А политических — не было… В эту Пятьдесят Восьмую угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая.

Всё серей и робче становилась Пятьдесят Восьмая, теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянное стадо потерянных людей.

«Неповинный человек»! — вот главное ощущение того эрзаца политических, который нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в мировой истории тюрем: когда *миллионы* арестантов сознают, что они — правы, все правы и никто не виновен. Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты, отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни единства, ни боевого духа.

Попав в общий лагерь в 1938, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами социалистки, знавшей Соловки и изоляторы, на эту Пятьдесят Восьмую. Когда-то, на её памяти, политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя и даже «политические» торговали вещами и пайками!..

Политическая шпана — вот как назвала их (нас) Анна Скрипникова.

Постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Восьмую никогда не

оставляли одну, — чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг — *кто мы*.

———

Однако по важной особенности жизни, замеченной ещё в учении Дао, мы должны ожидать, что когда не стало политических — тогда-то они и появились.

Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно политические не только были, но:

1) их было *больше*, чем в царское время, и

2) они проявили стойкость и мужество *большие*, чем прежние революционеры.

Это покажется в противоречии с предыдущим, но — нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновенными отголосками в обществе и прессе. В Советской России социалистам пришлось несравнимо трудней.

Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые ушатами в уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — немы. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмот-

ные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, *за что* сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет уж, их шпаной не назовёшь.

И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — тогда-то и есть подлинно верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках — мы проглядели, что у грешной православной Церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства, — сёстры тех, кого бросали на арены ко львам.

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтёт эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все — дрогнули, отреклись или перетаились.

Так это ли — не *больше*? Разве когда-нибудь

царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч.

А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны?

Историки когда-нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка *политической молодёжи*? Мне кажется, с 43–44 года. Почти школьники (вспомним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их ещё назвать?

В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и всё, придорожный столбик.

А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно б*о*льшие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Что значило до революции расклеить листовки? Забава, всё равно что голубей гонять, не получишь и трёх месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпромети-

ровало себя», — на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя.

И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ленинске-Кузнецком — единственная мужская школа. С 9-го класса пятеро мальчиков (Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Вельвелт Рейхтнал, Николай Конев и Юрий Аниконов) теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и пьянство в своём городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10-й класс, перед выборами в местные советы (1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) простоватую листовку:

> «Слушай, рабочий! Разве мы живём сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем – а получаем жалкие гроши, да и те зажимают… Почитай и подумай о своей жизни…»

Они сами тоже только думают — и поэтому ни к чему не призывают. (В плане у них был — цикл

таких листовок и сделать гектограф самим.)

Клеили так: шли ночью по городу гурьбой, один налеплял четыре комка хлебного мякиша, другой — на них листовку.

Ранней весной к ним в класс пришёл новый какой-то педагог и предложил… заполнить анкеты печатным почерком. Умолял директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами, сознайтесь!» (Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая совесть — ведь случай невероятный, ведь жизнь дана один раз, зачем же *задумываться*?) Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое (уж конечно) заседание облсуда. (Судья — Пушкин, вскоре осуждённый за взятки.) Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев. Всем — по 10 и по 8 лет, и всех, семнадцатилетних, — в Особлаги.

Не врёт переиначенная пословица: смелого ищи в тюрьме, глупого — в политруках!

Нет, политические истинные — были. И много. И — жертвенны.

Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже лёгких пузырей они не

оставили на поверхности?

Разберём и это. Позже.

Глава 11. Благонамеренные

Но я слышу возмущённый гул голосов. Терпение *товарищей* иссякло! Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплёвывают:

— В конце концов, это наглость! это клевета! Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школьниках-сопляках… А подлинные политические — это *мы*! Мы, непоколебимые! Мы, ортодоксальные, кристальные (Оруэлл назвал их *благомыслами*[50]). Мы, оставшиеся и в лагерях до конца преданными единственно-верному…

Да уж судя по нашей печати — одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте.

Согласится ли читатель с таким критерием: политзаключённые — это те, кто знают, *за что* сидят, и тверды в своих убеждениях?

Если согласится, так вот и ответ: наши непоко-

---

[50] Примечания: 50

Джордж Оруэлл (1903–1950) в романе-антиутопии «1984» называет «благомыслами» правоверных членов тоталитарного общества. — *Примеч. ред.*

лебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно-верному и т. д., — тверды в своих убеждениях, *но не знают, за что сидят*! И потому не могут считаться политзаключёнными.

Если мой критерий нехорош, возьмём критерий Анны Скрипниковой, за пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он: «Политический заключённый это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана».

По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры, под него подходят и «монашки», а вот ортодоксы — не подходят. Потому что: где ж те убеждения, *от* которых их понуждают отречься?

Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и пастуху, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв. Но — с гонором.

Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе?

Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, — вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание?

Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но:

— они не руководствовались ею для «партийного» отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены «правильно» (а я, мол, — неправильно);

— не спешили заявить гражданину начальнику (и оперуполномоченному) «я — коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере;

— сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать.

Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке.

Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель: «Вы помните нашу молодость (я — с 1912),

когда верхом блаженства для нас был зелёный из грубого полотна костюм “юнгштурма” с ремнём и портупеей[51], когда мы плевали на деньги, на всё личное, и готовы были *пойти на любое дело, лишь бы позвали*. В комсомоле я с тринадцати лет. И вот, когда мне было всего двадцать четыре, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58-й статьи».

Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом, после рабфака и института стал инженером-путейцем, хорошим инженером (на *шарашке* он вёл сложные газодинамические расчёты турбины реактивного двигателя). Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В панические (16-го и 17-го) октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний, он звонил — телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи! Все руководители бежали. Но мы — коммунисты,

---

[51] Примечания: 51

В конце 1920—1930-х гг. в СССР среди активных комсомольцев была в моде «юнгштурмовка» — военизированная одежда защитного цвета, куртка или гимнастёрка с отложным воротником и накладными карманами. Название — от «Красного Юнгштурма», молодёжных отрядов немецких коммунистов, созданных в 1924 г. — *Примеч. ред.*

будем обороняться сами!» И оборонялись. Но вот за это «все бежали» — те, кто бежали, его, не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет (за «антисоветскую агитацию»). Он был тихий труженик, самоотверженный друг и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял.

Или вот геолог Николай Каллистратович Говорко, который, будучи воркутским доходягой, сочинил «Оду Сталину» (и сейчас сохранилась), но не для опубликования, не для того, чтобы через неё получить льготы, а потому что лилась из души. И прятал эту оду на шахте (хотя зачем было прятать?).

Иногда такие люди сохраняют убеждённость до конца.

Иногда (как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937) после реабилитации не принимают партбилета.

Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем.

Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убеждённость сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому,

и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое.

По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение, и в лагере им больней всего было бы согласиться быть уничтоженным, они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут — и все попавшие за решётку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители.

Поймём их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. «Лес рубят — щепки летят» — была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки.

Сказать, что им было больно, — это почти ничего не сказать. Им — невместимо было испытать такой удар, такое крушение — и от *своих*, от родной партии, и по видимости — ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, перед партией — ни в чём.

Это вот какие были люди. У Ольги Слиозберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать её самою. Четыре часа шёл обыск — и эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щёточной промышленности, где она была секретарём за

день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила её, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «Да проститесь вы с детьми!»

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши — виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата — я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата… Вступай в комсомол».

Ещё бы не тяжко! да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной топор — оправдывать его разумность.

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «совращение малых

сих», что мать совратила дочь и повредила её душу.

Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37-го года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы-пик сажали не их одних, а всё те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодёжь, инженеры и техники, агрономы, и экономисты, и просто верующие.

«Набор 37-го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37-го года».

В начале нашей книги мы уже дали объём *потоков*, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37-го года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом ни рылом не вёл будущий набор 37-го года, они оставались спокойны, пока сажали *общество*. «Вскипел их

разум возмущённый»[52], когда стали сажать *их сообщество*.

Конечно ошеломишься! Конечно диковато было это воспринять! В камерах спрашивали вгоряче:

— Товарищи! Не знаете? — чей переворот? Кто захватил власть в городе?

И долго ещё потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали: «Был бы жив Ильич — никогда б этого не было!»

(А чего *этого*? Разве не *это* же было раньше с другими?)

И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений! Вот оно.

Чем больше посадят — тем скорее вверху *поймут ошибку*! А поэтому — стараться *как можно больше называть фамилий*! Как можно больше давать фантастических показаний на невиновных! всю партию не арестуют!

(А Сталину всю и не нужно было, ему только

---

[52] Примечания: 52

«Кипит наш разум возмущённый / И в смертный бой вести готов» — строки из «Интернационала», международного гимна коммунистических партий. С 1918 по 1944 был гимном Советского государства, с 1944 — официальный гимн ВКП(б), потом КПСС. С 2009 — гимн КПРФ. — *Примеч. ред.*

головку и долгостажников.)

Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных! — так придумал игривец-тигр. И пока шли пустоделовые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось: поступил материал, компрометирующий такого-то; и предлагалось поставить согласие (или несогласие!..) на исключение его из ЦК. (И ещё кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу.) И все — ставили визу. Так Центральный Комитет ВКП(б) расстрелял сам себя.

И уж тем более забыли они (да не читали никогда) такую давнь, как послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твёрдый Патриарх: «Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лука, 11:51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Матфей, 26:52)». Но тогда это

казалось смешно, невозможно! Где было им тогда представить, что История всё-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странные выбирает для неё формы и неожиданных исполнителей.

Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «Не смейте потешаться над надзирателем! *Он представляет здесь советскую власть!*» (А? Всё перевернулось! Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме!)

И в чём же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что на их мировоззрении не должна отразиться тюрьма! не должен отразиться лагерь! Мы — марксисты! Мы — материалисты! Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму?

Вот их неизбежная мораль: я посажен зря, и значит, я — хороший, а все вокруг — враги и сидят за дело.

Вот В. П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник. 140 (сто сорок!) суток он просидел в смертной камере (было время подумать!). Потом 15 лет, потом вечная ссылка. «В мозгах ничего не

изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля *каких-то людей* (анализ!), которые приходят и уходят (что-то никак не уйдут…), а всё остальное остаётся…»

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился.

Глава 12. Стук-стук-стук…

В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фотоэлементы, за уши — микрофоны, магнитофоны, лазерные подслушиватели. Но всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и почти единственными ушами ЧК-ГБ были *стукачи*.

В первые годы ЧК они названы были по-деловому: секретные сотрудники (в отличие от штатных, открытых). В манере тех лет это сократилось — *сексоты*, и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово — не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нём сплелось. А ещё с годами оно налилось желтовато-бурой кровью предательства — и не стало в русском языке слова гаже.

Но применялось это слово только на воле. На Архипелаге были свои слова: в тюрьме — «наседка», в лагере — «стукач». Однако как многие слова Архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и «стукач» со временем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого явления

стукачества.

Не имея опыта и недостаточно над этим размышляв, трудно оценить, насколько мы пронизаны и охвачены стукачеством. Как, не имея в руках транзистора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас множество радиоволн.

Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу: *а кто у нас стучит?* У нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в редакции, у нас в цеху, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. А между тем сексотка — та самая милая Анна Фёдоровна, которая по соседству зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт (может быть в ларёк, может быть в аптеку), что у вас сидит непрописанный приезжий. Это тот самый свойский парень Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 грамм, и он донёс, как вы матерились, что в магазинах ничего не купишь, а начальству отпускают по блату. Вы не знаете сексотов в лицо и потом удивлены, откуда известно вездесущим Органам, что при массовом пении «Песни о Сталине» вы только рот раскрывали, а голоса не тратили? или о том, что вы не были веселы на демонстрации 7 ноября?

Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. Им совсем необязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это обязательно негодяй с отталкивающей наружностью. Если бы набор сексотов был совершенно добровольный, на энтузиазме — их не набралось бы много (разве в 20-е годы).

Вербовка — в самом воздухе нашей страны. В том, что государственное выше личного. В том, что Павлик Морозов — герой. В том, что донос не есть донос, а *помощь* тому, на кого доносим.

Техническая сторона вербовки — выше похвал. Увы, наши детективные комиксы не описывают этих приёмов. Сидит в конурке мастер и чинит кожгалантерею. Входит симпатичный мужчина: «Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить?» И тихо: «Сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит машина 37–48, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезёт вас, куда надо». (А там дальше известно: «Вы советский человек? так вы должны нам *помочь*».) Такая мастерская — чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной встречи с оперуполномоченным — квартира Сидоровых, 2-й этаж, три звонка, от шести до восьми вечера.

Набор инструментов для вербовки — как набор отмычек: № 1, № 2, № 3. № 1: «вы — советский человек?»; № 2: пообещать то, чего вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке; № 3: надавить на слабое место, пригрозить тем, чего вербуемый больше всего боится; № 4…

Да ведь чуть-чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А. Г., известно, что по характеру он — размазня. И сразу ему: «Напишите список антисоветски настроенных людей из ваших знакомых». Он растерян, мнётся: «Я не уверен…» (Не вскочил, не ударил кулаком: «Да как вы смеете?!») — «Ах вы не уверены? Тогда пишите список, за кого вы ручаетесь, что они вполне советские люди. Но — ручаетесь, учтите! Если хоть одного аттестуете ложно, *сядете* сразу сами! Что ж вы не пишете?» — «Я… не могу ручаться». — «Ах не можете? Значит, вы *знаете*, что они — антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете!» И потеет, и ёрзает, и мучается честный хороший кролик А. Г.

Камень — не человек, а и тот рушат.

На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере — самые простые, жизнь упрощена, обнажена, и резьба винтов и диаметр головки известны. № 1, конечно, остаётся:

«вы — советский человек?» Очень применимо к благонамеренным, отвёртка никогда не соскальзывает, головка сразу подалась и пошла. № 2 тоже отлично работает: обещание взять с общих работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Всё это — жизнь, каждая эта ступенька — сохранение жизни. (В годы войны стук особенно измельчал: предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку махорки.) А № 3 работает ещё лучше: снимем с придурков! пошлём на общие! переведём на штрафной лагпункт! Каждая эта ступенька — ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть.

Иной, как говорится, и не плотник, да стучать охотник — этот берётся без затруднения. На другого приходится удочку забрасывать по несколько раз: сглатывает наживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информацию, тому объясняют: «Давайте какая есть, мы будем проверять». — «Но если я совсем не уверен?» — «Так что ж — вы истинный враг?»

Но вот в одном из сибирских лагерей просвещённый и безрелигиозный человек, У., нашёл,

что он оборонится от них, только заслонясь Христом. Не очень это было принципиально, но безошибочно. Он солгал: «Я должен вам сказать откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно!»

И — всё! И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась! Он понял, что номер — пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаке! — вскричал он досадливо. — Пишите письменный отказ! (Опять письменный.) Так и пишите, про боженьку объясняйте!»

Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенанта: никто из оперчеков не упрекнёт его, что можно было ещё какие-то усилия предпринять.

А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене?

Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую!

Можно ли отсечь голову, если раз её уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили её? Можно!

Это всё изобретено в наших лагерях. Это всё выдумано на Архипелаге. И пусть не говорят, что только *бригада* — вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях. А *второй лагерный срок* — это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на Архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но ещё раз перекачиваются по трубам вторых следствий.

О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать. Где осуждённого уже не вызывают в суд. Где приговорённого уже нельзя больше приговорить!

А у нас это всё — можно.

Лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но там просто загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять

второй лагерный срок.

Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, — это форма жизни Архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осуждённых эта чёрная угроза: получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего — в 1937—38 и в годы войны. (В 1948—49 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю: упустили, прохлопали, кого надо было пересудить ещё в лагере, — и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали *повторниками*, своих внутрилагерных даже не называли.)

И это ещё милосердие — машинное милосердие, когда второй лагерный срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового срока. (За отказ расписаться — простой карцер, как за курение в неположенном месте. Ещё и объясняли по-человечески: «Мы ж не даём вам, что вы в чём-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении».) На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче: 8 лет и 5 лет по ОСО. И тщета была отбиваться: как будто в тёмной

бесконечности Архипелага чем-то отличались восемь от восемнадцати, десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня.

Можно так понять теперь: эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить (а кого и расстрелять) — и так перепугать оставшихся.

Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонёк. Пусть историк представит себе дыхание тех лет: фронт отходит, немцы вкруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу всё меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Всё для фронта! И только лагерные офицеры (ну да и братья их по ГБ) — все на своих тыловых местах, и чем глубже в Сибирь и на Север, тем спокойнее. Но трезво надо понять: благополучие шаткое. Бронь — это жизнь! Бронь — это счастье! Как сохранить свою бронь? Простая естественная мысль — надо доказать свою нужность! Надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся, это — котёл кипящей смолы! Именно здесь, на тундренных и таёжных лагпунктах, опер-

уполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера! Это — их вклад в Победу! Не щадя себя, они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры.

Вот *оформляют* в Усть-Выми «повстанческую группу»: восемнадцать человек! хотели, конечно, обезоружить Вохру, у неё добыть оружие (полдюжины старых винтовок)! — а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла: хотели поднять весь Север! идти на Воркуту! на Москву! соединиться с Маннергеймом! И летят, летят телеграммы и докладные: обезврежен крупный заговор! в лагере неспокойно!

И что *это*? В каждом лагере открываются заговоры! заговоры! заговоры! И всё крупней! И всё замашистей! Эти коварные доходяги! — они притворялись, что их уже ветром шатает, — но своими исхудалыми пеллагрическими руками они тайно тянулись к пулемётам! О, спасибо тебе, оперчекистская часть!

* * *

А — ты?.. Ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться: вот срок большой дали! вот кормят плохо! вот работаю много! Или, думал ты, можно

здесь *повторить*, за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал — ты погиб! ты обречён на новую десятку. (Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается, так что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких-нибудь тринадцать, пятнадцать… Дольше, чем ты сумеешь выжить.)

Но ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя всё равно взяли? Опять-таки верно! — тебя не могли не взять, как бы ты себя ни вёл. Ведь берут не *за что*, а берут *потому что*.

Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из домашней тёплой постели — что бы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А ещё сколько! В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают — но вот пришёл надзиратель, дёрнул за ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. Люди-люди, я вас любил…

Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря?

Вот на выбор следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это 506-й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно-парусиновый посёлок, то есть палатки с дырами, но

всё ж обложенные тёсом. Приехавший новый этап, пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, *обставлена штабелями окоченевших трупов!* (Это — не для устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота.) А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса.

Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — «Есть». — «Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто *не спрашивает фамилий умерших*: пайки выдаются по счёту.

Следствие? Оно идёт так, как задумал следователь. С кем идёт не так — те уже не расскажут. Как говорил оперчек Комаров: «Мне нужна только твоя правая рука — протокол подписать…»

Глава 14. Менять судьбу!

Отстоять себя в этом диком мире — невозможно. Бастовать — самоубийственно. Голодать — бесполезно.

А умереть — всегда успеем.

Что ж остаётся арестанту? Вырваться! Пойти *менять судьбу*! (Ещё — «зелёным прокурором» называют зэки побег. Это — единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем положении, и даже ещё более тяжёлом, но иногда освобождает и вчистую. Он есть — зелёный лес, он есть — кусты и трава-мурава.)

Чехов говорит, что если арестант — не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо (или скажем так: который может уйти в себя), то не хотеть бежать он не может и *не должен*!

Не должен не хотеть! — вот императив вольной души. Правда, туземцы Архипелага далеко не таковы, они смирней намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывает побег или вот-вот пойдёт.

Зона хорошо охранена: крепок забор, и надёжен

предзонник, и расставлены правильно вышки — каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огороженной земли, тебе и суждено умереть. Да почему же счастья не попытать? — не рвануться сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году, бывает силён и даже необдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся будущность и весь облик арестанта.

Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайные данные: за один лишь март 1930 из мест заключения РСФСР бежало 1328 человек. (И как же это в нашем обществе неслышно, беззвучно!)

С огромным разворотом Архипелага после 1937 года, и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, — всё трудней становилось с конвоем. Наверно, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента заключённых, чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков. К тому ж они положились и ещё на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах.

Крепчайшая из этих цепей — общая приниклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И Пятьдесят Восьмая, и бытовики почти сплошь были семейные трудолюбивые люди. Даже и посаженные на пять и на десять лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно (уж Боже упаси коллективно!..) восстать за свою свободу, видя против себя государство (*своё* государство), НКВД, милицию, охрану, собак; как можно, даже счастливо уйдя, жить потом — по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрёстке проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза.

Другая цепь была — *доходиловка*, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из-за него же нельзя было собрать запаса пищи в путь.

Ещё была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58-й же статье.

Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги.

Колыма хотя и не остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только от отчаяния. Когда-то, правда, якуты хорошо относились к заключённым и брались: «Девять солнц — я тебя в Хабаровск отвезу». И отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, выдавали их.

Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков (это к тому же было и политическим воспитанием). И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, это как добрая охота или как найти небольшой самородок. Тунгусам, комякам, казахам платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около Буреполомского и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов *селёдками*. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно

бежали: «Мама! Селёдка идёт!»

Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. И ещё можно написать в Культурно-Воспитательной Части вывеску: «Я бежал, но меня поймали собаки», эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю.

А если бить — то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб *на всю жизнь* в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность (Г. Сорокин, Ивдельлаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он оттуда не вышел. (Ныроблаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое.)

Собственно, избить и убить беглеца — это главная на Архипелаге форма борьбы с побегами.

И кто найдёт в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и дойти! — а *дойти*-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, — кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? Только

блатных на воле ждёт уговоренная *малина*, а у нас, Пятьдесят Восьмой, квартира называется *явкой*, это почти подпольная организация.

Вот как много заслонов и ям против побега.

Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит: течёт река, по реке плывёт бревно — и прыжок! поплывём! Вячеслав Безродный с лагпункта Ольчан, едва выписанный из больницы, ещё совсем слабый, на двух скреплённых брёвнах бежал по реке Индигирке — в Ледовитый океан! Куда? На что надеялся? Уж не то что пойман, а — подобран он был в открытом море и зимним путём опять возвращён в Ольчан, в ту же больницу.

Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам и кого не привели полуживым, не привезли мёртвым, можно сказать, что он ушёл. Он, может быть, только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге.

Но человек, пошедший на побег серьёзно, очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на десятки километров горела.

В Краслаге бывший вояка, герой Халхин-Гола, пошёл с топором на конвоира, оглушил его

обухом, взял у него винтовку, тридцать патронов. Вдогонку ему были спущены собаки, двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а, излютев, мстя за себя и за собак, искололи мёртвого штыками и в таком виде бросили неделю лежать близ вахты.

В 1951 в том же Краслаге около десяти большесрочников конвоировались четырьмя стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму (но стрелков пощадили! — угнетённые чаще великодушны, чем угнетатели) и четверо, *с понтом* конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду и (кто-то из бегущих был машинист) — полным ходом повёл состав к станции Решёты, к главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около семидесяти километров. За это время о них уже дали знать (начиная с пощажённых стрелков), несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от Решёт перед ними успели заминировать путь и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли.

Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удивительно удачные, но эти счастливые рассказы мы редко слышим: *оторвавшиеся* не дают интервью, они переменили фамилии, прячутся. Кузиков-Скачинский, удачно бежавший в 1942, лишь потому сейчас об этом рассказывает, что в 1959 был разоблачён — через 17 лет!

И об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, что в конце-то концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск её арестовали, и до ареста она ещё вышла замуж за лётчика. Тут её посадили и послали на 8-ю шахту Воркуты. Через кухонных китайцев она связалась с волей и с мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. В условленный день Зина вышла в баню в рабочую зону, там сбросила лагерное платье, распустила из-под косынки закрученные с ночи волосы. В рабочей зоне ждал её муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили внимания на завитую девушку под руку с лётчиком. Улетели на самолёте. Год пробыла Зина под чужим документом. Но не выдержала,

захотела повидаться с матерью — а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось.

Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть-Сысольска был массовый побег (через восстание) в 1943. Ушли по тундре, ели морошку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. Говорят, в 1956 целый лагерёк бежал, под Мончегорском.

История всех побегов с Архипелага была бы перечнем невпрочёт и невперелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберёг бы читателя и себя, стал бы опускать их сотнями.

Глава 15. ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ

Среди многих радостных отказов, которые нёс нам с собой новый мир, — отказа от эксплуатации, отказа от колоний, отказа от обязательной воинской повинности, отказа от тайной полиции, отказа от «закона божьего» и ещё многих других феерических отказов, — не было, правда, отказа от тюрем, но был безусловный отказ от карцеров — этого безжалостного мучительства, которое могло родиться только в извращённых злобой умах буржуазных тюремщиков. ИТК-1924 (Исправительно-трудовой кодекс 1924 года) допускал, правда, изоляцию особо провинившихся заключённых в отдельную камеру, но предупреждал: эта отдельная камера ничем не должна напоминать карцера — она должна быть сухой, светлой и снабжённой принадлежностями для спанья.

ИТК-1933, который «действовал» (бездействовал) до начала 60-х годов, оказался ещё гуманнее: он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру!

Но это не потому, что времена стали покладистей, а потому, что к этой поре были опытным

путём уже освоены другие градации внутрилагерных наказаний, когда тошно не от одиночества, а от «коллектива», да ещё наказанные должны и *горбить*:

РУРы — Роты Усиленного Режима, заменённые потом на

БУРы — Бараки Усиленного Режима, штрафные бригады, и

ЗУРы — Зоны Усиленного Режима, штрафные командировки.

А уж там позже, как-то незаметно, пристроились к ним и — не карцеры, нет! а —

ШИЗО — Штрафные Изоляторы.

Да ведь если заключённого не пугать, если над ним уже нет никакой дальше кары — как же заставить его подчиняться режиму?

А беглецов пойманных — куда ж тогда сажать?

За что даётся ШИЗО? Да за что хочешь: не угодил начальнику, не так поздоровался, не вовремя встал, не вовремя лёг, опоздал на проверку, не по той дорожке прошёл, не так был одет, не там курил, лишние вещи держал в бараке — вот тебе сутки, трое, пятеро. Не выполнил нормы, с бабой застали — вот тебе пять, семь и десять. А для *отказчиков* есть и пятнадцать суток.

Что требуется от ШИЗО? Он должен быть: а)

холодным; б) сырым; в) тёмным; г) голодным. Кормят *сталинской пайкой* — 300 граммов в день, а «горячее», то есть пустую баланду, дают лишь на третий, шестой и девятый дни твоего заключения туда. Но на Воркуте-Вом давали хлеба только двести, а вместо горячего на третий день — кусок *сырой* рыбы. Вот в этом промежутке надо и вообразить все карцеры.

Наивное представление таково, что карцер должен быть обязательно вроде камеры — с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На Куранах-Сала карцер в мороз 50 градусов был разомшённый сруб. (Вольный врач Андреев: «Я как *врач* заявляю, что в таком карцере *можно* сидеть!») Перескочим весь Архипелаг: на той же Воркуте-Вом в 1937 карцер для отказчиков был — сруб *без крыши*, и ещё была *простая яма*.

В Мариинском лагере (как и во многих других, разумеется) на стенах карцера был снег — и в такой-то карцер не пускали в лагерной одежонке, а *раздевали до белья*.

БУР — это содержание подольше. Туда заключают на месяц, три месяца, полгода, год, а часто — бессрочно, просто потому, что арестант счи-

тается опасным. Один раз попавши в чёрный список, ты потом уже закатываешься в БУР на всякий случай: на каждые первомайские и ноябрьские праздники, при каждом побеге или чрезвычайном происшествии в лагере.

БУР — это может быть и самый обычный барак, отдельно огороженный колючей проволокой, с выводом сидящих в нём на самую тяжёлую в этом лагере работу. А может быть — каменная тюрьма в лагере, со всеми тюремными порядками: избиениями в надзирательской вызванных поодиночке (чтоб следов не оставалось, хорошо бить валенком, внутрь которого заложен кирпич); с засовами, замками и глазками на каждой двери; с бетонным полом камер и ещё с отдельным карцером для сидящих в БУРе.

Именно таков был наш экибастузский БУР (впрочем, и первого типа там был). Посаженных содержали там в камерах без нар (спали на полу на бушлатах и телогрейках). Никакого проветривания не бывало никогда. *Полгода* (в 1950 году) не было и ни одной прогулки. Так что тянул наш БУР на свирепую тюрьму, неизвестно, что*о* тут оставалось от лагеря. Вся оправка — в камере. Вынос большой параши был счастьем дневальных по камере: глотнуть воздуха.

В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблатнённые — нервные, напористые — чаще других. (Попавшие в Экибастуз блатари тоже считались за Пятьдесят Восьмую, и им не было поблажек.) Самое популярное среди арестантов БУРа было — глотать алюминиевые столовые ложки, когда их давали к обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и, убедившись, что не врёт, что действительно ложка в нём, — клали в больницу и вскрывали желудок. Лёшка Карноухий глотал трижды, у него и от желудка ничего не осталось. Колька Салопаев *закосил на чокнутого*: повесился ночью, но ребята по уговору «увидели», сорвали петлю — и взят он был в больничку.

Но удобство получить от штрафников ещё и работу заставляло хозяев выделять их в отдельные штрафные зоны (ЗУРы). В ЗУРе прежде всего — худшее питание, уменьшенная пайка. Может не быть столовой, но и в бараках баланду не раздают, а, получив её около кухни, надо нести по морозу в барак и там есть холодную. Мрут массами, стационар забит умирающими.

Для штрафных зон назначали работы такие.

Дальний сенокос за 35 километров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, ногами всегда в воде. Заготовка силосной массы по тем же болотистым местам, в тучах мошкары, без всяких защитных средств. (Лицо и шея изъедены, покрыты струпьями, веки распухли, человек почти слепнет.) — Заготовка торфа в пойме реки Вычегды: зимою, долбя тяжёлым молотом, вскрыть слои промёрзшего ила, снять их, из-под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить километр в гору (лошадей лагерь берёг). — Ну и излюбленная штрафная работа — известковый карьер и обжиг извести. И каменные карьеры. Перечислить всего нельзя. Всё, что есть из тяжёлых работ ещё потяжелей, из невыносимых — ещё невыносимей, вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя.

А посылать в штрафные зоны излюблено было: верующих, упрямых и блатных. Целыми бараками содержали там «монашек», отказывающихся работать на дьявола. (На штрафной «подконвойке» совхоза Печорского их держали в карцере по колено в воде. Осенью 1941 дали 58–14, «контрреволюционный саботаж», и всех расстреляли.) Посылали пойманных беглецов. И, сокрушаясь сердцем, посылали социально-близких, которые

никак не хотели слиться с пролетарской идеологией. (За сложную умственную работу классификации не упрекнём начальство в невольной иногда путанице: вот с Карабаса выслали две телеги — религиозных женщин на детгородок ухаживать за лагерными детьми, а блатнячек и сифилитичек — на Конспай, штрафной участок Долинки. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи, и поехали блатные сифилитички ухаживать за детьми, а «монашки» на штрафной. Уж потом спохватились, да так и оставили.)

Бывали тут и истории дамские. О них нельзя судить достаточно обстоятельно и строго, потому что всегда остаётся неизвестный нам интимный элемент. Однако вот история Ирины Нагель в её изложении. В совхозе Ухта она работала машинисткой адмчасти, то есть очень благоустроенным придурком. Представительная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы и, отчасти для удобства, ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает лагерь, понимает, что *это* была за приманка. Оперативник младший лейтенант Сидоренко выразил желание узнать её тесней. Нагель ответила ему: «Да пусть меня лучше последний урка поцелует! Как вам не стыдно, у вас ребёнок пла-

чет за стеной!» Отброшенный её толчком, опер вдруг изменил выражение и сказал: «Да неужели вы думаете — вы мне нравитесь? Я просто хотел вас проверить. Так вот, вы будете с нами сотрудничать». Она отказалась и была послана на штрафной лагпункт.

Вот впечатления Нагель от первого вечера: в женском бараке — блатнячки и «монашки». Пятеро девушек ходят, обёрнутые в простыни: играя в карты накануне, блатняки проиграли с них всё, велели снять и отдать. Вдруг вбегают другие блатные, рассерженные. Они хватают одну свою девку, бросают её на пол, бьют скамейкой и топчут. Она кричит, потом уже и кричать не может. Все сидят, не только не вмешиваясь, но будто даже и не замечают. Позже приходит фельдшер: «Кто тебя бил?» — «С нар упала», — отвечает избитая. В этот же вечер проиграли в карты и саму Нагель, но выручил её сука Васька Кривой: он донёс начальнику, и тот забрал Нагель ночевать на вахту.

Если нет закона и правды в лагерях, то уж на штрафных и тем более не ищи. Блатные куролесят там как хотят, открыто ходят с ножами (Воркутинский «земляной» ОЛП, 1946), надзиратели прячутся от них за зоной, и это ещё когда

Пятьдесят Восьмая составляет большинство.

Простому работяге из Пятьдесят Восьмой выжить на таком штрафном лагпункте почти невозможно.

Одно только перечисление штрафных зон когда-нибудь составило бы историческое исследование.

Глава 16. Социально-близкие

Присоединись и моё слабое перо к воспеванию этого племени! Их воспевали как пиратов, как флибустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали как благородных разбойников — от Робина Гуда и до опереточных, уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? И Пушкин-то в цыганах похваливал блатное начало. Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так последовательно, как в советской литературе.

Всё это сложилось не сразу, а *исторически*, как любят у нас говорить. В старой России существовал (а на Западе и существует) неверный взгляд на воров как на неисправимых, как на постоянных преступников («костяк преступности»). Оттого на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация ломала их вольности и верховенство в арестантском мире, решительно становилась на сторону прочих каторжан. В старой России к рецидивистам-уголовникам была одна формула: «Согните им голову под железное ярмо закона!» Так к 1917

году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах.

Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после Февральской революции уголовники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражданами. Очень полезным и забавным находили, что они — враги частной собственности, а значит, сила революционная. Социально рассуждая: ведь во всём виновата *среда*? Так перевоспитаем этих здоровых люмпенов и включим в строй сознательной жизни!

Теперь же можно оглянуться и усумниться: кто ж кого перевоспитал: чекисты ли — урок? или урки — чекистов? Урка, принявший чекистскую веру, — это уже сука, урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки, — это *напористый* следователь 30—40-х годов или *волевой* лагерный начальник, они в чести, они продвигаются по службе.

Сколько нам в уши насюсюкали о «своеобразном кодексе» блатных, об их «честном» слове. Почитаешь — и Дон-Кихоты, и патриоты! А встретишься с этим мурлом в камере или в воронке…

Эй, довольно лгать, продажные перья! Урки — не Робины Гуды! Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг. Когда нужно с

замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «умри ты сегодня, а я завтра!».

Но может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят *особых* дач? Почему не останавливают длинных чёрных автомобилей? Потому что реалист Сталин давно понял, что всё это жужжанье одно — перевоспитание урок. И перекинул их энергию, натравил на граждан собственной страны.

Вот каковы были законы тридцать лет (до 1947): должностная, государственная, казённая кража? ящик со склада? три картофелины из колхоза? 10 лет! (А с 47-го и 20!) *Вольная* кража? Обчистили квартиру, на грузовике увезли всё, что семья нажила за жизнь? Если при этом не было убийства, то *до одного года*, иногда — 6 месяцев…

Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам: воруй не у меня! воруй у частных лиц! Ведь частная собственность — отрыжка прошлого. И урки — поняли.

Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы! Кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы: не иди в темноте! не возвращайся поздно! не носи часов! не имей при себе денег! не оставляй квартиру без людей!

Замки! Ставни! Собаки!

Наконец, обязательно будет сокращение сроков и конечно именно для уголовников. Эй, побережись, свидетель на суде! — они скоро все вернутся, и нож в бок тому, кто свидетельствовал!

Оттого, если видишь, что залезают в окно, вырезают карман, вспарывают чемодан твоего соседа, — зажмурься! иди мимо! ты ничего не видел!

Так воспитали нас и воры, и — законы!

* * *

И всегда на всё есть освящающая высокая теория. Это всё вытекает из Единственно-Верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человечества — классовой борьбою, и ею одною.

Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим (то есть инженерам, студентам, агрономам и монашкам): вторые устойчиво враждебны диктатуре пролетариата, первые — лишь политически неустойчивы. (Профессиональный убийца лишь политически неустойчив!) Люмпен — не собственник, и поэтому не может он сойтись с классово-враждебными элементами, а охотнее сойдётся с пролетари-

атом (ждите!). Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛАГа и названы они «социально-близкими». (С кем породнишься…)

Когда же эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что: самым заядлым матёрым блатнякам передавалась безотчётная власть на островах Архипелага, на лагучастках и лагпунктах, — власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами и интеллигенцией, власть, которой они не имели никогда в истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и помыслить не могли, — а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? *центровые воры*, верховые уркачи полностью владели лагучастками, они жили в отдельных «кабинках» или палатках со своими временными жёнами. У них были *шестёрки* — лакеи из работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котёл. Уркачи рангом поменьше состояли нарядчиками, помпобытами, комендантами, утром они становились по двое с дрынами у выхода из двухсотместной палатки и командовали: «Выходи без последнего!» Шпана помельче использовалась для битья отказчиков — то есть

тех, кто не имел сил тащиться на работу.

Но и там, где воров не ставили властью, им всё по той же классовой теории поблажали довольно. Если блатари выходили за зону — это была наибольшая жертва, о которой можно было их просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки (о победах, о побегах, о геройстве) и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой никогда не трогал, костры Пятьдесят Восьмой разбрасывал и затаптывал. А *кубики* (леса, земли, угля) потом приписывались им от Пятьдесят же Восьмой. Так легки пути блатных в лагере.

Мне возразят, что только *суки* идут занимать должности, а «честные воры» хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры (в Краслаге, 1941 год) топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осуждённых на смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие и суд, пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжёлого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть-разуть кого-то на морозе?

Что говорить об отнятых пайках?

Нет уж, ни от каменя плода, ни от вора добра.

* * *

Но довольно! Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть «своеобразный кодекс» и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата — не уважали они её ни минуты.

Это племя, пришедшее на землю — ***жить***! А так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни, и какое им дело — для чего эта тюрьма задумана и как страдают другие тут рядом. Они — непокорны, и вот пользуются плодами этой непокорности, — и почему им заботиться о тех, кто гнёт голову и умирает рабом? Им нужно есть — и они отнимают всё, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить — и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать — и при их мужественном виде считается у них

вполне почётным возить с собой подушку и ватное одеяло или перину (тем более что там хорошо прячется нож). У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку, и так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность: на грудях, на животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе; *балдоху* (солнце) с лучами во все стороны; и вдруг около сердца — Ленина, или Сталина, или даже обоих (но это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного). И даже скромную некрупную мораль на руке, всадившей уже десяток ножей под рёбра: «Помни слова матери!» Или: «Я помню ласки, я помню мать». (У блатных — культ матери, но формальный, без выполнения её заветов. Среди них популярно есенинское «Письмо матери» и вослед весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его, это «Письмо», «Вечер чёрные брови насопил», они поют.)

Но! — и в этом они гораздо принципиальнее Пятьдесят Восьмой! — никакой Женька-Жоголь или Васька-Кишкеня с завёрнутыми голенищами, однощёкою гримасою уважительно выгова-

ривающий священное слово «вор», — никогда не поможет укреплять тюрьму: врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом — честь блатаря. Тюрьма создана против его свободы — и он не может работать на тюрьму! (Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58-ю, а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. По безнаказанности блатные и смелы, а кого медведь драл, тот и пня боится.)

Увидеть блатаря с газетой — совершенно невозможно, блатными твёрдо установлено, что политика — щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную, и тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно *тискает р**о**маны*, всегда будет сыт от их добычи и в почёте, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти — фантастическое и довольно однообразное смешение дешёвой бульварщины из великосветской (обязательно великосветской) жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов, — с собственными блатными легендами, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о

роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается: графиня ложится в его «койку», курит он только «Казбек», имеет «луковицу» (часы), а его «прохоря» (ботинки) начищены до блеска.

Их коммуна, а точней — их мир, есть отдельный мир в нашем мире, и суровые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак не зависят от нашего «фраерского» законодательства и даже от съездов Партии. У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но, входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды («прав*и*лки»), основанные на кодексе воровской «чести» и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неотклонимо, даже если осуждённый недоступен и совсем в другой зоне. (Виды казни необычны: могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку.)

И что значит само их слово «фраерский»? Фраерский значит — общечеловеческий, такой,

как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир, наш мир, с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному антиобщественному *кублу*.

Нет, не «перевоспитание» стало ломать хребет блатному миру («перевоспитание» только помогало им поскорей вернуться к новым грабежам), а когда в 50-х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы (*крытки* — назвали их воры).

В этих крытках воры быстро никли, хирели и доходили. Потому что паразит не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком-нибудь, обвиваясь.

Глава 17. Малолетки

Много оскалов у Архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но может быть, мерзее всего он с той пасти, с которой заглатывает *малолеток*.

Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую жизнь 20-х годов. В колонии несовершеннолетних преступников, в труддома — беспризорников брали с улиц, не от семей. Их осиротила Гражданская война, голод её, неустройство, расстрелы родителей, гибель их на фронтах, и тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В трудкоммунах начато было обучение фабрично-заводское, по условиям тех безработных лет это было льготное устройство, и многие парни учились охотно. Может быть, на этом пути дело бы и наладилось.

А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного кодекса 1926 года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей

с 12-летнего возраста, но судить умеренно, не «на всю катушку», как взрослых. Это уже была первая лазейка на Архипелаг для будущих малолеток — но ещё не ворота.

А в 1935 году на податливой глине Истории ещё раз вмял и отпечатал свой палец Великий Злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях — о детях, которых он так любил, лучшим Другом которых был и потому с ними фотографировался. Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, всё наглей нарушающих социалистическую законность, испомыслил он за благо: этих детей с двенадцатилетнего возраста (уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и он осязаемо мог видеть этот возраст) судить *на всю катушку* Кодекса! То есть «с применением всех мер наказания». (То есть и расстрела тоже.)

А тут небольшая помеха: началась Отечественная война. Но Закон есть Закон! И 7 июля 1941 года — через четыре дня после панической речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, — состоялся ещё один Указ Президиума Верховного Совета — что неправильно применяется судами Указ 1935

года: детишек-то судят только тогда, когда они совершили преступление *умышленно*. Но ведь это же недопустимая мягкотелость! И вот в огне войны указывает Президиум: судить детей с применением всех мер наказания (то есть «на всю катушку») также и в тех случаях, когда они совершат преступления не умышленно, а *по неосторожности*!

Вот это так! Может быть, и во всей мировой истории никто ещё не приблизился к такому коренному решению детского вопроса! С 12 лет, за неосторожность — и вплоть до расстрела!

Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей! Вот только когда были обережены колхозные колоски! Теперь-то должна была пополняться и пополняться житница, расцветать жизнь, а порочные от рождения дети становиться на долгую стезю исправления.

И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих! — они незатруднённо ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей! — они со светлыми очами приговаривали детишек к трём, пяти, восьми и десяти годам общих лагерей!

И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет!

И за карман картошки — один карман картошки в детских брючках! — тоже 8!

Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет.

А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингирлауском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшегося с грузовика (и всё равно обречённого пропасть). Так её осудили только на 3 года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара.

И вот когда двенадцатилетние переступали пороги тюремных взрослых камер, уравненные со взрослыми как полноправные граждане, уравненные в дичайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в хлебной пайке, в миске баланды, в месте на нарах, вот тогда сам ГУЛАГ родил звонкое нахальное слово: *малолетка*! И с гордым и горьким выражением сами о себе стали повторять его эти горькие граждане — ещё не граждане страны, но уже граждане Архипелага.

Так рано и так странно началось их совершеннолетие — с переступа через тюремный порог.

На двенадцати– и четырнадцатилетние голов-

ки обрушился уклад, которого не выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой жизни не должны были этим укладом расплющиться, а — врасти и приспособиться. Как в раннем возрасте без затруднения усваиваются новые языки, новые обычаи — так малолетки *с ходу* переняли и язык Архипелага, — а это язык блатных, и философию Архипелага, — а чья ж это философия?

Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядовитый гниющий сок — и так привычно, будто жидкость эту, эту, а не молоко, сосали они ещё младенцами.

Они и на воле росли не в охлопочках, не в бархате: не дети властных и обеспеченных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали к заводской проходной и бежали из ФЗО. Малолетки — это дети трудящихся. Они и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не всё там было обнажено до последней крайности, иное в благопристойных одеждах, иное смягчено добрым словом матери. На Архипелаге же малолетки увидели мир, каким представляется он глазам четвероногих: только сила есть правота! только хищник имеет право жить! И в несколько *дней*

дети становятся тут зверьми! — да зверьми худшими, не имеющими этических представлений (глядя в покойные огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки, как откажешь им в этике?). Малолетка усваивает: если есть зубы слабей твоих — вырывай из них кусок, он — твой!

Есть два основных вида содержания малолеток на Архипелаге: отдельными детскими колониями (главным образом младших малолеток, кому ещё не исполнилось пятнадцати лет) и (старших малолеток) — на смешанных лагпунктах, чаще с инвалидами и женщинами.

Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских правил.

Вот Юра Ермолов. Он рассказывает, что ещё в 12 лет (в 1942 году) видел вокруг себя много мошенничества, воровства, спекуляции, и сам для себя так рассудил жизнь: не крадёт и не обманывает только тот, кто боится. А я — не хочу ничего бояться! И значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на время его жизнь пошла всё-таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе светлых примеров. Однако,

раскусив Любимого Отца (лауреаты и министры говорят, что это было непосильно), он в 14 лет написал листовку: «Долой Сталина! Да здравствует Ленин!» Тут-то его и схватили, били, дали 58–10 и посадили с малолетками-урками. И Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон.

И что ж увидел он в детской колонии? «Ещё больше несправедливостей, чем на воле. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными». (Тут надо пояснить, что паёк младших малолеток — это не обычный лагерный паёк. Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным, оно не забыло, что эти самые дети — будущие хозяева коммунизма. Поэтому им добавлено в паёк и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же *воспитателям* удержаться от соблазна запустить черпак в котёл малолеток? И как заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть, из выросших этих малолеток кто-нибудь расскажет нам ещё историю помрачнее «Оливера Твиста»?)

Самый простой ответ на одолевающие несправедливости — твори несправедливости и сам! Это — самый лёгкий вывод, и он теперь надолго

(а то и навсегда) станет жизненным правилом малолеток.

Но вот интересно! — вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются друг против друга. Друг во друге — не видят они врагов! Они вступают в эту борьбу — коллективом, дружиной! Ростки социализма? внушение воспитателей? — ах, не бормочите, лепетуны! Это снисходит на них закон воровского мира. Ведь воры — дружны, ведь у воров — дисциплина и паханы. А малолетки — это воровские пионеры, они усваивают заветы старших.

В детских колониях — кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. С ними и борьба!

Вот ведут под строгим конвоем колонну малолеток по городу, кажется — даже стыдно так серьёзно охранять малышей. А не тут-то было! Они сговорились — свист!! — и, кто хочет, бегут в разные стороны! Что делать конвою? Стрелять? В кого именно? Да можно ли в детей?.. На том и кончились их тюремные сроки! Сразу лет сто пятьдесят убежало от государства. Не нравится быть смешным? — не арестовывай детей!

Будущий романист (тот, кто детство провёл среди малолеток) опишет нам множество затей малолеток, как они озоровали в колониях,

мстили и гадили воспитателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима у малолеток из безнаказанности развивается большая дерзость.

Интерес к женскому телу развивается у мальчиков вообще рано, а в камерах малолеток он ещё сильно раскаляется красочными рассказами и похвальбою. И они не упускают случая разрядиться. Это уже — малолетки лет по шестнадцати, это — зона взрослая, смешанная. (Это — в ней тот самый барак на 500 женщин, где все соединения происходят без завешиваний и куда малолетки с важностью ходят как мужчины.)

В детских колониях малолетки трудятся четыре часа, а четыре должны учиться (впрочем, вся эта учёба — тухта). С переводом во взрослый лагерь они получают 10-часовой рабочий день, только уменьшенные трудовые нормы.

После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского пайка, на который зарился надзор, — и поэтому надзор перестаёт быть главным врагом. Появились какие-то старики, на которых можно испробовать свою силу. Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики,

которые охотно руководят и мировоззрением малолеток, и их тренировками в воровстве. Учиться у них — заманчиво, не учиться — невозможно.

Для *вольного* читателя слово «воры», может быть, звучит укоризненно? Тогда он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире, как в дворянской среде «рыцарь», и даже ещё уважительнее, не в полный голос, как слово священное. Стать достойным вором когда-нибудь — это мечта малолетки.

И во взрослых лагерях малолетки сохраняют главную черту своего поведения — дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре и зле. Для них то всё хорошо, чего они хотят, и то всё плохо, что им мешает. Наглую нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это — самая выгодная в лагере форма поведения.

Вот несут из хлеборезки под конвоем своих бригадников хлебный ящик. Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли. Из двадцати

они успевают подхватить только четырнадцать. «Дравшихся» малолеток уже и помина нет.

Чем слабей жертва — тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого старика отнимают пайку в открытую, рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет отдать. «Я с голоду умру!» — «А тебе и всё равно скоро подыхать, какая разница!»

Довольно неосторожному вольняшке зайти в зону с собакой и на миг отвернуться — шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоной: собака вмиг отманена, зарезана, ободрана и испечена.

Краше нет воровства и разбоя! — они и кормят, они и веселы. Но и простая разминка, бескорыстная забава и беготня нужны молодому телу. Нужды нет, что они бегут по ногам, по вещам, что-то опрокинули, что-то испачкали, кого-то разбудили, кого-то сшибли, — они играют!

В чём не находят малолетки забавы! — схватить у инвалида гимнастёрку и играть в перекидашки — заставить его бегать, как ровесника. Он обиделся, ушёл? — так он её и не увидит! продали за зону и прокурили. (Теперь к нему же и подойдут невинно: «Папаша, дай закурить! Да ладно, не сердись. Чего ж ты ушёл, не ловил?»)

Малолетки безумышленны, они вовсе не ду-

мают оскорбить, они не притворяются: они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших воров! Они так ухватили мир! — Во время долгих проверок в зоне малолетки гоняются друг за другом, торпедируя толпу, валя одних людей на других («Что, мужик, на дороге стал?»), или бегают друг за другом вокруг человека, как вокруг дерева, тем удобнее дерева, что ещё можно им заслоняться, дёргать, шатать, рвать в разные стороны.

Это и в весёлую-то минуту оскорбительно, но когда переломлена вся жизнь, человек заброшен в далёкую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть распространяется в нём, мрак стоит в его глазах… — пожилых измученных людей охватывает злоба, они кричат им: «Чтоб вас чума взяла, змеёныши!», «Падлюки! Бешеные собаки!», «Хуже фашистов зверьё!», «Вот напустили нам на погибель!» (И столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали — они бы убили.) Да! Так и кажется, что их напустили нарочно — потому что и долго думая, лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелей.

Так готовились маленькие упрямые звери совместным действием сталинского законодательства, гулаговского воспитания и воровской

закваски. Нельзя было изобрести лучшего способа оскотинения ребёнка! Нельзя было плотней и быстрей вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь!

Витя Коптяев с 12-летнего возраста сидит непрерывно. Осуждён *четырнадцать* раз, из них 9 раз — за побеги. «На свободе в законном порядке я ещё не был». Юра Ермолов после освобождения устроился работать, но его уволили: важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось «идти на гастроли». И на новый срок.

Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет (до Указа от 24.4.1954, чуть послабившего: освободившего тех малолеток, кто отбыл больше одной трети, — да ведь это из *первого* срока! а если их четырнадцать?). Двадцать жатв они собрали. Двадцать возрастов они свихнули в преступление и разврат.

Кто смеет наводить тень на память нашего Великого Корифея?

* * *

Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58-ю очень рано. Например, Гелий Павлов получил её в 12 лет (с 1943 по 1949 сидел в колонии в Заковске). По 58-й вообще *никакого*

возрастного минимума не существовало! Даже в популярных юридических лекциях — Таллин, 1945 год, — говорили так. Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье, — уж это, очевидно, рекорд!

Где, как не в этой главе, помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих родителей?

Ещё счастливы были дети женщин из религиозной общины под Хостой. Когда в 1929 матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах и хозяйствах. Дети сами обихаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учились в школе, а родителям на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы пострадать за Бога, как и матери их. (Разумеется, Партия скоро дала им эту возможность.)

По инструкции «разъединять» сосланных детей и родителей — сколько этих малолеток было ещё в 20-е годы? И кто нам расскажет их судьбу?..

Вот — Галя Венедиктова. Отец её был петроградский типограф, анархист, мать — белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой шестой день рождения (1933), его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась — ни отца, ни матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули: женщины и дети едут

в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили семьёй, но не дожили трёх лет сроку: арестовали снова мать, а отца расстреляли, мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом. Обычай был там такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Директор внушал ей: «Вы дети врагов народа, а вас ещё кормят и одевают!» (Нет, до чего гуманная эта диктатура пролетариата!) Стала Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на своём первом политическом допросе. — С тех пор она имела *червонец*, отбыла, впрочем, не полностью. К сорока годам одинокая живёт в Заполярье и пишет: «Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна любовью к нему…»

Вспоминает и Светлана Седова: «Никогда мне не забыть тот день, когда все наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. С шести лет я была “дочерью изменника родины” — страшней этого ничего в жизни быть не может».

Брали их в приёмники НКВД, в *спецдома*. Большинству меняли фамилии, особенно у кого громкая. (Юра Бухарин только в 1956 году узнал свою истинную фамилию.)

Вот восьмиклассница — Нина Перегуд. В ноябре 1941 пришли арестовывать её отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная, но несожжённая её частушка. Так бы и лежать ей там, но Нина по суетливости решила тут же её изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил её. Нина была арестована. Изъяты были для следствия её дневники с 6-го класса и контрреволюционная фотография: снимок Варваринской уничтоженной церкви. «О чём говорил отец?» — добивались рыцари с горячим сердцем и чистыми руками. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах (хотя поразиться в них она ещё не могла: не было у неё ещё прав).

В лагере её, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала её: а подруги сдают экзамены! Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать преступница, исправляясь: что сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и какая гадкая я! Оперы жали на эту педаль: «Но ты ещё можешь к ней подтянуться! *Помоги* нам!»

О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь! Вам нигде не придётся, краснея и коснея, встать и признаться, какими же вы помоями заливали души!

А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Это вот как было. Её отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков — всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего десять лет. Взяли её в детский дом (Ивановская область). Там она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом туже, чтобы не сняли во время сна. Борьба шла долго, Зоя озлоблялась: вы можете меня задушить, с мёртвой снимете! Тогда, как не поддающуюся воспитанию, её отослали в детдом *для дефективных*! Здесь уже были подонки, стиль малолеток худший, чем описан в этой главе. Борьба за крест продолжалась. Зоя устояла: она и здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. «У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся семья».

И она — стала политической! Чем больше воспитатели и радио славили Сталина, тем верней угадала она в нём виновника всех несчастий. И, не поддавшаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их! Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. (Мало-

летки любят спорт! — важно только правильно их направить.) Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. А надписи всё появляются, и ребята хохочут. Наконец в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевёрнутой и в пустоте её — кал.

Террористический акт! Приехали гебисты. Начались по всем их правилам допросы и угрозы: «Выдайте банду террористов, иначе *всех расстреляем* за террор!» (А ничего дивного, подумаешь, полторы сотни детей расстрелять. Если б Сам узнал — он бы и сам распорядился.)

Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила:

— Это сделала всё я одна! А на что другое годится голова папаши?

И её судили. И присудили к *высшей мере*, безо всякого смеха. Но, из-за недопустимой гуманности закона о возвращённой смертной казни (1950), расстрелять 14-летнюю вроде не полагалось. И потому дали ей десятку (удивительно, что не двадцать пять). До восемнадцати лет она была в обычных лагерях, с восемнадцати — в Особых. За прямоту и язык был у неё и второй лагерный срок и, кажется, третий.

Освободились уже и родители Зои, и братья,

а Зоя всё сидела.

Да здравствует наша веротерпимость!

Да здравствуют дети, хозяева коммунизма!

Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих!

Глава 18. Музы в ГУЛАГе

Принято говорить, что *всё возможно* в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость, и любой оборот предательства, дико-неожиданная встреча, и любовь на склоне пропасти — всё возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто-то перевоспитался казёнными средствами через КВЧ (Культурно-Воспитательная Часть), — уверенно отвечайте: брехня!

Перевоспитываются в ГУЛАГе все, перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств, перевоспитываются в разных направлениях — но ни один ещё малолетка, а тем более взрослый не перевоспитался от средств КВЧ.

Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей (по норме один воспитатель на 250 опекаемых) — обязательно из «близких пролетариату слоёв», стало быть, интеллигенты (мелкая буржуазия) конечно не подходили (да и приличнее было им махать киркою). Воспитатель с утра должен проводить заключённых на работу, после этого проверить кухню (то есть его хорошо покормят), ну и мож-

но пока идти досыпать к себе в кабинку. КВЧ «сама не имеет прав ареста», «но может просить администрацию» (та не откажет). К тому же воспитатель «систематически представляет отчёты о настроении заключённых». (Имеющий ухо да слышит! Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперчекистскую, но в инструкциях это не пишется.)

Однако мы должны огорчить читателя, что речь идёт о конце 20-х — начале 30-х годов, о лучших расцветных годах КВЧ, когда в стране достраивалось бесклассовое общество и ещё не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось.

И как были многоцветны, как разнообразны формы работы! — как сама жизнь. Организация соревнования. Борьба за трудовую дисциплину. Культпоходы. Беседы с отказчиками. Профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся (очень пёрли урки учиться на шоферов: свобода!). А красные уголки в каждом бараке! Цифры заданий! Диаграммы выполнения. А плакаты какие! Какие лозунги!

В то счастливое время над мрачными просторами и безднами Архипелага реяли Музы — и первая, высшая среди муз — Полигимния, муза

гимнов (и лозунгов).

«Отличной бригаде – хвала и почёт!
Ударно работай – получишь зачёт!»

Или:

«Включимся в ударный поход имени 17-й годовщины Октября!»

Ну, кто устоит?

А — драмработа с политически заострённой тематикой (немного от музы Талии)? Например: обслуживание Красного Календаря! Живая газета! Музыкальный скетч «Марш статей Уголовного кодекса» (58-я — хромая Баба-яга)! Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт:

Слушай, Волга-река!
Если рядом с зэ-ка
Днём и ночью на стройке чекисты, —
Это значит – рука
У рабочих крепка,
Значит, в ОГПУ – коммунисты! —

и сразу же все штрафники, и особенно рецидивисты, бросают карты и просто рвутся на работу!

Ну и печать, конечно, печать! — самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране — свобода печати: наличие печати в заключении! Да! А в какой стране это ещё возможно? Газеты помещают и фото ударников. Газеты указывают. Газеты вскрывают. Газеты освещают и вылазки классового врага. И вообще газеты отражают лагерную жизнь, как она течёт, и являются неоценимым свидетельством для потомков.

Вот, например, газета архангельского домзака в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключённые: «плевательницы, пепельницы, клеёнка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие о генеральной линии партии лозунги на стенах — вот *заслуженные плоды*, которыми пользуются лишённые свободы!»

Да, дорогие плоды!

* * *

И куда, куда это кануло всё?.. О, как недолговечно на Земле всё прекрасное и совершенное! Такая напряжённая бодрая оптимистическая система воспитания — и куда же?

Уже не стала цениться художественно-поэтиче-

ская форма лозунгов, и лозунги-то пошли самые простые: выполним! перевыполним!

Или во что превратились политбеседы? Вот на 5-й ОЛП Унжлага приезжает из Сухобезводного — лектор (это уже 1952). После работы загоняют заключённых на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне правильно читает нужную своевременную лекцию: «О борьбе греческих патриотов». Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга, никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция, встаёт Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и спрашивает: «Гражданин начальник! А скажить — а кому бы *нам* написать?..» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет.

Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это: на заявлении заключённого начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о его поведении, разнести по комнатам письма, выданные цензурой; подшивать газеты и прятать их от заключённых, чтоб не раскурили; раза три в год давать концер-

ты самодеятельности. Ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально.

Да! Вот ещё важная работа, вот: содержать ящики! Иногда их отпирать, очищать и снова запирать — небольшие буровато-окрашенные ящички, повешенные на видном месте зоны. А на ящиках надписи: «Верховному Совету СССР», «Совету министров СССР», «Министру Внутренних Дел», «Генеральному Прокурору».

Пиши, пожалуйста! — у нас свобода слова. А уж мы тут разберёмся, что куда кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает.

В смрадной бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле светится коптящий огонёк КВЧ. Но и на такой огонёк стягиваются из разных бараков, из разных бригад — люди. Одни с прямым делом вырвать из книжки или газеты на курево, достать бумаги на помиловку или написать здешними чернилами (в бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком: ведь чернилами фальшивые печати ставятся!). А кто — распустить цветной хвост: вот я культурный! А кто — потереться и потрепаться меж новых людей, не надоевших своих бригадников. А кто

— послушать да куму стукнуть. Но ещё и такие, кто сами не знают, зачем необъяснимо тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние полчаса, вместо того чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу.

Эти посещения КВЧ незаметными, не наглядными путями вносят в душу толику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в этом-то есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых оголодавших затрёпанных людей. Здесь говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижно-свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И — об искусстве рассуждают здесь, да иногда как ворожебно!

Как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвёл по земле слабосветящийся мреющий круг — и он вот-вот погаснет, но пока не погас — тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса.

Да ещё ведь здесь кто-то на гитаре перебирает. Кто-то напевает вполголоса — совсем не то, что

разрешается со сцены. И задрожит в тебе: жизнь — есть! она — есть! И, счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить.

Если в лагере есть чудаки (а они всегда есть), то уж никак их путь не минует КВЧ, заглянут они сюда обязательно.

Вот профессор Аристид Иванович Доватур — чем не чудак? Петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря и посадили в лагерь. В душе его всё ещё — недоистолкованные тексты, и в лагере он — как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатистика, а ещё раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в лагере-то — по латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке — и сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его стучит.

А вот этот чудак — всегда в КВЧ после работы, где ж ему быть ещё. У него большая голова, круп-

ные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это — Камилл Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать Новый Театр, театр будущего. Кто ж тогда мог предвидеть и как пойдёт это будущее, и как будут сажать режиссёров? Обе Мировые войны Гонтуар провоевал против немцев: Первую — на Западе, Вторую — на Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине… Какой?.. Когда?..

Но уж конечно самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната — это для них. Если кого освободят от общих напостоянку — то только их. Изо всех служителей муз одни они создают настоящие ценности — те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы — да это с них и не спрашивают. А просто пишут большие копии с открыток — кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таёжной и тундреной глуши не найдёшь. Малюют художники и ковры с красавицами,

плавающими в гондолах, с лебедями, закатами и замками — всё это очень хорошо потребляется товарищами офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики и для себя, и надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще, художникам жить в лагере можно.

Скульпторам — хуже. Скульптура для кадров МВД — не такая красивая, не привычная, чтобы поставить, да и место занимает мебели, а толкнёшь — разобьётся. Редко работают в лагере скульпторы, и уж обычно по совместительству с живописью.

Если объявится в лагере поэт, — разрешается ему под карикатурами на заключённых делать подписи и сочинять частушки — тоже про нарушителей дисциплины.

А прозаиков и вовсе в лагере не бывает.

Когда русская проза ушла в лагеря, —

догадался советский поэт. Ушла — да назад не пришла. Ушла — да не выплыла…

Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию: на увечья, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей развитых, зрелых, богатых

культурой оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтёра.

Обо всём объёме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, — нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожжённых перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий могильник. Ещё стихи читаются губами к уху, ещё запоминаются и передаются они или память о них — но прозу не рассказывают прежде времени, ей выжить трудней, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности Архипелага.

А между тем именно Архипелаг давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть — и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь.

Так ушли в землю прозаики-философы. Прозаики-историки. Прозаики-лирики. Прозаики-импрессионисты. Прозаики-юмористы.

Так невиданная философия и литература ещё

при рождении погреблись под чугунной коркой Архипелага.

А гуще всего среди посетителей КВЧ — участников художественной самодеятельности. Это отправление — руководить самодеятельностью — осталось и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым.

На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ вызывает аккордеониста и говорит ему:

— Вот что. Обеспечь хор! И чтоб через месяц выступать.

— Так я ж нот не знаю, гражданин начальник!

— А на черта тебе ноты? Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают.

И объявляется набор, иногда вместе с драмкружком.

Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне, может быть, есть три-четыре настоящих любителя пения, — но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Валят всё новые и новые участники, голосов никаких, никогда не пели, но все просятся! Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. (А

дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по зоне — на репетицию и с репетиции, и вот в эти-то два часа они своё добирали.)

А для кого-то хор и драмкружок были не просто местом встречи, но опять-таки подделкой под жизнь, напоминанием, что жизнь всё-таки бывает, вообще — бывает… Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой — и раздаётся для переписки ролей. Заветная театральная процедура! А само распределение ролей! А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться! Кто что наденет! Как загримируется! В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платье и с румянцем на щеках.

А иногда уже всё отрепетировано, но начальник КВЧ майор Потапов (СевЖелДорлаг), комяк, берёт программу и видит: «Сомнение» Глинки.

— Что-что? Сомнение? Никаких сомнений! Нет-нет, и не просите! — и вычёркивает своей рукой.

Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛК, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был — ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто

из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через Красную Пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика: у меня лучше театр, чем у соседа! В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости, хвастаться.

Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в Магадане, на всех крупных гулаговских островах (ФОТО 11). Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими, они давали в городском здании спектакли для вольных.

Московский ансамбль, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, а жил на Матросской Тишине, вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую заставу. Какая удача! — О, странное ощущение! Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актёров-зэков! Смех, улыбки, пение, белые платьица, чёрные сюртуки…

Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58–10, пять лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого — её и моего учителя на искусствоведческом

отделении МИФЛИ[53]. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный (танцор Большого театра), но был ещё и духовный отец в театральном искусстве — Освальд Глазунов (Глазнек), один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были захвачены немцами на даче под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену большой Родине. Теперь оба были в ансамбле.

Изольда Викентьевна Глазнек уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели её в каком-то необычном для нашего времени танце. Танцевала она в посеребренном тёмном закрытом костюме на полуосвещённой сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев — показ женского тела, и на этом почти всё. А её танец был какое-то духовное мистическое напоминание.

---

[53] Примечания: 53

Московский институт истории, философии и литературы; с 1941 года влился в Московский университет. А. И. Солженицын, учась на физико-математическом факультете Ростовского государственного университета (с 1936 по 1941), поступил в 1939 году на заочное отделение искусствоведческого факультета МИФЛИ, где учился два года до войны. — *Примеч. ред.*

А через несколько дней внезапно, по-воровски, как всегда готовятся этапы на Архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность.

Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство: разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Ну зато ж и досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера: старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу.

В день этапа жены Освальд брёл с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приёмной дочери, как будто только одна она ещё его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит.

Я скульптурно запомнил их: как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки смотрела на него сострадающе и старалась не плакать.

Ну да что говорить, — старуха не оправдывала своей пайки…

Глава 19. Зэки как нация

(Этнографический очерк Фан Фаныча)

В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие.

Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал.

В результате попытаемся сейчас доказать, что зэки составляют особую отдельную *нацию*.

Кто из нас ещё в средней школе не изучал широко известного единственно-научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это исторически сложившаяся общность людей, имеющих общую территорию; общий язык; общность экономической жизни; общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архипелага вполне удовлетворяют! — и даже ещё гораздо больше! (Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна.)

Наши туземцы занимают вполне определённую ***общую территорию*** (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся), где другие народы не живут. ***Экономический уклад*** их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства). Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте. Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже распорядок дня у них — един по всем островам и обязателен для каждого зэка. (Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые распорядок дня, пищу и одежду?)

Что понимается в научном определении нации под общностью ***культуры*** — там недостаточно расшифровано. Единства науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по

той причине, что у них нет письменности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, у большинства — по недостатку именно культуры, у зэков — по избытку цензуры.) Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке — общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чём можно только мечтать другим народам. Именно ясно выраженный *народный характер* сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их ещё один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с ***языком*** и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином *матерщина* (от латинского *mater*). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план.

Всё сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность

человека.

Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он пополняется не обычным способом деторождения? Ответим: да, он пополняется техническим способом *посадки* (а своих собственных детёнышей по странной прихоти отдаёт соседним народам). Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе — и мы же не перестаём от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом?

Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его *прекращают*, сомненья быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток.

Два слова о самом термине зэки. До 1934 года официальный термин был *лишённые свободы*. Сокращалось это «л/с», и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как «элэсов» — свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключённые» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть, и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше *свободы*, чем тюрьмы). Сокращённо стали

писать: для единственного числа «з/к» (зэ-к*а*), для множественного — «з/к з/к» (зэ-ка зэ-ка). Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переиначивать: в одних местах говорили «Захар Кузьмич», или (Норильск) «заполярные комсомольцы», в других (Карелия) больше «зак» (это верней всего этимологически), в иных (Инта) — «зык». Мне приходилось слышать «зэк». Во всех этих случаях оживлённое слово начинало склоняться по падежам и числам. Пишем же мы это слово через «э», а не через «е» потому, что иначе нельзя обеспечить твёрдого произношения звука «з».

* * *

Климат Архипелага — всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря. Климат Архипелага — *двенадцать месяцев зима, остальное лето*. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы.

Одеты зэки даже и летом в мягкую серую бро-

ню телогреек. Одно это вместе со сплошною стрижкою голов у мужчин придаёт им единство ***внешнего вида***: осуровленность, безличность. Но, даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц — всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно-тупо либо с подобострастием, если ему о чём-нибудь нужно вас просить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую ***речевую манеру*** — как бы толкающую звуками, злонасмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий.

Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передаётся новичкам весь кодекс *правильного*

зэческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс и даёт то, что мы называем *национальным типом зэка*. Печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом — русского, или татарина, или поляка.

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертою оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков.

* * *

Отношение к казённой ***работе***. Хорошо известно зэкам: всей работы не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрей и присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). *Работа дураков любит.*

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу — неизбежно, но там-то, в рабочий день, надо не *вкалывать*, а «ковыряться», не *мантулить*, а *кантоваться*,

филонить (то есть не работать всё равно). Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто, наотрез — это бы его погубило. Но он — *тянет резину*. «Тянуть резину» — одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — главное спасительное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Зэк выслушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже чаще всего — и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремлённых неутомимых командиров производства. Естественно, возникает желание — кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, — ведь ему же русским языком было сказано!..

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? ведь работа сама не сделается, усвоили зэки прочно: *не делай сегодня того, что можно сделать завтра*. На зэка *где сядешь, там и слезешь*. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где её, может быть, удастся не потратить. (Понятие о калориях — у туземцев есть, и очень популярно.) Между собою зэки так откровенно и говорят: *кто везёт, того и погоняют*

(а кто, мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк *лишь бы день до вечера*.

Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везёт, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей. Находим мы у Даля[54] также и другое чисто зэковское выражение: «живёт *как бы день к вечеру*». Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие:

— Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь это же и есть принцип лагерной резины!).

— Дай Бог всё уметь, да не всё делать.

— Господской работы не переделаешь.

— Ретивая лошадка недолго живёт.

— Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. (Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат.)

---

[54] Примечания: 54

Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. — М.: Худож. лит., 1957. — С. 257.

Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революций и социализма екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения, — пожимают друг другу чёрные корявые руки?.. Этого не может быть!

Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению.

Из отношения к работе вытекает у зэка и ***отношение к начальству***. По видимости он очень послушен ему, очень боится его, гнёт спину, когда начальник его ругает. На самом деле зэк совершенно презирает своё начальство — и лагерное, и производственное. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются между собой: *было бы сказано, а забыть успеем!* Зэки внутренне считают, что они превосходят своё начальство — и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств.

Вообще, у зэков вся ***шкала ценностей*** — перепрокинутая, но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за крохотное зеркальце они отдают жирную свинью,

за дешёвые бусы — корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, — ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего — у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки *нацело лишены патриотического чувства*, они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни:

Будь проклята ты, Колыма!
Придумали ж гады планету!..

Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии *побегами*.

Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая *пайка* — это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, который мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. На втором месте идёт махорка или самосад, причём махорка у них является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На третьем месте идёт баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев).

Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница, они не применяют снотворных, спят все ночи напролёт, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя под конвоем в строю на работу — тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрей идёт срок. И ещё: *ночь для сна, а день для отдыха*.

Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имён. Но это — не порок нашего метода, это отражение того ***стадного строя жизни***, который ведёт этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства (они уверены, что их народ будет пополнен другим путём).

Вот вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою: бритые головы, шапки-нашлёпки, лох-

мотья связаны верёвочками, лица злые, кривые (откуда у них на баланде эти жилы и силы?), — и двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей — туп-туп, туп-туп, *отдай пайку, начальничек!* Посторонись, кто не нашей веры! Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зэков — ***жизненного напора***(и это не идёт в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора). В жестоких островных условиях от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь — и в этом пробитии дороги себе за счёт других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: *совесть? в личном деле осталась*. При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом Архипелага: *лучше ссучиться, чем мучиться*.

Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, ***изворотливостью*** в труднейших обстоятельствах. Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам: для того чтобы сохранить от гибели своё жалкое ублюдочное добро — какой-нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку,

иголку-работницу.

Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять ***гибкость поведения*** — от грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем необязательному. Эта же гибкость поведения отражается и известным правилом зэков: *дают — бери, бьют — беги.*

Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их ***скрытность***. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся, как травка, — от ветра и сапога. (Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых стукачей. Скрывать надо планы, расчёты, надежды — готовится ли он к большому «побегу» или надумал, где собрать стружку для матраса.

Скрытность зэка вытекает из его ***круговой***

недоверчивости: он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нём особенно сильное подозрение. *Закон-тайга*, вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества — жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называют «сыном ГУЛАГа». Это у них — как бы звание почётного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни.

Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых ***заповедей зэков***. Как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на Архипелаге не пропадёшь.

Есть такие заповеди, как: *не стучи* (как это понять? очевидно, чтоб не было лишнего шума); *не лижи мисок*, то есть после других, что считается у них быстрой и крутой гибелью. *Не шакаль.*

Наконец, существует сводная заповедь: *не верь, не бойся, не проси!* В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий национальный характер зэка.

Как можно управлять (на воле) народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью?..

Страшно подумать.

Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути.

Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом всё более и более наблюдаем: ***душевная уравновешенность***, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на своё место во вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью, напротив: он понимает её как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф: будто где-то существуют «ворота Архипелага» (сравнив античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись: *«Не падай духом!»*, а на обратной стороне для выходящего: *«Не слишком радуйся!»* И главное, добавляют зэки: надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он

хмурит брови на своём грубом обветренном лице и говорит: *глубже шахты не опустят*.

Зэк всегда ***настроен на худшее***, он так и живёт, что постоянно ждёт ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим.

Самое распространённое среди них мировоззрение — ***фатализм***. Это — их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. При такой тёмной судьбе сильны у зэков многочисленные ***суеверия***. Одно из них тесно примыкает к фатализму: если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте — обязательно *погоришь на этап*.

Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки воспринимают своё устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях — как победу ***жизнелюбия***. Достаточно череде несчастий хоть несколько разредеть, ударам судьбы несколько

ослабнуть — и зэк уже выражает ***удовлетворение жизнью*** и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» перевозчик Семён Толковый выражает это чувство так:

> «Я… довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И *дай Бог всякому такой жизни.* – (Курсив наш. – *А. С.*) – Ничего мне не надо, и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет».

Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А. П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?

До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости.

Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого,

казалось бы, атеистического народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит) — тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить: на том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, — он ни во что не верит. Но лишённый зрения абстрактного, лишённый исторического расчёта, он с дикарскою наивностью отдаётся вере в любой дальний слух, в туземные чудеса.

Давний пример туземного ***легковерия*** — это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так называемую Амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это — не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Пришествием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на тёплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная

вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтверждённая ни единым реальным чудом, однако, очень живуча и упорна.

И ещё есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни, — это ***тайная жажда справедливости***.

Начиная с попадания зэков на Архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить, и ранить так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.)

Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности — другая туземная черта: любовь ***рассказывать о прошлом***. У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом (особенно — женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Зэки же в

этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. Слова из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку всё: и как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. (Часами они слушают, кто как «попал», и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько.)

Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в «Мёртвый дом» — и говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно: потому что в «Мёртвый дом» попадали за преступление, и вспоминать о нём каторжникам было тяжело.

На Архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств, — но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого «преступления», — и поэтому нет на Архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории, чем — «как попал».

Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют ещё и другую цель и другой смысл. Насколько

неустойчиво настоящее и будущее зэка — настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем зэк). Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берёт назад те высоты, с которых его свергла жизнь (а ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика, и у мальчишки подсобника маляра ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссёра, это надо иметь в виду).

Зэки ценят и любят ***юмор*** — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор — их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы совершенно невозможна.

Переходя к вопросу о ***языке*** зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся ещё специфические

трудности.

Одна из них — спекшаяся смесь языка с руганью, на что мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя делить живое!), но и помещать всё как есть на научные страницы мешает нам забота о нашей молодёжи.

Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа зэков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или «урками»), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива — документ, марочка — носовой платок, угол — чемодан, луковица — часы, прохоря — сапоги). Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают:

> свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться; филонить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фитиль; шестёрка;

сосаловка; отрицаловка; с понтом; гумозница; шалашовка; бациллы; хилять под блатного; заблатниться; и другие, и другие.

Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик — *на цырлах!* Его можно перевести на русский язык только сложно-описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цырлах значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием — и всё это одновременно.

Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие.

Но это попечение — уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на Архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте, — то есть не только в смысле отдела кадров, но: не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так до сих пор не хватало русскому

языку: «с ходу», «всю дорогу», «по новой», «раскурочить», «заначить», «фраер», «дурак, и уши холодные», «она с парнями шьётся» и ещё многие, многие!

Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну, и прежде всего в язык молодёжи. Это подаёт надежду, что в будущем процесс пойдёт ещё решительней и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть, даже и составят его украшение.

Но тем трудней становится задача исследователя: разделить теперь язык русский и язык зэческий!

В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались: они полагали, что эти расспросы ведутся для кума (душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы). Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою (дорогих сортов они не курят), они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность

своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, в других — Фан Фаныч. Надо сказать, что на Архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы.

Автор полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация этническим объёмом во много миллионов человек.

Глава 20. Псовая служба

Не в нарочитое хлёсткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали: служба их — та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за *работой* отдельной собаки, вырабатывают у неё *хорошую злобность*.

А ещё на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? «Начальство, начальники» — слишком общо, относится и к воле, ко всей жизни страны, да и затёрто уж очень. «Хозяева» — тоже. Называть их прямо «псы», как в лагере говорят? — как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово *лагерщики*: оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника», и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют.

Так вот о ком эта глава: о лагерщиках (и тюремщиках сюда же). Можно бы с генералов начать, и славно бы это было — но нет у нас материала.

Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко.

В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже.

Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: «Кто из вас очерствел, чьё сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключение — уходите из этого учреждения!» Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? И кто этому внял? Ни «террор как средство убеждения», ни аресты по признаку «сомнительности», ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера — не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за эти годы уходил из Органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться, — кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был чёрств — тот-то и остался.

Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. *Старый чекист!* — кто не слышал этих слов, произносимых протяжно, в знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но

без бульдожьей хватки, говорят: «А начальник там ста-арый чекист!» «Старый чекист» — ведь это, по меньшей мере, значит: и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии, всем угодил.

Сходство жизненных путей и сходство положений — рождает ли сходство характеров? Вообще — нет. Для людей, значительных духом и разумом, — нет, у них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умственный, — у них сходство характеров разительное, и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные *всеобщие* черты.

Спесь. Он живёт на отдельном острове, слабо связан с далёкой внешней властью, и на этом острове он — безусловно первый: ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь — самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок: всякий жалобщик всегда оказывается неправ (подавлен). У него — лучший на острове дом. Лучшее средство передвижения. Каждый день и каждый обиходный случай даёт им зримо видеть своё пре-

восходство: перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают.

Из самодовольства всегда обязательно следует ***тупость***. Заживо обожествлённый всё знает доконечно, ему не надо читать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего, достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические и этнографические исследования — но даже для смеха нельзя представить себе на всём Архипелаге одного такого лагерщика!

Самовластие. Самодурство. В этом лагерщики вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX веков. Бесчисленны примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых — показать власть. Чем дальше в Сибирь и на Север — тем больше, но вот и в Химках, под самой Москвой (теперь уже — в Москве), майор Волков замечает 1 мая, что зэки не веселы. Приказывает: «Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным — в кондей!»

Всем лагерным начальникам свойственно ***ощущение вотчины***. Они понимают свой лагерь

не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда — и всё самовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство друг перед другом. Начальник одного кенгирского лагпункта: «А у меня профессор в бане работает!» Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под корень: «А у меня — академик дневальным, параши носит!»

Жадность, ***стяжательство***. Это черта среди лагерщиков — самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур — но обогатиться за счёт бесплатного труда зэков и за счёт государственного имущества старается каждый. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика, и никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого.

В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата (с двойными и тройными надбавками «за полярность», «за отдалённость», «за опасность»). Ни — премирование. Ни — исключительно выгодный расчёт стажа. Нет! Ещё на Соловках

начальники стали присваивать себе из заключённых — кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался (и сверху никогда не запрещался) этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. Не стаканами, а вёдрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счёт пайка заключённых — обязательно это делал!

От старых крепостников тем и отличаются лагерные хозяева, что власть их — не пожизненна и не наследственна. И оттого крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть.

Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложения. В наш лагерь на Калужской заставе каждую неделю приезжал на легковой машине пузатый капитан, начальник 15-го ОЛПа с Котельнической набережной, за олифой и замазкой (в послевоенной Москве это было золото). И всё это предварительно воровали для него из производственной зоны и переносили в лагерную — те самые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей!

Похоть. Это не у каждого, конечно, это с фи-

зиологией связано, но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник Буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. (И что она могла выбрать ещё, кроме смерти?) В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках (как мы видели и в Ховрино). Он самолично сдёргивал с женщин одеяла, якобы ища спрятанных мужчин. При красавице-жене он одновременно имел трёх любовниц из зэчек.

Злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. Как дикая плантаторша, носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь (13-й лесоповальный женский ОЛП Унжлага). Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в БУР. Капитан Медведев (3-й лагпункт УстьВымлага) по несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить.

Он любил иметь всегда полный изолятор.

Они все знали (и туземцы знали): *здесь телеграфные провода кончились!*

Мне возражают! Мне возражают! Да, были отдельные факты… Но главным образом при Берии… Но почему вы не даёте светлых примеров? Но опишите же и хороших!

Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я — не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник *не может быть хорошим*, — он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну допустите на минуту: вот лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий, — так дадут ему? разрешат? допустят?

Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего эмведешника, правда, не лагерщика, а тюремщика — подполковника Цуканова. Одно короткое время он был начальником марфинской Спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зэки признают: зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зэков — обязательно гнул. В чём только мог послабить — непременно послаблял. Но что ж? Перевели нашу Спецтюрьму в разряд более строгих — и он был убран. Он был немолод,

служил в МВД долго. Не знаю — как. Загадка.

Да вот ещё Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапёр, с 1943 по 1947 начальник Воркутлага (и строительства, и самого лагеря), — был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключённым инженерам и называл их по имени-отчеству. Когда ему присвоили звание гебистское — генерального комиссара третьего ранга, он не принял (может ли так быть?): я инженер. И добился своего: стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт, не было создано на Воркуте ни одного лагерного *дела* (а ведь это годы — военные, самое время для «дел»), жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство.

Однако те, кто особенно кричат о «хороших чекистах» в лагерях, а это — благонамеренные ортодоксы, — имеют в виду «хороших» не в том смысле, в котором понимаем мы: не тех, кто пытался бы создать общую человечную обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет, «хорошими» считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые

инструкции, загрызал и травил всю толпу заключённых, но поблажал бывшим коммунистам. Такие «хорошие», конечно, были, и немало. (Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они — наследники общечеловеческой культуры.)

Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это — гулаговские унтеры. Та самая их и задача — тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще. Заключённые перед ними — так же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством. И выместить злость, проявить жестокость — в этом преграда им не поставлена. Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера — но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключённых им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, *дёрнуть* зэка к себе домой на полдня — дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто! На производстве можно заставить

зэка что-нибудь по мелочи сделать — запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жён их особенно, и оттого много бывает горечи против начальства, оттого жизнь ещё кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе, тюремном и лагерном, встретить человека бывает можно, каждый заключённый встречал на своём пути не одного. В офицере же — почти невозможно.

Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности.

«Конвой открывает огонь без предупреждения!» В этом заклинании — весь особый статут конвоя, его власти над нами по ту сторону закона.

Говоря «конвой», мы употребляем бытовое

слово Архипелага: ещё говорили (в ИТЛ даже чаще) — Вохра или просто «охра». По-учёному же они назывались Военизированная Стрелковая Охрана МВД, и «конвой» был только одной из возможных служб Вохры, наряду со службой «в карауле», «на зоне», «на оцеплении» и «в дивизионе».

Служба конвоя, когда и войны нет, — как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придётся. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту.

Вот два убийства на лагпункте Ортау (а на число лагпунктов умножайте). Стрелок вёл подконвойную группу, бесконвойный подошёл к своей девушке, идущей в группе, пошёл рядом. «Отойди!» — «А тебе жалко?» Выстрел. Убит. Комедия суда, стрелок оправдан: оскорблён при исполнении служебных обязанностей.

К другому стрелку, на вахте, подбежал зэк с обходным листком (завтра ему освобождаться), попросил: «Пусти, я в прачечную (за зону) сбегаю, мигом!» — «Нельзя». — «Так завтра же я буду вольный, дурак!» Застрелил. И даже не судили.

В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганною быстротою налетел лесной пожар — от леса да

на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их — и все сгорели. Так — спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану.

Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве. Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с Особлагами — с конца 40-х и начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению.

А до того времени состав Вохры бывал пёстр. Особенно размягчился он в годы советско-германской войны: лучших тренированных («хорошей злобности») молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в Вохру тянулись хилые запасники, по здоровью не годные к действующей армии, а по злобности совсем не подготовленные к ГУЛАГу (не в советские годы воспитывались).

Нина Самшель вспоминает о своём отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. «Дома отец горько рассказывал

о жизни в лагере и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному, то я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключёнными. Отца заключённые очень уважали: он никогда им не грубил, они мне говорили: “Вот если бы все конвойные были такие, как твой папа”. Он знал, что много людей сидит невинных, и всегда возмущался, но только дома — во взводе сказать так было нельзя, за это судили». По окончании войны он сразу демобилизовался.

Но и по Самшелю нельзя верстать Вохру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его: уже в 1947 он был по 58-й посажен и сам! В 1950 в присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер.

После войны эта разболтанная охрана ещё оставалась год-два, и как-то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок»: «Вот когда срок кончу». Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован, — и стрелки завидовали ему: вот додумался! молодец!

Наталья Столярова вспоминает стрелка, кото-

рый задержал её в начале побега — и скрыл её попытку, она не была наказана. Ещё один застрелился от любви к зэчке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь.

Глава 21. Прилагерный мир

Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружён ещё молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров Архипелага создаёт и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона, более охватная, чем сам Архипелаг, — зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого отдельного острова и Большой Зоной всей страны.

Всё, что рождается самого заразного в Архипелаге — в людских отношениях, нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки — просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится и по всей стране. Именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и *культуры* — достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, — не удивляйтесь: это достигло сюда через передаточную зону, через прилагерный мир.

Пока власть пыталась (а может быть, и не пыталась) перевоспитать заключённых через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и оперуполномоченных, — заключённые быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив Архипелаг, легко перекинулось дальше и без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось на всей *воле*.

Так Архипелаг мстит Союзу за своё создание.

Так никакая жестокость не проходит нам даром.

Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле.

* * *

Перечислять эти места, местечки и посёлки — почти то же, что повторять географию Архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе — близ неё должен быть посёлок вольных. Иногда этот посёлок при каком-нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет — и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездную дорогу — и останется навсегда. А иногда из этих посёлков вырастают знаме-

нитые города — такие, как Магадан, Норильск, Дудинка, Игарка, Темир-Тау, Балхаш, Джезказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Совгавань.

Из провинциальных столиц Архипелага крупнейшая — Караганда. Она создана и наполнена ссыльными и бывшими заключёнными, так что старому зэку по улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней — несколько лагерных управлений. И как песок морской рассыпано вокруг неё лагпунктов.

Кто же живёт в прилагерном мире? 1) Коренные местные жители (их может и не быть). 2) Вохра — военизированная охрана. 3) Лагерные офицеры и их семьи. 4) Надзиратели с семьями. 5) Бывшие зэки (освободившиеся из этого или соседнего лагеря). 6) Разные ущемлённые — полурепрессированные, с «нечистыми» паспортами. 7) Производственное начальство. Это — люди высокопоставленные, всего несколько человек на большой посёлок. 8) Собственно *вольняшки* — разные приблудные, пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далёких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать вчетверо бо́льшую зарплату: за полярность, за удалённость, за неудобства, да ещё приписывая себе труд заключённых. Для

тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир — Клондайк. Сюда тянутся с поддельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи.

Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Ещё берут их на те должности, где использование заключённых сильно бы затруднило конвоирование: шофёрами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скреперистами, линейными электриками, ночными кочегарами.

Эти вольняшки второго разряда, простые работяги, как и зэки, тотчас и запросто сдруживались с нами и делали всё, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом: охотно бросали письма зэков в «вольные» почтовые ящики посёлка; носильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольной толкучке, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь *пожрать*, вместе с зэками разворовывали также и производство.

Сложней были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как «командиры производства» они поставлены были давить заключённых и погонять. Но с них спрашивали и ход самого

производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками: не всё достигается палкой и голодом, что-то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключённых. Сами-то десятники бывали мало того что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно и оттого ещё сильней зависели от бригадиров.

И как же интересно тут сплетались иногда русские судьбы! Вот пришёл перед праздником напьяне плотницкий десятник Фёдор Иванович Муравлёв и бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру, серьёзному, стойкому парню, сидящему уже десятый год, открывается:

— Что? *сидишь*, кулацкий сынок? Твой отец всё землю пахал да коров набирал — думал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер? И тебя посадил? Не-ет, мой отец был поумней: он сызмалетства всё дочиста пропивал, изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего, — и сразу бригадир. И я за ним водку пью, горя не знаю.

И получалось, что он прав: Синебрюхову после

срока в ссылку ехать, а Муравлёв — председатель месткома строительства.

А вот десятник Фёдор Васильевич Горшков, щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и смежную, а главное необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства: как если б строил всё огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нём и крупный недостаток: не прилажен он был к Архипелагу, не привык держать заключённых в страхе. Он любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам, любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками на кладке, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключённых конфетами — это диковинно было нам. От одной работы он никак не мог отстать и в старости — от резки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз, и если только при нём резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо, отталкивал стекольщиков и резал сам. Отец его, Василий Горшков, был казённый десятник. Вот и понятно стало, отчего Фёдор Васильевич так любит ка-

мень, дерево, стекло и краску: с малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казёнными, а сейчас так не называются — казёнными-то они стали именно теперь, а раньше это были — артисты.

Фёдор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок:

— Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придёт подрядчик к рабочим в субботу: «Ну, ребята, *до* бани или *после*?» Мол, «после, после, дядя!» «Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир». Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждёт с водкой, закуской, самоваром… Попробуй-ка в понедельник поработать плохо.

Для нас теперь всё названо и всё известно: это была потогонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе.

А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки, — разве стоила больше?..

Глава 22. Мы строим

После всего сказанного о лагерях так и рвётся вопрос: да полно! Да выгоден ли был государству труд заключённых? А если не выгоден — так стоило ли весь Архипелаг затевать?

В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были, и любили мы об этом спорить.

Конечно, если верить вождям, — спорить тут не о чем. Товарищ Молотов, когда-то второй человек государства, изъявил VI съезду Советов СССР по поводу использования труда заключённых: «Мы делали это раньше, делаем теперь и будем делать впредь. Это выгодно для общества. Это полезно для преступников».

Не для государства это выгодно, заметьте! — для самого общества. А для преступников — полезно. И будем делать впредь! И о чём же спорить?

Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительства, а потом уже — набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия.

Но очевидно, что заданный вопрос требует

уточнения и расчленения:

— оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле?

— оправдывают ли они себя экономически?

— самоокупаются ли они (при кажущемся сходстве второго и третьего вопроса здесь есть различие)?

На первый вопрос ответить нетрудно: для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы — для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно-выгодны огромному социальному слою — несчётному числу лагерных офицеров, они давали им «военную службу» в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей, и лбов-охранников, дремавших на лагерных вышках (в то время как тринадцатилетних мальчишек сгоняли в ремесленные училища). Все эти паразиты всеми силами поддерживали Архипелаг, всеобщей амнистии боялись они, как моровой язвы.

Но мы уже поняли, что в лагеря набирались далеко не только инакомыслящие, далеко не только те, кто выбивался со стадной дороги, намеченной

Сталиным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора. Не число реальных «преступников» (или даже «сомнительных лиц») определило деятельность судов, но — заявки хозяйственных управлений. При начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков, и выяснилось, что три года — слишком короткий, нерентабельный срок для Пятьдесят Восьмой, что надо засуживать их на две пятилетки сразу.

В чём лагеря оказались экономически выгодными — было предсказано ещё Томасом Мором, прадедушкой социализма, в его «Утопии». Для работ унизительных и особо тяжёлых, которых никто не захочет делать при социализме, — вот для чего пришёлся труд зэков. Для работ в отдалённых диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой — в расцвете Двадцатого века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет ещё экономических средств.

На великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Всё создавалось, как в лагере говорят, «пердячим паром». На ещё более великом Волгоканале (в 7 раз большем по объёму

работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и Суэцким) было прорыто 128 километров длины глубиною более 5 метров с шириной вверху 85 метров и всё почти — киркой, лопатой и тачкой[55]. Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды.

Кто бы это, если не заключённые, работали б на лесоповале по 10 часов, ещё идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад, при тридцатиградусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября (Волголаг, 1937)?

Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытою породою?

А кого можно было в джезказганские рудники на 12-часовой рабочий день спускать на сухое бурение? — туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы, масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляют человека умирать. Кого можно было в не укреплённые от завалов, в не защищённые от затопления шахты

---

[55] Примечания: 55

Когда катаетесь на катере по каналу — помяните всякий раз лежащих там на дне.

спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в XX веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности?

И как же это лагеря были экономически невыгодны?..

Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной — нет, даже не дешевизной, а — бесплатностью, потому что за покупку античного раба всё же платили деньги, за покупку же лагерника — никто не платил.

Или как перед войной строили другую железную дорогу, Котлас — Воркута, где под каждою шпалой по две головы осталось. Да что железную! — как прежде той железной клали рядом простую лежнёвку через непроходимый лес — тощие руки, тупые топоры да штыки-бездельники.

И кто ж бы это без заключённых делал? И как же это вдруг лагеря — да невыгодны?

Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики: «з/к з/к сыграли большую роль в работе тыла, в победе».

Но на мраморе над костями никто никогда не надпишет забытые их имена.

Как незаменимы были лагеря, это выяснилось в хрущёвские годы во время хлопотливых и шум-

ных комсомольских призывов на целину и на стройки Сибири.

Другое же дело — самоокупаемость. Слюнки на это текли у государства давно. Ещё «Положение о местах заключения» 1921 года хлопотало: «содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключённых». Очень, очень хотелось лагерьки иметь — и чтобы бесплатно! С 1929 года все исправтрудучреждения страны включены в народно-хозяйственный план. А с 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость!

Но как ни рвались, как ногти все о скалы ни изломали, как ведомости выполнений по двадцать раз ни исправляли и до дыр тёрли — а не было самоокупаемости на Архипелаге — и никогда её не будет.

И вот причины. Первая и главная — несознательность заключённых, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождёшься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят, как развалить обувь — и не идти на работу; как испортить лебёдку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить

ведро, — чтоб только повод был посидеть-покурить. Везде — недосмотры и ошибки. Сделанные ими кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. — В 50-е годы привезли в Степлаг новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из брёвен, как бы избушка. Зима была, холодно, так влезли проклятые зэки в этот сруб между брёвнами и турбиной и развели костёр погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей — и турбину выбросили. Стоила она три миллиона семьсот тысяч. Вот тебе и хозрасчёт.

А при зэках — и это вторая причина — вольным тоже как бы ничего не надо, будто строят не своё, а на чужого дядю, ещё и воруют крепко, очень крепко воруют. (Строили жилой дом, и разокрали вольняшки несколько ванн — а их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя, он торжественно показывает приёмочной комиссии 1-ю лестничную клетку, да в каждую ванную не преминет зайти, каждую ванну покажет. Потом ведёт комиссию во 2-ю клетку, в 3-ю, и не торопясь, и всё в ванные заходит, — а проворные обученные зэки под руководством опытного сантехнического десятника

тем временем выламывают ванны из квартир 1-й клетки, чердаком на цыпочках волокут их в 4-ю и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят.)

Третья причина — несамостоятельность заключённых, их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без Планово-Производственной, Учётно-Распределительной, Оперативно-Чекистской и Культурно-Воспитательной Части, без высших лагерных управлений вплоть до самого ГУЛАГа; без цензуры, без ШИЗО, без БУРа, без придурков, без каптёрок и складов; неспособность передвигаться без конвоя и без собак. И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику (а у надсмотрщика — семья).

А ещё сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры самого Руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Например, как ни планируй земляные работы — редко они в лето приходятся, а всегда почему-то на осень да на зиму, на грязь да на мороз.

Вот на реке Сухоне около посёлка Опоки —

навозили, насыпали заключённые плотину. А паводок тут же её и сбил. Всё, пропало.

Или вот талажскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять! Пришлось Талаге специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на выловке из реки аварийной древесины — то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватит. Вот такой хозрасчёт…

Или как-то в УстьВымлаге (1943) хотели перевыполнить план молевого (отдельными брёвнами) сплава, нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и немогущих, и собралось в генеральной запони слишком много древесины — 200 000 кубометров. Выловить её до зимы не успели, она вмёрзла в лёд. А ниже запони — железнодорожный мост. Если весной лес не распадётся на брёвна, а пойдёт целиком — сшибёт мост, лёгкое дело, начальника — под суд. И пришлось: выписывать динамит вагонами; опускать его зимой на дно; рвать замёрзшую сплотку и потом

побыстрей выкатывать эти брёвна на берег — и сжигать (весной они уже не будут годны для пиломатериалов). Этой работой занят был целый лагпункт, двести человек, им за работу в ледяной воде выписывали сало, — но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что всё это было лишнее. И сожжённый лес — тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость.

Ну да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой Руководитель от них не застрахован.

А вся эта дорога Салехард — Игарка? Насыпали сотни километров дамб через болота, к смерти Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. И — тоже бросили (ФОТО 12). Так ведь это ошибка — страшно сказать ***чья***. Ведь — Самого…

До того иногда доведут этим хозрасчётом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском (полторы тысячи инвалидов) после войны тоже велели быть всем на хозрасчёте: делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами (не лесоповальный лагерь — и не положена им механизация), до лагеря везли лес на коровах (транспорт им тоже не положен, а

молочная ферма есть). Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена — 600… Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в 1-ю группу или признать больными и не вывести за зону: тогда сразу с убыточного хозрасчёта они переводились на надёжный госбюджет.

От всех этих причин не только не самоокупается Архипелаг, но приходится стране ещё дорого доплачивать за удовольствие его иметь.

Когда в Москве на улице Огарёва для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова — но на столярные изделия! Это было звенящее чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка.

Мы же всё спешим, нам всё некогда. Неужели ещё ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балки новейшими антисептиками — и всё равно балки загнивали, в них появлялись грибки, да так проворно, что ещё до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки.

Поэтому через сто лет всё, что строили мы, зэки, да и вся страна, наверняка не будет так звенеть,

как те старые балки с улицы Огарёва.

* * *

Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключёнными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущёвских времён. Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали.

— Беломорканал (1932), Волгоканал (1936), Волгодон (1952);

— ж-д Котлас — Воркута, ветка на Салехард;

— ж-д Салехард — Игарка (брошена);

— ж-д Караганда — Моинты — Балхаш (1936);

— ж-д вторые пути Сибирской магистрали (1933—35 годы, около 4000 км);

— ж-д Тайшет — Лена (начало БАМа);

— автотрасса Москва — Минск (1937—38);

— постройка Куйбышевской ГЭС;

— постройка Усть-Каменогорской ГЭС;

— постройка Балхашского медеплавильного комбината (1934—35);

— постройка Соликамского бумкомбината;

— постройка Березниковского химкомбината;

— постройка Магнитогорского комбината (ча-

стично);

— постройка Кузнецкого комбината (частично);

— постройка Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1950—53, частично);

— строительство города Комсомольска-на-Амуре;

— строительство города Совгавани;

— строительство города Магадана;

— строительство города Норильска;

— строительство города Дудинки;

— строительство города Воркуты;

— строительство города Молотовска (Северодвинска, с 1935);

— строительство порта Находки;

— нефтепровод Сахалин — материк;

— рудодобыча в Джезказгане, Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, Хакасии, на Кольском полуострове;

— золотодобыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач;

— добыча апатитов на Кольском полуострове (с 1930);

— лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь европейский русский Север

и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы перечислить не в силах, это половина Архипелага.

Легче перечислить, чем заключённые никогда не занимались: изготовлением колбасы и кондитерских изделий.

Часть четвёртая – ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся.

Первое послание к Коринфянам, 15:51

Глава 1. Восхождение

А годы идут…

Не частоговоркой, как шутят в лагере, — «зима-лето, зима-лето», а — протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На Архипелаге — короткое лето.

Даже один год — у-у-у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать. Уж триста тридцать-то раз в году ты потолчёшься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный неподвижный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. Да проходка туда. Да проходка назад. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая.

И это — только один год. А их — десять. Их — двадцать пять…

А ещё когда в больничку сляжешь дистрофиком, — вот там тоже хорошее время — подумать.

Думай. Выводи что-то и из беды.

Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся.

Но *угрызений совести не знает Архипелаг ГУЛАГ!* Из ста туземцев — пятеро блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь совершать их ещё ловчей и нахальней. Ещё пятеро — *брали* крупно, но не у людей: в наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает народные деньги без жалости и без разумения, — так в чём такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А ещё у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. В чём раскаиваться? В том, что думал то, что думал? Или в безвыходном положении сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода? (Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещённое, что иные терзаются: лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб.) В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей? Или с завода вынес для того же?

Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть как горное озеро светит из твоих глаз.

В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского. Там — сознание заклятого

отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти.

А от напасти — не пропасти. Надо её пережить.

Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но ещё больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств.

Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж кажется до крайней крайности, — а самоубийств почему-то не было. Обречённые на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд — не кончали с собой!

Самоубийца — всегда банкрот, это всегда — человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения её. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей всё же не кончали с собой — значит, жило в них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль.

Это было чувство всеобщей правоты. Это было

ощущение народного испытания — подобного татарскому игу.

Но если не в чем раскаиваться — о чём, о чём всё время думает арестант? «Сума да тюрьма — дадут ума». Дадут. Только — куда его направят?

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я — средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы — да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать… надо сказать… надо передать…

Но — ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы выслушиваем очный приговор трибунала или заочный — ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с

мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (Даже если плохо.) И сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения? — он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: выжить *любой ценой*!

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой, — для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир.

Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда — вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоту, другая низеть. Пойдёшь направо — может, жизнь потеряешь, пойдёшь налево — потеряешь совесть.

Самоприказ «дожить!» — естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряженье всех сил нашего тела!

Приказ всем клеточкам: дожить! Заполярною гладью в метель за пять километров в баню ведут тридцать истощённых, но жилистых зэков. Банька — не стоит тёплого слова, в ней моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и четыре смены выстаивают там до или после мытья — потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаления лёгких, но насморка нет ни у кого. (И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он — дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа — дожить…)

Но просто «дожить» ещё не значит — любой ценой. «Любая цена» — это значит: ценой другого.

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ — не бо́льшая часть сворачивает направо. Увы — не бо́льшая. Но, к счастью, — и не одиночки. Их много, людей — кто так избрал. Но они о себе не кричат, к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они знали да знали своё.

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры. Ибсен писал: «От недостатка кислорода

и совесть чахнет»[56]. Э, нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Горбатов — с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься разные случаи: то как он заподозрил невиновного в шпионстве; то как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка[57]. (Ну когда б это ещё вспомнил!)

И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит».

Но неволя учит — какая?

*Лагер*ь ли?..

Тут задумаешься.

Но всё-таки: неужели же в лагере безнадёжно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?

Там, где нет борьбы с судьбой,
Там воскреснешь ты душой...?

---

[56] Примечания: 56

Ибсен Генрик. Враг народа. Комедия в 5 д. // Полн. собр. соч. [В 4 т.]. — СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, 1909. — Т. 3. — С. 214.

[57] Примечания: 57

Генерал армии А. В. Горбатов. Годы и войны // Новый мир. — 1964. — № 4. — С. 109.

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь.

У дороги нашей, выбранной, — виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пойдёмте, поспотыкаемся.

День освобождения? Что *о*н нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда-то родные, покажутся нам чужее чужих.

День «освобождения»! Как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой.

Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого.

Мы подымаемся.

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Самый ничтожный повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм оказывается — дешевейшая «спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль:

«Важен результат, а результат не в вашу пользу».

Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь при выходе на освещённый солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь её на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И ещё сколько угодно времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность спускается в твою голову.

Это — не шутка. Это — заразная мысль. Она давно уже привилась нашему отечеству, а её — ещё и ещё подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского — изменником, снюхавшимся с врагом, то народ только ахает и многоусто удивляется: *«Чего ему не хватало?!»* Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолёт, и известность — чего ему не хватало?!! Миллионам наших замотанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком (я не говорю об этом именно) могло двигать что-нибудь, кроме корысти.

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат».

Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад, — разве в Руси старообрядческой могло

такое быть?

Это пришло к нам с Петра, в отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных[58]. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и всё прочней утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат.

А потом — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего непогрешимого нетерпеливого Учения, которое всё только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек, — наплевать! важен результат!!

Но это — ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми

---

[58] Примечания: 58

Демидовы — с конца XVII века владельцы железоделательных заводов и оружейники, жестоко обходились со своими крепостными рабочими; Кабаниха (Марфа Игнатьевна Кабанова) — центральная героиня пьесы А. Н. Островского «Гроза»; Григорий Петрович Цыбукин — герой повести А. П. Чехова «В овраге». — *Примеч. ред.*

кругами восходим в понимании жизни — и с высоты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а д у х! Не *что* сделано — а *как*. Не что достигнуто — а какой ценой.

Вот и для нас, арестантов, — если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой.

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери человеческого образа.

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от общих. Надо гнуться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — уцелеть.

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть — умереть. Но пока жив — с гордостью потягиваться ломящею спиной. Вот когда — перестав бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом, на совиный взгляд хозяев. Ибо — чем тебя взять?

Дочь анархиста Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой, но, видя, что это — не лечение, а только личное устройство, — из упрямства ушла на общие, взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это её спасло.

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное

не впрок.

(Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..)

———

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошёл, куда идут спокойные и простые, — удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер.

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди, — и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься…

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений.

Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся…

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю твою кожу.

Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй

вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо — что радость, а что горе.

Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколькие из нас призн*а*ют: именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их — тиранил…

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

…После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред — и я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше нет в палате.

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов.

Мы мало знаем друг друга, не он — мой хирург, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.

Это значит — он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И поэтому — самозаточение Корнфельда в больнице ещё нисколько не доказывает, что он — стукач.

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:

— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая

кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.

А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже отперты бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.

Так случилось, что вещие слова Корнфельда — были его последние слова на земле. И, обращённые ко мне, они легли на меня наследством.

От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.

Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, — расстрелянные, сожжённые — это некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных-то и казнят ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба *их*? почему они благоденствуют?

(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С *такой* точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие — *обещает*.)

Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.

В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам.

Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра.

Постепенно открылось мне, что линия, раз-

деляющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им *носителей* зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую идею, очень мало — заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвёт и не удушит себя — может быть, это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует — то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя»[59]. Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками.

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:

— Благословение тебе, тюрьма!

Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!

(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

---

[59] Примечания: 59

Надпись на Храме Аполлона в Дельфах как призыв к каждому входящему. — *Примеч. ред.*

Глава 2. Или растление?

Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу.

Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже всё написано) возразит Шаламов:

> «В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы».
>
> «Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с мясом мускулов… Осталась только злоба – самое долговечное человеческое чувство».
>
> «Мы поняли, что правда и ложь – родные сёстры».
>
> «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми

возникает – значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили – значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями».

Только на одно различение здесь согласится Шаламов: восхождение, углубление, развитие людей возможно в *тюрьме*. А

«…лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключённый обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям… Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми».

С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «Тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал».

Да и как же тут возразить?

Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное «возвышение», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джез-

казганским Яшкой-нарядчиком: «Чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать».

До какого «душевного лишая» можно довести лагерников сознательным науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке Моисеевайте (но по-прежнему водимая конвоем на работу), не замечая оцепления, пошла «к маме». Её схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный приём). Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из-за тебя, сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась.

Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они — всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это — общее направление, это — закономерность.

Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолаживает. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба всё-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемёта падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твёрдость, не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тётя Дуся Чмиль — круглолицая спокойная совсем неграмотная старушка. Окликает конвой:

— Чмиль! Статьи!

Она мягко незлобливо отвечает:

— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. — (У неё — букет из пунктов 58-й.)

— Срок!

Вздыхает тётя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве людям дано знать сроки?..

— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду.

— Дура ты дура! — смеётся конвой. — Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, ещё, может, и больше.

Но проходит два с половиной года её срока, никуда она не пишет — и вдруг бумажка: освободить!

Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что «монашек» только и держали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А между тем кто из верующих — растлился? Умирали — да, но — не растлились?

А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными?

И многие ещё, разрозненные и незаметные, пе-

реживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо, — но рядом ещё хуже, ещё тяжелей.

Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащён был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай — вовсе не теоретический, за советское пятидесятилетие таких-то и выросли — миллионы.)

Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеевайте к столбу для глумления, — он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?

И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады — лишь по два человека? Да наверное так.

Если человек в лагере круто подлеет, так может быть: он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не

было нужды?

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде, — да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий?

Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама — и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя?

Если уж растление так неизбежно, то откуда берётся Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте, только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнёздышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые сроки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Я. Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — бесстрашно носит передачи! Хотите, псы, — гребите и меня!

Отчего же *этот* не растлился?

А *все* уцелевшие не припомнят ли того, другого,

кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту?

Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что *каждого* им удавалось смять.

Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения. Они — рядом.

Глава 3. Замордованная воля

Но и когда уже будет написано, прочтено и понято всё главное об Архипелаге ГУЛАГе, — ещё поймут ли: а что была наша *воля*? Что была та страна, которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?

Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла всё тело.

Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда-нибудь — Бог весть.

Это — не задача нашей книги, но попробуем коротко перечислить те признаки *вольной* жизни, которые определялись соседством Архипелага или составляли единый с ним стиль.

Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни 35-м, ни 37-м, ни 49-м годами не исчерпаешь перечня наборов на Архипелаг. Наборы шли

всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Как на Архипелаге под каждым придурком — пропасть (и гибель) общих работ, так и в стране под каждым жителем — пропасть (и гибель) Архипелага. По видимости страна много больше своего Архипелага — но вся она, и все её жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом.

Страх — не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные: чистка, проверка, заполнение анкеты, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка[60]. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их.

Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого *права*.

Верно замечено: наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что многозначные слова «взяли», «по-

---

[60] Примечания: 60

Ещё такие малоизвестные формы, как: исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаёмным. Так в 1938 был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне неблагонадёжными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер.

садили», «сидит», «выпустили», даже без текста, у нас каждый понимает только в одном смысле!

Ощущения беззаботности наши граждане не знали никогда.

Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие, гостеприимство (ещё не убитые и в 20-х годах). Эти чувства — естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать, и каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе.

Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело, открыто высказываться — все отшатывались: «Провокация!» Так обречён был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест.

Всеобщее незнание. Таясь друг от друга и друг другу не веря, мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего — и миллионных посадок, и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, не вопя, не стеня и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казённым ораторам. Каждый день нам подсовывали что-

нибудь разжигающее, вроде железнодорожного крушения (вредительского) где-нибудь за 5 тысяч километров. А что надо было нам обязательно, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось — нам неоткуда было узнать.

Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам захваченный капканом, с опозданием узнаёшь.

Стукачество, развитое умонепостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах, и в безвинных комнатах казённых зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно: сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть.

Предательство как форма существования. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью человек становится данником страха, подчинённым его. И оказывается наименее

опасной формой существования — постоянное предательство.

Самое мягкое, зато и самое распространённое предательство — это ничего прямо худого не делать, но: не заметить гибнущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил (ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу!). Вот на общем собрании объявляется, что исчезнувший вчера — заклятый враг народа. И ты, вместе с ним двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием (а то и осуждающей речью) должен показать, как ты чужд его преступлений (ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву! какое ты имеешь право не думать о *них*?). Но остались у арестованного — жена, мать, дети, может быть, помочь хоть им? Нет-нет, опасно: ведь это — жена *врага*, и мать врага, и дети врага (а твоим-то надо получить ещё долгое образование)!

Укрыватель — тот же враг! Пособник — тот же враг. Поддерживающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замолкает. Почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не

подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне.

Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает В. Я. Кавешан из Калуги: «После ареста отца от нас все бежали, как от прокажённых; мне пришлось школу бросить — затравили ребята — (растут предатели! растут палачи!), — а мать уволили с работы. Приходилось побираться».

Одну семью арестованного москвича в 1937, мать с ребятишками, милиционеры повезли на вокзал — ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка (лет восьми) исчез. Милиционеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина, и так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой — квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы — и не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили! И он сдался в детдом… Современники! Соотечественники! Узнаёте ли вы свою харю?

И это — только легчайшая ступень предатель-

ства — отстранение. А сколько ещё заманчивых ступеней — и какое множество людей опускалось по ним?

Сколько было тогда *отречений*! — то публичных, то печатных: «Я, имярек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери как от врагов советского народа». Этим покупалась жизнь.

Тем, кто не жил в то время, почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживает свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности, и те, кто держат речь на его могиле. Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой колодец зла можно сорваться.

Массовая парша душ охватывает общество не мгновенно. Ещё все 20-е годы и начало 30-х многие люди у нас сохраняли душу и представления общества прежнего: помочь в беде, заступиться за бедствующих. Есть какой-то минимально необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий Аппарат. Для России оказалось нужным 20 лет.

Оценивая 1937 год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь, для *воли*, — этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать: можно признать, что именно этот

год сломил душу нашей *воли* и залил её массовым растлением.

Но даже это не было концом нашего общества! (Как мы видим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времён, до 1956, а теперь уж тем более не умрёт.) Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми тёплыми жилками билось, билось, билось, билось.

В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осуждённых (как Флоренского) или заведомо упречных (как философа Фёдорова)! А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Её сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрёл через весь город отнести её к сестре и так спасти.

Каждый поступок противодействия власти

требовал мужества, несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа, — однако сколько же детей таких взяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была. И кто-то же подменял жену арестованного в безнадёжной трёхсуточной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто-то же, с колотящимся сердцем, шёл предупредить, что на квартире — засада и туда возвращаться нельзя. А в военной цензуре (Рязань, 1941) девушка-цензорша порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика, — но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков — и *посадили* её самоё. Пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека!

Теперь приудобились выражаться, что *посадка* была — лотерея. Лотерея-то лотерея, да кой-какие номерки и помеченные. Заводили общий бредень, сажали по цифровым заданиям, да, — но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту! И получался душевный отбор, а не лотерея! Смельчаки попадали под топор, отправлялись на Архипелаг — и не замуч*а*лась картина однообразно-покорной оставшейся *воли*.

Эти тихие уходы — их и совсем не приметишь. А они — умирание народной души.

Ложь как форма существования. Поддавшись ли страху или тронутые корыстью, завистью, люди, однако, не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но ещё довольно ясен ум. И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину:

> «Повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемой верным ленинцем – Сталинским Наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистско-бухаринской и прочей контрреволюционной мрази»[61], —

мы же не примем всё совещание в тысячу человек за идиотов, а только — за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту.

Постоянная ложь становится единственной

---

[61] Примечания: 61

Первое Всесоюзное совещание работников высшей школы СССР — товарищу Сталину // Правда. — 1938. — 20 мая. — С. 2.

безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица — кем-то наблюдаемо. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешёвых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает (новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам), и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут (какие-нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае).

Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует *лжи* — иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно-подтверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, — надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо

кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг.

Но и это ещё не всё: растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете: ведь их воспитывают быть Павликами Морозовыми, они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши ещё малы, то надо решить, как верней их воспитывать: сразу ли выдавать им ложь за правду (чтоб им было *легче* жить) и тогда вечно лгать ещё и перед ними; или же говорить им правду — с опасностью, что они оступятся, прорвутся, и значит, тут же втолковывать им, что правда — убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой.

Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь.

Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих, — как же сохранишь доброту? Моя безымянная корреспондентка (с Арбата, 15) спрашивает «о корнях жестокости», присущей «некоторым советским людям». Почему чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем бо́льшую жестокость они проявляют? И приводит пример — совсем вроде

бы и не главный, но мы его повторим.

Зима 1943/44, челябинский вокзал, навес около камеры хранения. Минус 25°. Под навесом — цементный пол, на нём — утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения — женщина в ватнике, с этой стороны окна — упитанный милиционер в дублёном полушубке. Они ушли в игровой ухаживающий разговор. А на полу лежат два человека — в хлопчатобумажных одежонках и тряпках цвета земли, и даже ветхими назвать эти тряпки — слишком их украсить. Это молодые ребята — изможденные, опухшие, с болячками на губах. Один, видно в жару, прилёг голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая подошла к ним узнать, оказалось: один из них кончил срок в лагере, другой сактирован, но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться в лагерь у них нет сил — истощены поносом. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут милиционер оторвался от весёлого разговора и угрозно сказал ей: «Что, тётка, родственников признала? Уходи-ка лучше отсюда, умрут и без тебя». И она подумала — а ведь возьмёт ни с того ни с сего и меня посадит. (И верно, отчего бы нет?) И — ушла.

Как здесь всё типично для нашего общества — и то, что она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и та медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаёмный дурак, который оформлял им документы в лагере.

Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове, «несчастненьким», а пожалуй, только — «падло». В 1938 магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключённых женщин (вспоминает Суровцева).

И можно перечислять дальше. Можно назвать ещё —

Рабскую психологию.

И ещё другое можно.

Но призн*а*ем уже и тут: если у Сталина это всё не *само* получилось, а он это для нас разработал по пунктам — он таки был гений!

Глава 4. Несколько судеб

[В книге «Архипелаг ГУЛАГ» автор распылил, подчинил судьбы сотен арестантов – плану книги, контурам Архипелага, путешествию по его островам. Он отошёл от жизнеописаний: «Это было бы слишком однообразно, так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя».

Но именно поэтому он счёл возможным привести в конце Части Четвёртой несколько арестантских судеб целиком.]

Часть пятая – КАТОРГА

Сделаем из Сибири каторжной, кандальной – Сибирь советскую, социалистическую!

Сталин

Глава 1. Обречённые

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова *каторга*. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду.

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет после того, как Февральская революция отменила каторгу, — Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет

в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, — на 17-й шахте Воркуты (вскоре — и в Норильске, и в Джезказгане).

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 — если на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести.

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли автоматами. Изможенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской — так

потерянно, с трудом таким они брели.

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали; ещё утренняя и вечерняя проверка — не просто счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Так от двенадцати часов «досуга» едва-едва оставались четыре покойных часа для сна.

Вот какой проступила сталинская каторга 1943—44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать посылок, ни писем.

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро.

Первый воркутинский *алфавит* (28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под землю за один год.

Удивимся, что — не за месяц. (При Чехове на всём каторжном Сахалине оказалось каторжан — сколько бы вы думали? — 5 905 человек, хватило бы и шести букв. Почти такой же был наш Экибастуз, а Спасск-то больше куда. Только слово страшное — «Сахалин», а на самом деле — одно лаготделение! Лишь в Степлаге было двенадцать таких. Да таких, как Степлаг, — десять лагерей. Считайте, сколько Сахалинов.)

На воркутинской шахте № 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже, и даже… — перевыполняли план!.. (На Сахалине для женщин не

было вообще каторжных работ.)

Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: остановитесь! О *ком* вы смеете нам говорить? Да! Их содержали на истребление — и правильно! Ведь это — предателей, полицаев, бургомистров! Так им и надо! Уж вы не жалеете ли их?? А женщины там — это же *немецкие подстилки*! — кричат мне женские голоса. (Я не преувеличил? — ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками?)

Сперва о женщинах. Да не вся ли мировая (досталинская) литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку: без Указа Президиума Верховного Совета не сходись.

Прежде всего — кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж наверное не старше тридцати лет, а то и двадцати пяти. Значит — от первых детских впечатлений они воспитаны *после* Октября, в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы пятнадцать лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что

отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвёртые же были просто голодны — да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать.

Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию (но прежде выслушав и их), может быть, следовало колко высмеять, — но посылать за это на каторгу? в полярную душегубку??

— Хорошо, но мужчины-то попали за дело?! Это — предатели родины и предатели социальные.

Но уж начали, так пойдём.

Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А — предателей много было на Руси? *Толпы* предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.

Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе — и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч *предателей*.

Откуда они? Почему?

Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России против Гитлера. Они имели свободу выбора — и выбрали так.

Эти же десятки и сотни тысяч *предателей* — все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.

Что же их заставило?.. Кто это такие?

А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле — к самой земле, кстати, обещанной великим

Декретом[62] и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну.

Обо всех таких у нас говорят с презрительной пожимкой губ: «обиженные советской властью», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской власти».

Один скажет — а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан.

И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-то, в конце концов, — определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?

А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками — кого на год, кого на два, кого на три. Оттого что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учителям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам — не тем, кому уже

---

[62] Примечания: 62

Декрет о земле был принят Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов в ночь с 26 на 27 октября 1917. «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа», все земли удельные, монастырские, церковные со всем инвентарём и усадебными постройками передаются в распоряжение земельных комитетов и Советов крестьянских депутатов; земли рядовых крестьян и казаков не конфискуются. — *Примеч. ред.*

пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два-три в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мёрзнут, да?..

Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления.

А у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: «не сметь преподавать! за это расплатитесь!» Все знают, что ребёнок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег всех времён и народов, — траве пока расти или иссохнуть? детей пока учить или не учить?

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней произнести речь во славу новой

замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна.

Прежде-то на каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали триста граммов).

И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.

Теперь же запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями — они учили ваших детей.

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы — и стали церкви открывать. В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое

ликование, большое стечение толп.

Сказав о городе, не упустим и о деревне. Распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня — вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была просто нормальна рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви.

Ещё так у нас умеют говорить: «да, были допущены некоторые ошибки». И всегда — эта невинно-блудливая безличная форма — *допущены*, только неизвестно кем. Никто не имеет смелости сказать: *коммунистическая партия* допустила! бессменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? — надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил — так вы-то где были, руководящие миллионы?

Впрочем, и ошибки эти только в том признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что

15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, — так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, — так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да «за Русь Святую» остановили немца на Волге, — так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.

* * *

Не то чтоб у кого-то дрогнуло сердце, что умирают каторжные алфавиты, а просто кончалась война, острастка такая уже не была потребна, рабочая сила была нужна, а в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки каторжан перестали быть тюремными камерами, двери отперлись на день, параши вынесли в уборную, в санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью — для бодрости. Потом и письма стали им разрешать, дважды в год.

В годы 1946—47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться: политически неразборчивое инженерное на-

чальство, гонясь за производственным планом, стало хороших специалистов-каторжан переводить на обычные лагпункты.

И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею воскрешения каторги, — если бы в 1948 году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально-близких блатных и бытовиков от социально-безнадёжной Пятьдесят Восьмой.

Созданы были *Особые лагеря* с особым уставом — малость помягче ранней каторги, но жёстче обычных лагерей.

Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а фантастическо-поэтические. Развёрнуты были: Горлаг (Горный лагерь) в Норильске, Берлаг (Береговой лагерь) на Колыме, Минлаг (Минеральный) на Инте, Речлаг на Печоре, Дубравлаг в Потьме, Озёрлаг в Тайшете, Степлаг, Песчанлаг и Луглаг в Казахстане, Камышлаг в Кемеровской области.

По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что Пятьдесят Восьмую будут посылать в Особые лагеря уничтожения.

Закипела работа в Учётно-Распределительных Частях и оперчекистских отделах. Писались

таинственные списки и возились куда-то на согласование. Затем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили роты бодрого конвоя краснопогонников с автоматами, собаками и молотками — и враги народа, выкликнутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далёкий этап.

Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской каторги проросло в Особлаги.

Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли *новый контингент*.

Глава 2. Ветерок революции

Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной длительностью и пришибленный первым знакомством с миром Архипелага, что исподволь душа моя разогнётся; что с годами, сам для себя незаметно подымаясь на невидимую вершину, я оттуда взгляну совсем спокойно на дали Архипелага, и даже неверное море потянет меня своим переблескиванием.

Середину срока я провёл на золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле и чисте. В обмен за всё это требовалось немного: двенадцать часов сидеть за письменным столом и угождать начальству.

А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке.

Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего сливочного масла и сахара мне стало — распрямиться.

И нас, нескольких, «распрямили» — на этап

в Особый лагерь.

Везли нас туда долго — три месяца (на лошадях в XIX веке можно было быстрей).

Путь наш выдался какой-то бодрый, многозначительный. В лица толкался нам свежий крепчающий ветерок — каторги и свободы. Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами! за нами! за нами! — а не за нашими судьями и тюремщиками.

На бутырском «вокзале» нас перемешали с новичками 1949 года посадки. У них у всех были смешные сроки: не обычные десятки, а *четвертные*. Отсидеть столько — казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать — резать проволоку.

Самые эти двадцатипятилетние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам всё, что могла. Теперь слово было за арестантами.

Мы сидели в арестантском вагоне. Конвой был как конвой: в купе натолкал нас по полтора десятка, кормил селёдкой, но, правда, приносил и воды и выпускал на оправку вечером и утром, и не о чем нам было бы с ним спорить, если б этот паренёк не бросил неосторожно, да даже и без

злости совсем, что мы — враги народа.

И тут поднялось! Из купе нашего и соседнего стали ему лепить:

— Мы — враги народа, а почему в колхозе жрать нечего?

— Если мы — враги, что ж вы воронк*и* перекрашиваете? И возили б открыто!

— Эй, сынок! У меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я — враг, да?

К растерявшемуся пареньку подошёл сержант-сверхсрочник, но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилий, а пробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени — хотя какое уж там «новое» время в 1950 году!

Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа никого из этого купе и никого из соседнего.

— Смотри, ребята! Смотри в окно! — подали им от нас. — Вон вы до чего Россию довели!

А за окнами тянулась такая гнилосоломая, покосившаяся, ободранная, нищая страна (рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят), что, если бы Батый увидел её такой загаженной, — он бы её и завоёвывать не стал.

На тихой станции Торбеево крестьянка старая

остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам её стекали редкие слёзы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын её лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, заснять нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, неторопливо перекрестила нас.

А на другой станции какая-то девка в горошковом платье, очень нестеснённая и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие. «Отойди», — зарычал на неё конвойный, ходивший по платформе. «А что ты мне сделаешь? Я и сама такая! На вот пачку папирос, передай ребятам!» — и достала пачку из сумочки. «Отойди! Посажу!» — выскочил из вагона помначкар. Она

посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Шёл бы ты на…!» Подбодрила нас: «Кладите на них, ребята!» И удалилась с достоинством.

Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали — и всё больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение.

На Куйбышевской пересылке, где мы *загорали* больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных (у них и скуление какое-то противно-визгливое): «Помогите! Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!»

Вот где невидаль! — «фашисты» бьют блатных? Раньше всегда было наоборот.

Но скоро мы узнаём: ещё пока дива нет. Ещё только первая ласточка — Павел Баранюк, грудь как жернов, руки — коряги, всегда готовые и к рукопожатию и к удару, сам чёрный, нос орлиный, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он — фронтовой офицер, на зенитном пулемёте выдержал поединок с тремя «мессерами»; представлялся к Герою, отклонён Особым Отделом; посылался в штрафную, вернулся с орденом; сейчас — десятка, по новой поре — «детский срок».

Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-Волынской тюрьмы, и уже дрался с ними. А тут вся камера была — Пятьдесят Восьмая, но администрация подкинула двоих блатарей. Небрежно куря «Беломор», блатари бросили свои мешки на законные места на нарах у окна и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Но Баранюк уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочерёдно бить этой крышкой, пока она разлетелась, — а крестовина там была из бруска-сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор, смешную сторону они не упускали: «Что ты делаешь? *Крестом* бьёшь!», «Ты ж здоровый, что ты *человека* обижаешь?» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить, и тогда-то один из блатарей кинулся кричать в окно: «Помогите! Фашисты бьют!»

Тут пришли тюремные офицеры — выяснить,

кто зачинщик, и пугать новыми сроками за бандитизм. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам: «Я этих сволочей бил и буду бить, пока жив!» Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопасней держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти ещё мальчик, взятый из десятого класса: «Мы — не контрреволюционеры! — по-петушиному закричал он куму. — Это уже прошло. Сейчас мы опять ре-во-лю-цио-неры! только против советской власти!»

Ай, до чего ж весело! Вот дожили! И тюремный кум лишь морщится и супится, всё глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят.

Оказывается, можно *так* жить в тюрьме? — драться? огрызаться? громко говорить то, что думаешь? Сколько же мы лет терпели нелепо! Добро того бить, кто плачет. Мы плакали — вот нас и били.

Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут наконец одни политические, очищенные от бытовой слизи, — может быть, там и начнётся такая жизнь?

Омская тюрьма, а потом Павлодарская принимали нас потому, что в городах этих — важное упущение! — до сих пор не было специализированных пересылок. В Павлодаре даже — о, позор! — не оказалось и воронка, и нас от вокзала до тюрьмы, много кварталов, гнали колонной, не стесняясь населения. В кварталах, проходимых нами, ещё не было ни мостовых, ни водопровода, одноэтажные домики утопали в сером песке. Собственно город начинался с двухэтажной белокаменной тюрьмы.

Но по XX веку тюрьма эта внушала не ужас, а чувство покоя, не страх, а смех. Окна камер второго этажа перекрещены редкой решёткой, не закрыты намордниками — становись на подоконник и изучай местность. Дальше за стеной сразу видна улица, и ларёк с пивом, и все, кто там ходят, стоят — или принесли в тюрьму передачу, или ждут возврата тары. А ещё дальше — кварталы, кварталы таких одноэтажных домиков, и изгиб Иртыша, и даже заиртышские дали.

Какая-то живая девушка, которой только что вернули с вахты пустую корзину из-под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наши

приветственные помахивания, но виду не подала. Пристойным шагом, чинно зашла за пивной ларёк, чтоб её не просматривали с вахты, а там вдруг порывисто вся изменилась, корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками, улыбается! Потом быстрыми петлями пальца показывает: «пишите, пишите записки!», и — дугой полёта: «бросайте, бросайте мне!», и — в сторону города: «отнесу, передам!» И распахнула обе руки: «что ещё вам? чем помочь? друзья!»

Это было так искренне, так прямодушно, так непохоже на нашу замордованную *волю*, на наших замороченных граждан! — да в чём же дело??? Время такое настало? Или это в Казахстане так? здесь ведь половина — ссыльных…

Милая бесстрашная девушка! Как быстро ты прошла, как верно усвоила притюремную науку! Какое счастье (да не слёзы ли в уголке глаза?), что ещё есть вы, такие!.. Прими наш поклон, безымянная! Ах, весь наш народ был бы такой! — ни черта б его не сажали! заели бы проклятые зубья!

Нас везли в пустыню. Даже непритязательный деревенский Павлодар скоро припомнится нам как сверкающая столица.

Теперь нас принял конвой Степного лагеря. За нами пригнали грузовики с надстроенными бортами и с решётками в передней части кузова, которыми автоматчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со скрюченными ногами, лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ломали на ухабах восемь часов. Автоматчики сидели на крыше кабины и дула автоматов всю дорогу держали направленными нам в спины.

В кабинах грузовиков ехали лейтенанты, сержанты, а в нашей кабине — жена одного офицера с девчушкою лет шести. На остановках девочка выпрыгивала, бежала по луговым травам, собирала цветы, звонко кричала маме. Её ничуть не смущали ни автоматы, ни собаки, ни безобразные головы арестантов, торчащие над бортами кузовов, наш страшный мир не омрачал ей луга и цветов, даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу…

Мы пересекли Иртыш. Мы долго ехали заливными лугами, потом ровнейшей степью. Дыхание Иртыша, свежесть степного ветра, запах полыни охватывали нас в минуты остановок, когда улегались вихри светло-серой пыли, поднимаемой колёсами. Густо опудренные этой пылью, мы

смотрели назад, молчали — и думали о лагере, куда мы едем, с каким-то сложным нерусским названием, *Экибастуз*. Никто не мог вообразить, где он есть на карте, представлялось даже, что это где-то недалеко от границ Китая. Кавторанг Бурковский (новичок и 25-летник, он ещё диковато на всех смотрел, ведь он коммунист и посажен по ошибке, а вокруг — враги народа; меня он признавал лишь за то, что я — бывший советский офицер и в плену не был) напомнил мне забытое из университетского курса: перед днём осеннего равноденствия протянем по земле полуденную линию, а 23 сентября вычтем высоту кульминации солнца из девяноста — вот и наша географическая широта. Всё-таки утешение, хотя долготы не узнать.

Нас везли и везли. Стемнело. По крупнозвёздному чёрному небу теперь ясно было, что везли нас на юго-юго-запад.

В свете фар задних автомобилей возникало странное марево: весь мир был чёрен, весь мир качался, и только клочки пыльного облака светились, кружились и рисовали недобрые картины будущего.

На какой край света? В какую дыру везли нас, где суждено нам делать нашу революцию?

Подвёрнутые ноги так затекли, будто были уже и не наши. Лишь под полночь приехали мы к лагерю, обнесенному высокой колючкой, освещённому в чёрной степи и близ чёрного спящего посёлка ярким электричеством вахты и вокруг зоны.

Ещё раз перекликнув по делам — «…марта тысяча девятьсот семьдесят пятого!» — на оставшиеся эти четверть столетия нас ввели сквозь двойные высоченные ворота.

Лагерь спал, но ярко светились все окна всех бараков, будто там брызжела жизнь. Ночной свет — значит, режим тюремный. Двери бараков были заперты извне тяжёлыми висячими замками. На прямоугольниках освещённых окон чернели решётки.

Вышедший помпобыт был облеплен лоскутами *номеров*.

Ты читал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера?

Глава 3. Цепи, цепи

Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены. Ветерок перемен дул только на сквозняках — на пересылках. Сюда же, за высокие заборы Особлагов, он не задувал.

Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решётки для барачных окон. Слава им, пока не названным! Это были люди. Их посадили в БУР. Отковали решётки для Минлага — в Котласе. И никто не поддержал кузнецов.

Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями ИТЛ.

Пригнанным с полярного Севера этапам не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новорудное они спрыгивали из красных вагонов — на красноватую же землю. Это была та джезказганская медь, добыванья которой ничьи лёгкие не выдерживали больше четырёх месяцев. Тут же, на первых провинившихся, радостные надзиратели продемонстрировали своё новое оружие: наручники, не применявшиеся в ИТЛ, — блестяще никелированные наручники,

массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции. Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки: они сдавливали кисти с острой постоянной болью и часами так держали, да всё за спиной, на вывернутых руках.

В Берлаге наручниками пользовались истово: за всякую мелочь, за неснятые шапки перед надзирателем. Надевали наручники (руки назад) и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали: «Гражданин начальник, больше не буду! Снимите наручники!»

Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех Особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки колючки и ещё спирали Бруно рассыпаны в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее ставились пулемёты и залегали пулемётчики.

В каждом лагпункте была каменная тюрьма — БУР (я и дальше буду звать её БУР, как говорили у нас, по привычке ИТЛ, хотя здесь это не совсем верно, — это была именно лагерная тюрь-

ма). С сажаемых в БУР обязательно снимались телогрейки: мучение холодом было важной особенностью БУРа.

Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами: заменить фамилию заключённого — номером. Арестанту давали четыре (в иных лагерях — три) белых тряпочки размером сантиметров 8 на 15. Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех лагерях одинаково, но обычно — на спине, на груди, надо лбом на шапку, ещё на ноге или на руке (ФОТО 13[63]).

Работа для Особлагов выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Первые отделения Степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди (1-е и 2-е отделения — Рудник, 3-е — Кенгир, 4-е — Джезказган). Бурение было сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулёз. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск (под Карагандою) — «всесоюзную инвалидку» Особлагов.

---

[63] Примечания: 63

Эта фотография сделана уже в ссылке, но и телогрейка, и номера — живые, лагерные, и приёмы — именно те. Весь Экибастуз я проходил с номером Щ-232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Щ-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас.

О Спасске можно бы сказать и особо.

В Спасск присылали инвалидов — конченых инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но, удивительно! — переступив целебную зону Спасска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева, начальника всего Степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолёте, этот недобрый коренастый человек шёл по зоне и присматривался, кто ещё у него не работает. Он любил говорить: «Инвалид у меня во всём Спасске один — без двух ног. Но и он на лёгкой работе — посыльным работает». Одноногие все использовались на сидячей работе: бой камня на щебёнку, сортировка щепы. Это Чечев придумал — четырёх одноруких (двух с правой рукою и двух с левой) ставить на носилки. Это у Чечева придумали — вручную крутить станки мехмастерских, когда не было электроэнергии. Это Чечеву нравилось — иметь «своего профессора», и биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске «лабораторию» (с голыми столами). Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску против силикоза для джезказганских работяг, — Чечев не пустил

её в производство. Работают без масок, и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингента.

В конце 1948 года в Спасске было около 15 тысяч зэков обоего пола. Шесть тысяч человек ходило работать на дамбу за 12 километров. Так как они были всё-таки инвалиды, то шли туда более двух часов и более двух часов назад. К этому следует *прибавит*ь 11-часовой рабочий день. (Редко кто выдерживал на той работе два месяца.)

Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим — 650.

Ещё не знал Спасск медикаментов (на такую ораву где взять! да и всё равно им подыхать) и постельных принадлежностей.

Да, и ещё же была работа: каждый день 110–120 человек выходило на рытьё могил. Два «студебеккера» возили трупы в обрешётках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 умирало по 60–70 человек в день, а зимой по сотне.

(В других Особлагах не было такой смертности и кормили лучше, но и работы же покрепче, ведь не инвалиды, — это читатель уравновесит уже сам.)

Всё это было в 1949 году — на тридцать втором

году Октябрьской революции, через четыре года после того, как кончилась война и её суровые необходимости, через три года после того, как закончился Нюрнбергский процесс и всё человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением: «это не повторится!»...

Ко всему этому режиму ещё добавить, что с переездом в Особлаг почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для которых ты превращался в миф. (Два письма в год, — но не отправлялись и эти, куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы. Кто смеет проверить цензорш, сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работу — сжигали часть писем, чтобы не проверять. А что твоё письмо не дошло, — всегда можно свалить на почту. В Спасске позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре, — те нашли там сотни неотправленных, но ещё и не сожжённых писем, — забыли цензоры поджечь. Эти цензорши МГБ, для своего удобства сжигавшие *душу* узников, — были ли они гуманнее тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы убитых?) А уж о свиданиях с родственниками в Особлагах и

не заикались — адрес лагеря был зашифрован, и не допускалось приехать никому.

Если ещё добавить, что хемингуэевский вопрос *иметь или не иметь*[64] почти не стоял в Особлагах, он со дня создания их был уверенно разрешён в пользу *не иметь*. Не иметь денег и не получать зарплаты (в ИТЛ ещё можно было заработать какие-то гроши, здесь — ни копейки). Не иметь смены обуви или одежды, ничего для поддевания, утепления или сухости. Бельё (и что то было за бельё! — вряд ли хемингуэевские бедняки согласились бы его натянуть) менялось два раза в месяц, одежда и обувь — два раза в год, кристальная ясность.

Конвой был ещё одной силой, сжимающей воробышка нашей жизни в жмых. Эти «краснопогонники», регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой тёмной, нерассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам — окрики, лай собак, лязг затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы.

Мы были подавленные жалкие рабы на первом

---

[64] Примечания: 64

Перефразировано название романа Эрнеста Хемингуэя «Иметь и не иметь» (1937). — *Примеч. ред.*

и на втором году Особых лагерей — и о периоде этом довольно сказано в «Иване Денисовиче».

Как же это сложилось? Почему многие тысячи этой скотинки, Пятьдесят Восьмой, — но ведь *политических* же, чёрт возьми? но ведь теперь-то — отделённых, выделенных, собранных вместе, — теперь-то, кажется, политических? — вели себя так ничтожно? так покорно?

Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетённые, и угнетатели пришли из ИТЛовских лагерей, и десятилетия рабской и господской традиции стояли и за теми и за другими. На новое место они привозили с собой всеобщую внушённую уверенность, что в лагерном мире человек человеку — крыса и людоед, и не бывает иначе.

И никакого просвета не предвиделось.

Мы, четверть сотни новоприбывших, сбились в одну бригаду, и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих — того же Павла Баранюка. Объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо.

Показали бригадиру кучу камней у БУРа и объяснили, что тот БУР, который стоит, это только половина БУРа, а нужно теперь пристроить

такую же вторую половину, и это сделает наша бригада.

Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя.

Стояла долгая сухая осень — за весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен — он дул тонко, щемяще и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов БУРа, — ни посёлок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша ещё проволочная зона не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадёжности этой степи.

Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и ещё бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мёл по степи. Да уж не обойтись, проще повторить стихотворение, которое я сложил в те дни на кладке БУРа.

КАМЕНЩИК

Вот – я каменщик. Как у поэта сложено,

Я из камня дикого кладу тюрьму.

Но вокруг – не город: Зона. Огорожено.

В чистом небе коршун реет настороженно.

Ветер по степи... И нет в степи прохожего,

*Чтоб спросить меня: кладу – **кому**?*

Стерегут колючкой, псами, пулемётами, —

Мало! Им ещё в тюрьме нужна тюрьма...

Мастерок в руке. Размеренно работаю,

И влечёт работа по себе сама.

Был майор. Стена не так развязана.

Первых посадить нас обещал.

Только ль это! Слово вольно сказано,

На тюремном деле – галочка проказою,

Что-нибудь в доносе на меня показано,

С кем-нибудь фигурной скобкой сообща.

Вперекличь дробят и тешут молотки проворные.

За стеной стена растёт, за стенами стена…

Шутим, закурив у ящика растворного.

Ждём на ужин хлеба, каш добавка вздорного.

А с лесов, меж камня – камер ямы чёрные,

Чьих-то близких мук немая глубина…

И всего-то нить у них – одна автомобильная,

Да с гуденьем проводов недавние столбы.

Боже мой! Какие мы бессильные!

Боже мой! Какие мы рабы!

Из нас ещё многим предстояло посидеть в этом самом БУРе, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно, надёжно выкладывали. И в самое время работы, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря, близ нас, подъехал воронок. Из воронка вытолкнули четверых

— избитых, окровавленных; двое спотыкались, одного тянули; только первый, Иван Воробьёв, шёл гордо и зло.

Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостями — и завели в готовое крыло БУРа.

А мы — клали камни…

Побег! Что за отчаянная смелость! — не имея гражданской одежды, не имея еды, с пустыми руками — пройти зону под выстрелами — и бежать — в открытую безводную бесконечную голую степь! Это даже не замысел — это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас.

А мы… кладём камни.

И обсуждаем. Это — уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался.

Приходят в зону бригады и рассказывают, как бежала группа Воробьёва: рвала зону грузовиком.

Ещё неделя. Достаточное время четырём тысячам экибастузцев помыслить, что побег — безумие, что он не даёт ничего. И — в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи — побег!!! Да это эпидемия какая-то: снова

мчится конвойный воронок — и привозит двоих (третий убит на месте). Этих двоих — Батанова и совсем какого-то маленького, молодого, — окровавленных, проводят мимо нас, под нашими подмостями, в готовое крыло, чтобы там бить их ещё, и раздетыми бросить на каменный пол, и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих, искромсанных и гордых?

Мы — кладём. Носит раствор кавторанг Бурковский. Всё, что строится, — всё на пользу Родине.

Дней пять не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал — но будто небо всё металлическое и в него грохают огромным ломом — такая новость: побег!! опять побег!!! И на этот раз удачный!

Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка — и всё сошлось у вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них — и вот отменяется развод и устраивают всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам, — ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Всё время результат у них разный! До сих пор не знают, сколько же бежало? кто именно? когда?

куда? на чём?

Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом, — но мы ничуть не в обиде, мы рады-то как! Всякий удачный побег — это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все — именинники! Мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы! Мы-то вот убежали! (И, глядя в глаза начальству, мы все затаённо думаем: хоть бы не поймали! хоть бы не поймали!)

К тому ж — и на работу не вывели, и понедельник прошёл для нас как второй выходной. (Хорошо, что ребята *дёрнули* не в субботу.)

Но — кто ж они? кто ж они?

В понедельник вечером разносится: это — Георгий Тэнно с Колькой Жданком.

Мы кладём тюрьму выше. Мы уже сделали надверные перемычки, мы уже замкнули сверху маленькие оконца, мы уже оставляем гнёзда для стропил.

Три дня с побега. Семь. Десять. Пятнадцать.

Нет известий!

Бежали!!

Глава 4. Почему терпели?

По принятой кадетской (уж не говорю — социалистической) интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирания татар. Тирания московских князей. Пять столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства. (Ни — Земских Соборов, ни — сельского міра, ни вольного казачества или северного крестьянства.) Иван ли Грозный, Алексей Тишайший, Пётр Крутой, или Екатерина Бархатная, или даже Александр Второй — вплоть до Великой Февральской революции все цари знали, дескать, одно: *давить*. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Строй гнул подданных, бунты и восстания раздавливались неизменно.

Но! но! Давили, да со скидкой! Раздавливались — да не в нашем высокотехническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском каре, — ***все до единого были прощены*** через четыре дня. (Сравни: в Берлине 1953-го, Будапеште 1956-го, Новочеркасске 1962-го расстрелы наших солдат — не восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу.) А из мятежных

декабристских офицеров казнено только пятеро. У нас бы — хоть один в живых остался?

И ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков, Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. «Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?» — спросил Пушкина Николай I. Пушкин ответил искренне: «На Сенатской». И был за это… отпущен домой. А между тем мы прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина: статья 58, пункт 2, вооружённое восстание, в самом мягком случае через статью 19 (намерение), — и если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. (А Гумилёву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей[65].)

Крымская война — изо всех войн счастливейшая для России — принесла не только освобождение крестьян и александровские реформы — одновременно с ними родилось в России мощное общественное мнение.

Ещё по внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали

---

[65] Примечания: 65

Николай Степанович Гумилёв (1886–1921), поэт, арестован ЧК 3 августа 1921 года, расстрелян 21 августа под Петроградом как участник контрреволюционного заговора. В 1991 году дело в отношении Гумилёва прекращено «за отсутствием состава преступления». — *Примеч. ред.*

суды. Но что это? — заседали-заседали, а Вера Засулич, тяжело ранившая начальника столичной полиции(!), — оправдана??..[66] И Вера Засулич не сама покупала револьвер для стрельбы в Трепова, ей купили, потом меняли на бо́льший калибр, дали медвежий, — и суд даже не задал вопроса: а кто же купил? где этот человек? Такой соучастник по русским законам не считался преступником. (По советским его бы тотчас закатали *под вышку*.)

Семь раз покушались на самого Александра II. И что же? — разорил и сослал он пол-Петербурга, как было после Кирова? Что вы, это и в голову не могло прийти. Посадил сомнительных? Да как это можно?!.. Тысячи казнил? Казнили — пять человек. Не осудили за это время и трёхсот. (А если бы *одно* такое покушение было на Сталина, — во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось?)

С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост. Он не имел

---

[66] Примечания: 66

Вера Ивановна Засулич (1849–1919), революционерка, народница. В январе 1878 года несколькими выстрелами из пистолета ранила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, отдавшего за полгода перед тем приказание подвергнуть порке заключённого студента. Судом присяжных была оправдана. — *Примеч. ред.*

мужества для действия. У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они всё озирались и прислушивались — а что скажет общественное мнение?

Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнён за покушение на Александра III. И что ж? В том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да ещё — на юридическое отделение. Это — не удивительно?

Правда, в том же учебном году Владимира Ульянова исключают из университета. Но исключают — за организацию противоправительственной студенческой сходки. Значит, младший брат цареубийцы подбивает студентов к неповиновению? Что*о* бы он получил у нас? Да безусловно расстрел (а остальным по двадцать пять и по десять)! А его — исключают из университета. Какая жестокость! Да ещё и ссылают… на Сахалин? Нет, в семейное поместье Кокушкино, куда он на лето всё равно едет. Он хочет работать, — ему дают возможность… валить лес в тайге? Нет, заниматься юридической практикой в Самаре, при этом участвовать в нелегальных кружках. После этого — сдать экстерном за Петербургский

университет. (А как же с анкетами? Куда же смотрит спецчасть?)

И вот через несколько лет этот самый молодой революционер арестован на том, что создал в столице «Союз борьбы за освобождение» — не меньше! неоднократно держал к рабочим «возмутительные» речи, писал листовки. Его пытали, морили? Нет, ему создали режим, содействующий умственной работе. В петербургской следственной тюрьме, где он просидел год и куда передавали ему десятки нужных книг, он написал бо́льшую часть «Развития капитализма в России», а кроме того, пересылал — легально, через прокуратуру! — «Экономические этюды» в марксистский журнал «Новое слово».

Но потом-то его расстреляли по приговору Тройки? Нет, даже тюрьмы не дали, сослали. В Якутию, на всю жизнь?? Нет, в благодатный Минусинский край, и на три года. Его везут туда в наручниках, в вагон-заке? О нет! Он едет как вольный, — ни одного этапа, ни одной пересыльной тюрьмы по пути в Сибирь (ни на обратной, конечно, дороге) Ленин не изведал никогда. Но на какие же средства он живёт в далёком селе, ведь он не найдёт себе работы? А он попросил казённое содержание, ему платят выше потребностей

(хотя и мать его достаточно состоятельна и шлёт ему всё заказанное). Нельзя было создать условий лучших, чем Ленину в его единственной ссылке. При исключительной дешевизне здоровая пища, изобилие мяса (баран на неделю), молока, овощей, неограниченное удовольствие охоты, излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей, да даже жена и тёща его не напрягались: за 2 рубля с полтиной в месяц 15-летняя крестьянская девочка выполняла в их семье всю чёрную работу.

Он отбыл ссылку. Ему автоматически продлили? сделали вечную? Зачем же, это было бы противозаконно. Ему разрешено жить во Пскове. Потом — и вовсе уже отпускают — поездить по России, и за границу («полиция не видит препятствий» выдать ему заграничный паспорт)!

Вот так можно проследить слабость царских преследований на любом крупном социал-демократе (а на Сталине бы — особенно).

Правда, эсеров преследовали значительно круче. Но как — круче? Разве мал был криминал у Гершуни (арестованного в 1903)? у Савинкова (в 1906)? Они руководили убийствами крупнейших лиц империи. Но — не казнили их. Тем более Ма-

рию Спиридонову, в упор ухлопавшую всего лишь статского советника, — казнить не решились, послали на каторгу. А ну бы в 1921 у нас подавителя Тамбовского крестьянского восстания застрелила семнадцатилетняя гимназистка, — сколько бы *тысяч* гимназистов и интеллигентов тут же было бы без суда расстреляно в волне «ответного» красного террора?

Главной особенностью преследований (непреследований) в царское время было, пожалуй, именно: что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова (жена Троцкого) в 1907 беспрепятственно возвращается в Россию, когда Троцкий был — осуждённый преступник. И мать Ленина, и мать Крупской пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданско-генеральское или офицерское положение своих покойных мужей, — и дико было представить, чтоб стали их утеснять.

Когда был, как говорится, «репрессирован» Тухачевский, то не только разгромили и посадили всю его семью, но арестовали двух его братьев с жёнами, четырёх его сестёр с мужьями, а всех племянников и племянниц разогнали по детдомам и сменили им фамилии на Томашевичей, Ростовых и т. д. Жена его расстреляна в казахстанском

лагере, мать просила подаяние на астраханских улицах и умерла[67]. И то же можно повторить о родственниках сотен других именитых казнённых. Вот что значит преследовать.

А как наказывали студентов (за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 году), вспоминает Иванов-Разумник: в петербургской тюрьме — как студенческий пикник: хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов-Разумник даже имел наглость проситься у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего Художественного театра — билет пропадал! А потом ему присудили «ссылку» — по его выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил по всему Крыму.

В это время Горький в Трубецком бастионе

[67] Примечания: 67

Этот пример я привожу из-за родственников, невиновных родственников. Сам Тухачевский входит у нас теперь в новый культ, который я не собираюсь поддерживать. Он пожал то, что посеял, руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания.

написал «Дети солнца»[68].

В таких-то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна политическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование.

Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Это и мы согласимся: в конце-то концов дело не в политической свободе, да! И даже не в удачном политическом устройстве общества, да! Дело, конечно, в нравственных основаниях общества! — но это в конце, а в начале? А — на первом шаге? Ясная Поляна в то время была открытым клубом мысли. А оцепили б её в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу, — запросил бы тогда и Толстой политической свободы.

В самое страшное время «столыпинского террора» либеральная «Русь» на первой странице без помех печатала крупно: «Пять казней!.. Двадцать казней в Херсоне!» Толстой рыдал, говорил, что

---

[68] Примечания: 68

Трубецкой бастион — одна из тюрем Петропавловской крепости. За прокламацию 9 января 1905 года с призывом свергнуть самодержавие М. Горький был арестован и провёл месяц в Трубецком бастионе. Написанная в бастионе пьеса «Дети солнца» была в том же году поставлена в Московском Художественном театре. — *Примеч. ред.*

жить невозможно, что *ничего нельзя представить себе ужаснее*.

«Ничего нет ужаснее», — воскликнул Толстой? А между тем это так легко представить — ужаснее. Ужасней, это когда казни не от поры до поры в каком-то всем известном городе, но *всюду и каждый день*, и не по двадцать, а по двести, в газетах же об этом ничего не пишут ни крупно, ни мелко, а пишут, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Разбили рыло, говорят — так и было.

Нет, не было так! Совсем не так, хотя русское государство уже тогда считалось самым угнетательским в Европе.

Русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы. Царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городового хотя бы с долей симпатии — есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор.

Общественное мнение. Я не знаю, как опреде-

ляют его социологи, но мне ясно, что оно может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правительственного, или партийного, или от голоса прессы.

И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет никакой гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнётся любой ночью, каждой ночью — вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днём.

———

К этому ответу я и веду. Потому мы терпели в лагерях, что не было общественного мнения на воле.

Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта — режиму, которому его подвергли? Очевидно, вот они:

1. Протест.
2. Голодовка.
3. Побег.
4. Мятеж.

Так вот, как любил выражаться Покойник,

«каждому ясно», что первые два способа имеют силу (и тюремщики боятся их) *только* из-за общественного мнения! Без этого смеются они нам в лицо на наши протесты и голодовки.

Это очень эффектно: перед тюремным начальством разорвать на себе рубаху, как Дзержинский, и тем добиться своих требований. Но это только при общественном мнении. А без него — кляп тебе в рот, и ещё за казённую рубаху будешь платить.

Обречённость же наших голодовок достаточно была показана в Части Первой.

А *побеги*? Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главнейшие места царской каторги, — но о таких отчаянных побегах, с шансами один против ста тысяч, какие бывали с каторги нашей, я оттуда не наслышан. Со ссылки же царской не бежал, кажется, только ленивый. Беглецу не грозил ни застрел при поимке, ни избиение, ни двадцать лет каторжных работ, как у нас. Пойманного обычно водворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра беспроигрышная.

Наши же побеги, начиная с соловецких, в утлой лодочке через море или в трюме с брёвнами, и кончая жертвенными, безумными, безнадёжны-

ми рывками из позднесталинских лагерей (им посвящаются дальше несколько глав), — наши побеги были затеями великанов, но великанов обречённых. Столько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги дореволюционных лет — но те побеги легко удавались, а наши почти никогда.

Потому не удавались, что успех побега на поздних стадиях зависит от того, как настроено население. А наше население боялось помогать или даже *продавало* беглецов — корыстно или идейно. Устами Сталина раз навсегда призвали страну *отрешиться от благодушия*! А «благодушием» Даль называет «доброту души, любовное свойство её, милосердие, расположение к общему благу». Вот от чего нас призвали отречься большевики, и мы отреклись поспешно, — от расположения к общему благу! Нам довольно стало нашей собственной кормушки.

Что же касается арестантских мятежей, этак на три, на пять, на восемь тысяч человек, — история наших революций не знала их вовсе.

А мы — знали.

Но по тому же заклятью самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым ничтожным результатам.

Потому что общество не было готово. Потому что без общественного мнения мятеж даже в огромном лагере — не имеет никакого пути развития.

Так что на вопрос: «Почему терпели?» — пора ответить: а мы — не терпели! Вы прочтёте, что мы совсем не терпели.

В Особлагах мы подняли знамя *политических* и стали ими!

Глава 5. Поэзия под плитой, правда под камнем

В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. Приехав в Экибастуз на шестом году заключения, я, напротив, задался сразу очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более глубоким. И я здесь, на каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка такая специальность подвернулась — каменщиком. А при повороте судьбы я ещё побывал и литейщиком.

Сперва были робость и колебания: верно ли? выдержу ли? Но именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, — это общее, твёрдое, кремнистое дно, — начались самые важные годы моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь как бы уже ни изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там.

А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму.

Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на *объект*, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив.

Но как же *писать* в Особом лагере? Память — это единственная *заначка*, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. Поначалу я мало верил в возможности памяти и потому решил писать стихами. Это было, конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо утолакивается в тайные глубины того, что мы носим в голове. Освобождённая от тяжести суетливых ненужных знаний, память арестанта поражает ёмкостью и может всё расширяться. Мы мало верим в нашу память!

Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо — как контрольные. Раз в месяц я повторял всё написанное. Если при этом на пятидесятое или сотое место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувших беглянок.

Но прежде чем что-то запомнить, хочется за-

писать и отделать на бумаге. Я решил писать маленькими кусочками по 12–20 строк, отделав — заучивать и сжигать. Я твёрдо положил не доверять простому разрыву бумаги. А с клочками несожжёнными медлить было нельзя. Три раза я крупно с ними попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками.

Один раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк шестьдесят из пьесы («Пир победителей»), и листика этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочёркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу:

— Письмо? — спросил он.

(Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось бы «письмо», если бы его передали оперу!)

— Это — к самодеятельности, — обнаглел я. — Пьеску вспоминаю. Вот постановка будет — приходите.

Посмотрел-посмотрел парень на ту бумажку, на меня, сказал:

— Здоровый, а ду-урак!

И порвал мой листик надвое, начетверо, наво-

сьмеро. Я испугался, что он бросит наземь, — ведь обрывки были ещё крупны, здесь, перед вахтой, они могли попасться и более бдительному начальнику, вон и сам начальник режима в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошёл сквозь ворота и поспешил бросить их в печку.

А в другой раз, работая на постройке БУРа, я написал «Каменщика». За зону мы тогда не выходили, и значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был «Каменщику» день третий, я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны, и думать забыл, что это — недалеко от того места, где недавно ушёл под проволоку Тэнно. А надзиратель, видимо, таился в засаде, он сразу взял меня за шиворот и в темноте повёл в БУР. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего «Каменщика» и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги. В БУРе меня обыскали и отобрали у меня оружие — половину бритвенного лезвия, и я бы ещё сбегал найти «Каменщика». Но за это время

проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне, — надзиратель сам отвёл меня в барак и запер там.

Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего «Каменщика»? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор — в бригаде, кладущей БУР.

И так всё моё многолетнее писанье — уже сделанное, а пуще задуманное, — всё металось где-то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочком. А я — молился. Когда нам плохо — мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо.

Утром по подъёму, в пять часов, захлёбываясь от ветра, я пошёл на то место. Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать! От того места ветер дул в сторону штабного барака, потом режимки (где тоже часто снуют надзиратели и много переплетенной проволоки), потом за зону — на улицу посёлка. Час до рассвета я бродил нагнувшись, всё зря. И уже исчаялся. А когда рассвело — комочек забелел мне в трёх шагах от того места, где я его бросил! — ветром покатило его вбок и застромило между

лежащими досками.

Я до сих пор считаю это чудом.

Так я писал. Зимой — в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне ещё не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлёпывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал её вкус, не слышал окружающих — всё лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по степи, — а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актёра.

Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под неё, в буран переходили по сугробу, — а для меня проволоки как не было, я всё время был в своём долгом далёком побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы.

Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой Тайне, эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага, чтобы в

какие-то будущие годы, может быть уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу.

В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочёл первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом:

Я знаю сам, что это – не игра,
Что это – смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради.

Он тоже писал в лагере! — ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту:

Ведь только длинный ряд могил —
Моё воспоминанье,
Куда и я бы лёг нагим,
Когда б не обещанье
Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало…

Сколько было нас таких на Архипелаге? Я

уверен: гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в памяти. А кто-то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто-то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осторожные руки.

* * *

В лагере — не как на воле. На воле каждый старается подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все обезличены — одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью, тяжёлой работой. Чтобы сквозь обезличенную приниженную наружность различить свет души — надо приобрести навык.

Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит безотчётное сознакомление и собирание подобных.

Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаёшь хоть осколочек его биографии. Вот работают рядом землекопы. Пошёл густой мягкий снег. Потому ли, что скоро перерыв, — бригада вся ушла в землянку. А один — остался стоять.

На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так удобно, как статуя. И, как статуе, снег засыпает ему голову, плечи, руки. Он смотрит сквозь эту кишь снежинок — на зону, на белую степь. У него широкая кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жёсткой щетиной. Стоять он остался — смотреть на мир и думать. Здесь его нет.

Я незнаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нём. Этот человек — толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать и потому нельзя брать в руки оружия. В 1941 его мобилизовали. Он кинул оружие и близ Кушки, куда был прислан, перешёл афганскую границу. Никаких немцев тут не было и не ожидалось, и спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстрелив по живому, — но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его право не убивать людей и пропустят в веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало беглеца в колодки. И именно так, в колодках, продержало его три года в тюрьме, ожидая, чья возьмёт. Верх взяли Советы — и афганцы услуж-

ливо вернули им дезертира. Отсюда только и пошёл считаться его нынешний срок.

Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем, это — марка. И почтовую можно выпустить. И иностранцев можно свозить в Ясную Поляну. И мы охотно обсосём, как он был против царизма и как он был предан анафеме (у диктора даже дрогнет голос). Но если кто-нибудь, землячки, принял Толстого всерьёз, если вырос у нас живой толстовец, — эй, поберегись! — не попадайся под наши гусеницы!

…Иногда на стройке побежишь попросить у заключённого десятника складной метр — замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а тебя в лицо не знает — тут много бригад, но почему-то сразу безоружно протянет тебе свою драгоценность (в лагерном понимании это просто глупость). А когда ты ему этот метр ещё и вернёшь, — он же тебя будет очень благодарить. Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк, зовут его Юрий Венгерский. Ты ещё о нём услышишь.

…Иногда идёшь в колонне, и надо бы чётки в рукавице перебирать или думать над следующими строфами, — но уж очень занятный окажется

с тобой в пятёрке сосед — новое лицо, бригаду новую послали на ваш объект. Пожилой интеллигентный симпатичный еврей с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамед, он кончил университет… какой, какой? Бухарестский, по кафедре биопсихологии. Такие есть у него между прочим специальности — физиономист, графолог. А сверх того он — йог и готов хоть завтра начать с тобой курс хатха-йоги.

Потом я ещё присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники предлагали ему устроиться в контору, он не пошёл: ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в пятьдесят лет он бесстрашно бьёт киркой. Но, правда, как истый йог, владеет своим телом: при десяти градусах Цельсия он раздевается и просит товарищей облить его из брандспойта. Он ест не как все мы — поскорее затолкнуть эту кашу в рот, а — отвернувшись, сосредоточенно, медленно, маленькими глоточками, специальной крохотной ложечкой. (А впрочем — скоро умрёт как простой смертный от простого разрыва сердца.)

Сколько же среди людей поэтов! — так много, что поверить нельзя. (Меня это иногда даже в тупик ставит.) Вот эти два молодых ждут только

конца срока и будущей литературной известности. Они поэты — открытые, они не таятся. Общее у них то, что они оба какие-то светленькие, чистые. Оба — недоучившиеся студенты. Коля Боровиков — поклонник Писарева (и значит, враг Пушкина), работает фельдшером санчасти. Тверичанин Юрочка Киреев — поклонник Блока и сам пишущий под Блока — ходит за зону и работает в конторе мехмастерских. Его друзья (а какие друзья, — на двадцать лет старше и отцы семейств) смеются над ним, что в ИТЛовском лагере на Севере какая-то всем доступная румынка предлагала ему себя, а он не понял и писал ей сонеты. Когда смотришь на его чистую мордочку — очень веришь этому. Проклятье юношеской девственности, которую теперь надо тащить через лагеря.

Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин, лучами интуиции делаешь с каждого снимок, чтобы не взорваться. И даже при этой всеобщей осторожности — сколько поэтичных людей открылось мне в бритой головной коробке, под чёрной курточкой зэка!

А сколько — удержались, чтобы не открыться?

А скольких, тысячекратно! — я вообще не встретил?

А скольких удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан?!?

Глава 6. Убеждённый беглец

Когда Георгий Павлович Тэнно рассказывает теперь о прошлых побегах, своих, и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых непримиримых и настойчивых — об Иване Воробьёве, Михаиле Хайдарове, Григории Кудле, Хафизе Хафизове — он с похвалой говорит: «Это был *убеждённый беглец*!»

Убеждённый беглец! — это тот, кто ни минуты не сомневается, что человеку жить за решёткой нельзя! — ни даже самым обеспеченным придурком, ни в бухгалтерии, ни в КВЧ, ни в хлеборезке! Тот, кто, попав в заключение, всё дневное время думает о побеге, и ночью во сне видит побег. Тот, кто *подписался* быть непримиримым, и все свои действия подчиняет только одному — побегу! Кто ни единого дня не сидит в лагере просто так: всякий день он или готовится к побегу, или как раз в побеге, или пойман, избит и в наказание сидит в лагерной тюрьме.

Убеждённый беглец! — это тот, кто знает, на что идёт. Кто видел и трупы застреленных беглецов, для показа разложенные у развода. Кто видел и привезенных живыми — синекожего,

кашляющего кровью, которого водят по баракам и заставляют кричать: «Заключённые! Смотрите, что со мной! Это же будет и с вами!» Кто знает, что чаще всего труп беглеца слишком тяжёл, чтобы его доставлять в лагерь. А поэтому приносят в вещмешке только голову или (по уставу так верней) — ещё правую руку, отрубленную по локоть, чтобы спецчасть могла проверить отпечаток пальцев и списать человека.

Убеждённый беглец! — это тот, против которого и вмуровывают решётки в окна; против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воздвигают вышки, заборы, заплоты, расставляют секреты, засады, кормят серых собак багровым мясом.

Убеждённый беглец — это ещё и тот, кто отклоняет расслабляющие упрёки лагерных обывателей: из-за беглецов другим будет хуже! режим усилят! по десять раз на проверку! баланда жидкая! Кто отгоняет от себя шёпот других заключённых не только о смирении («и в лагере можно жить, особенно с посылками»), но даже о протестах, о голодовках, ибо это не борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы он видит один, он верит одному, он служит одному — побегу!

Он — просто не может иначе! Он так создан. Как

птица не вольна отказаться от сезонного перелёта, так убеждённый беглец не может не бежать.

В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тэнно спрашивали мирные лагерники: «И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты можешь найти на воле, особенно на теперешней?» — «Как — что? — удивлялся Тэнно. — Свободу! Сутки побыть в тайге не в кандалах — вот и свобода!»

Таких, как он, как Воробьёв, ГУЛАГ и Органы не знали в своё среднее время — время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое советское время, а потом уж только после войны.

Вот таков Тэнно. Во всяком новом лагере (а его этапировали частенько) он был вначале подавлен, грустен, — пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, — Тэнно весь просветлялся и улыбка торжествовала на его губах.

* * *

Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от рождения. Ребёнком он из брянского интерната бежал «в Америку», то есть на лодке по Десне; из пятигорского детдома

зимой — в нижнем белье перелез через железные ворота — и к бабушке. И вот что самобытно: в его жизни переплетаются мореходная линия и цирковая. Он кончил мореходное училище, ходил матросом на ледоколе, боцманом на тральщике, штурманом в торговом флоте. Кончил военный институт иностранных языков, войну провёл в Северном флоте, офицером связи на английских конвойных судах ходил в Исландию и в Англию. Но и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе и позже в промежутках между плаваниями; был тренером по штанге; выступал с номерами «мнемотехники», «запоминанием» множества чисел и слов, «угадыванием» мыслей на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привели его и к небольшому касанию с блатным миром: что-то от их языка, авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя потом с блатарями в многочисленных режимках — он ещё и ещё черпает что-то от них. Это тоже всё пригодится для убеждённого беглеца.

Весь опыт человека складывается в человеке — так получаемся мы (ФОТО 14).

В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света (знает языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда

петербургский), — но ведь нас питают надежды на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество ещё так чувствуется, так празднично, — его арестовали и привели в подвал на улице Амату, рядом с консерваторией.

Тюрьма? — за что? — не может быть! *Разберутся!* Перед этапом в Москву его ещё даже нарочно успокоили (это делается для безопасности перевозки), начальник контрразведки полковник Морщинин даже приехал проводить на вокзал, пожал руку: «Поезжайте спокойно!» Со спецконвоем их получилось четверо, и они ехали в отдельном купе мягкого вагона.

Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошёл старшина с голубыми погонами, из воронка: «Где он?»

Тюремный приём, бессонница, боксы, боксы.

Вот и следователь. «Ну, рассказывай о своей преступной деятельности». — «Я ни в чём не виноват!» — «Только папа Пий ни в чём не виноват».

В камере — вдвоём с наседкой. Так и *подгораживается*: а что было на самом деле? Несколько допросов — и всё понятно: разбираться не будут, на волю не выпустят. И значит — бежать!

Всемирная слава Лефортовской тюрьмы не удручает Тэнно. План побега подсказывает следователь — Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что становится злобен, ненавистлив.

Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битьё в этих стенах, даже не называя это пытками. Но для Тэнно сознание, что его могут безнаказанно бить, — невыносимо. Это — надругательство, и лучше тогда не жить. И когда Левшин после словесных угроз в первый раз подступает, замахивается, — Тэнно вскакивает и отвечает с яростной дрожью: «Смотри, мне всё равно не жить! А вот *глаз* один или два я тебе сейчас *вытащу*! Это я смогу!»

И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза за гиблую жизнь арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тэнно карцерами, чтоб обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, — жена Тэнно и, если он не признается, — её будут мучить ещё больше.

Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тэнно вынести не мог. Всё ясней становилось арестанту, что этого следователя придётся убить. Это соединилось и с планом побега! — майор Левшин носил тоже

морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтёра следственного корпуса Тэнно вполне мог сойти за Левшина. Правда, у него было лицо полное, лощёное, а Тэнно выхудал.

Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тэнно исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень в месте крепления с ножкой койки — проржавлен, ржавчина выела часть толщины, заклёпка держится плохо. Длина стержня — сантиметров семьдесят. Как его выломать?

Сперва надо… отработать в себе мерный счёт секунд. Потом подсчитать по каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок. Промежуток — от сорока пяти секунд до шестидесяти пяти.

В один такой промежуток — усилие, и стержень хрустнул с проржавленного конца. Второй — целый, ломать его трудней. Надо встать на него двумя ногами, — но он загремит о пол. Значит, в промежутке успеть: на цементный пол подложить подушку, стать, сломить, подушку на место, и стержень — пока хотя бы в свою кровать. И всё время считать секунды.

Сломано. Сделано!

Но это не выход: войдут, найдут, погибнешь в

карцерах. Двадцать суток карцера — потеря сил не только для побега, но даже от следователя не отобьёшься. А вот что: надпороть ногтями матрас. Оттуда вынуть немного ваты. Ватой обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть, поставлен!

Но и это — не надолго. Раз в 10 дней — баня, а за время бани — обыск в камере. Поломку могут обнаружить. Значит, действовать быстрей. Как вынести стержень на допрос?.. При выпуске из тюремного корпуса не обыскивают. Прохлопывают лишь по возвращению с допроса, и то — бока и грудь, где карманы. Ищут лезвия, боятся самоубийств.

На Тэнно под морским кителем — традиционная тельняшка, она греет тело и дух. «Дальше в море — меньше горя!» Попросил у надзирателя иголку (в определённое время её дают), якобы — пришить пуговицы, сделанные из хлеба. Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней внизу изнутри зашил рубец, — получился как карманчик (для нижнего края стержня). Ещё загодя оторвал кусочек тесёмки от кальсон.

Теперь, делая вид, что пришивает пуговицу к кителю, пришил эту тесёмку с изнанки тельняш-

ки на груди — это будет петля, направляющая для прута.

Теперь тельняшка оборачивается задом наперёд, и день за днём начинаются тренировки. Прут устанавливается на спину, под тельняшку: продевается через верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута оказывается на уровне шеи, под воротником кителя. Тренировка в том, чтобы от заглядывания до заглядывания: забросить руку к затылку — взять прут за конец, туловище отогнуть назад — выпрямиться с наклоном вперёд, как тетива лука, одновременно вытягивая прут, — и резким махом ударить по голове следователя. И снова всё на место! Заглядывание. Арестант перелистывает книгу.

Движение получалось всё быстрей и быстрей, прут уже свистел в воздухе. Если удар и не будет насмерть, — следователь свалится без сознания. Если и жену посадили, — никого вас не жаль!

Ещё заготовляются два ватных валика — всё из того же матраса. Их можно заложить в рот за зубы и создать полноту лица.

Ещё, конечно, надо быть побритым к этому дню, — а обдирают тупыми бритвами раз в неделю. Значит, день не безразличен.

Не забыть, не упустить ни одного важного дела, и всё уложить в 4–5 минут. Когда он уже будет лежать, поверженный, —

1) сбросить свой китель, надеть его, более новый, с погонами;

2) снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки, — вот на это много времени уйдёт;

3) его бритвенное лезвие заложить в специально приготовленное место в каблуке (если поймают и бросят в первую камеру, — тут перерезать себе вены);

4) просмотреть все документы, взять нужное;

. . . . . .

11) скатать вату в валики, подложить под щёки;

12) оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдёт — темно, щёлкнет выключателем — наверно, перегорела лампочка, потому следователь и ушёл в другой кабинет. Но даже если ввернут лампочку — не сразу разберутся, в чём дело.

Вот так получилось двенадцать дел, а тринадцатое будет сам побег…

Конечно, шансов очень мало, пока видно 3–5 из сотни. Почти безнадёжна, совсем неизвестна

внешняя вахта. Но не умирать здесь рабом!

И на один ночной допрос, сразу после бритья, Тэнно пришёл с железным прутом за спиной. Следователь вёл допрос, бранился, угрожал, а Тэнно смотрел на него и удивлялся: как не чувствует он, что часы его сочтены?

Колотилось сердце. Был канун праздника. Или канун казни.

Но вышло всё иначе. Около двенадцати ночи быстро вошёл другой следователь и стал шептать Левшину на ухо. Никогда так не было. Левшин заторопился, надавил кнопку, вызывая надзирателя прийти за арестованным.

И всё кончилось… Тэнно вернулся в камеру, поставил прут на место.

А другой раз следователь вызвал его заросшим (не имело смысла брать и прута).

А там — допрос дневной.

Вскоре ему сменили следователя, перевели на Лубянку. Здесь Тэнно не готовил побега (ход следствия показался ему более обнадёживающим, и не было решимости на побег), но он неотступно наблюдал и составлял тренировочный план.

Только в Бутырках разрешается тяжесть: с клочка ОСОвской бумажки ему объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает — и чувствует,

как ему полегчало, взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25-летников. Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских пяти-семи лет: двадцать пять, такую вашу мать??? — так нечего от вас ждать, значит — бежим!!

Или — смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? Да одну стрижку наголо после суда — простая стрижка, кому она досаждала? — Тэнно переживает как оскорбление, как плевок в лицо.

Теперь искать союзников. И изучать истории других побегов. Тэнно в этом мире новичок. Неужели же никто никогда не бежал?

Побеги узников, как и всякая человеческая деятельность, имеют свою историю, имеют свою теорию. Неплохо знать их, прежде чем браться самому.

История — это побеги уже бывшие. Об их технологии оперчекистская часть не издаёт популярных брошюр, она копит опыт для себя. Историю ты можешь узнать от других беглецов, пойманных. Очень дорог их опыт — кровяной,

страдательный, едва не стоивший жизни. Но подробно, шаг за шагом, расспрашивать о побегах одного беглеца, и третьего, и пятого — это не невинная шутка, это очень опасно. Это не намного безопаснее, чем спрашивать: кто знает, через кого вступить в подпольную организацию?

А теория побегов — она очень простая: как сумеешь. Убежал — значит, знаешь теорию. Пойман — значит, ещё не овладел. А букварные начала такие: бежать можно с объектов и бежать можно из жилой зоны. С объектов легче: их много, и не так устоялась там охрана, и у беглеца бывает там инструмент. Бежать можно одному — это трудней, но никто не продаст. Бежать можно нескольким, это легче, но всё зависит, на подбор вы друг ко другу или нет. Ещё есть положение в теории: надо географию так знать, чтобы карта горела перед глазами. А в лагере карты не увидишь. (Кстати, воры совсем не знают географии, севером считают ту пересылку, где было прошлый раз холодно.) Есть ещё положение: надо знать народ, среди которого ляжет побег. И такое есть методическое указание: ты должен постоянно готовить побег *по плану*, но в любую минуту быть готовым и бежать совсем иначе — *по случаю*.

Первый лагерь Тэнно был — Новорудное, близ

Джезказгана. Вот — то главное место, где обрекают тебя погибнуть. Именно отсюда ты должен и бежать! Вокруг — пустыня, где в солончаках и барханах, где — скреплённая дёрном или верблюжьей колючкой. Местами кочуют по этой степи казахи со стадами, местами нет никого. Рек нет, набрести на колодец почти невозможно. Лучшее время для побегов — апрель и май, кое-где ещё держатся озерки от таяния. Но это отлично знают и охранники. В это время устрожается обыск выходящих на работу и не дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней тряпицы.

Той осенью, 1949 года, три беглеца — Слободянюк, Базиченко и Кожин — рискнули рвануть на юг: они думали пойти там вдоль реки Сары-Су и на Кзыл-Орду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды.

На опыте их Тэнно решил, что осенью не побежит. Он аккуратно ходит в КВЧ — ведь он не беглец, не бунтарь, он из тех рассудительных заключённых, которые надеются *исправиться* к концу своего двадцатипятилетнего срока. Он помогает, чем может, он обещает самодеятельность, акробатику, мнемотехнику, а пока, перелистав всё, что в КВЧ есть, находит плохонькую карту Казахстана, не обережённую кумом. Так. Есть

старая караванная дорога на Джусалы, триста пятьдесят километров, по ней может попасться и колодец. И на север к Ишиму четыреста, здесь возможны луга. А к озеру Балхаш — пятьсот километров чистой пустыни Бет-Пак-Дала. Но в этом направлении вряд ли погонятся.

Таковы расстояния. Таков выбор…

За эту зиму Тэнно составляет и план и подбирает себе четырёх товарищей. Но пока согласно теории идёт терпеливая подготовка по плану, его один раз нечаянно выводят на только что открытый объект — каменный карьер. Карьер — в холмистой местности, из лагеря не виден. Там ещё нет ни вышек, ни зоны: забиты колья, несколько рядков проволоки. В одном месте в проволоке — перерыв, это «ворота».

А дальше за ними — апрельская степь в ещё свежей зелёной траве, и горят тюльпаны, тюльпаны! Не может сердце беглеца вынести этих тюльпанов и апрельского воздуха! Может быть, это и есть Случай?.. Пока ты не на подозрении, пока ты ещё не в режимке — теперь-то и бежать!

За это время Тэнно уже многих узнал в лагере и сейчас быстро сбивает звено из четверых: Миша Хайдаров (был в советской морской пехоте в Северной Корее, от военного трибунала бежал

через 38-ю параллель; не желая портить хороших прочных отношений в Корее, американцы выдали его назад, *четвертная*); Ядзик, шофёр-поляк из армии Андерса (свою биографию выразительно излагает по двум своим непарным сапогам: «сапоги — *о*дин от Гитл*е*ра, *о*дин — от Стал*и*на»); и ещё железнодорожник из Куйбышева Сергей.

Тут пришёл грузовик с настоящими столбами для будущей зоны и мотками колючей проволоки — как раз к началу обеденного перерыва. Звено Тэнно, любя каторжный труд, а особенно любя укреплять зону, взялось добровольно разгружать машину и в перерыв. Залезли в кузов. Но так как время всё-таки было обеденное — шевелились еле-еле и соображали. Шофёр отошёл в сторонку. Все заключённые лежали кто где, грелись на солнышке.

Бежим или нет? С собой — ничего: ни ножа, ни снаряжения, ни пищи, ни плана. Впрочем, если на машине, то по мелкой карте Тэнно знает: гнать на Джезды и потом на Улутау. Загорелись ребята: случай! Случай!

Отсюда к «воротам», на часового, получается под уклон. И вскоре же дорога сворачивает за холм. Если ехать быстро — уже не застрелят. И не оставят же часовые своих постов!

Разгрузили — перерыв ещё не кончился. Править — Ядзику. Он соскочил, полазил около машины, трое тем временем лениво легли на дно кузова, скрылись, может не все часовые и видели, куда они делись. Ядзик привёл шофёра: не задержали разгрузкой — так дай закурить. Закурили. Ну, заводи! Сел шофёр в кабину, но мотор, как назло, почему-то не заводится. (Трое в кузове плана Ядзика не знают и думают — сорвалось.) Ядзик взялся ручку крутить. Всё равно не заводится. Ядзик уже устал, предлагает шофёру поменяться. Теперь Ядзик в кабине. И сразу мотор заревел! и машина покатилась уклоном на воротного часового! (Потом Ядзик рассказывал: он для шофёра перекрывал краник подачи бензина, а для себя успел открыть.) Шофёр не спешил сесть, он думал, что Ядзик остановит. Но машина со скоростью прошла «ворота».

Два раза «стой»! Машина идёт. Пальба часовых — сперва в воздух, очень уж похоже на ошибку. Может и в машину, беглецы не знают, они лежат. Поворот. За холмом, ушли от стрельбы! Трое в кузове ещё не поднимают голов. Тряско, быстро. И вдруг — остановка, и Ядзик кричит в отчаянии: не угадал он дороги! — упёрлись в ворота шахты, где своя зона, свои вышки.

Выстрелы. Бежит конвой. Беглецы вываливаются на землю, ничком, и закрывают головы руками. Конвой же бьёт ногами и именно старается в голову, в ухо, в висок и сверху в хребет.

Общечеловеческое спасительное правило — «лежачего не бьют» — не действует на сталинской каторге! У нас лежачего именно бьют. А в стоячего стреляют.

Но на допросе выясняется, что *никакого побега не было*! Да! Ребята дружно говорят, что дремали в машине, машина покатилась, тут — выстрелы, выпрыгивать поздно, могут застрелить. А Ядзик? Неопытен, не мог справиться с машиной. Но не в степь же рулил, а к соседней шахте.

Так обошлось побоями.

А побег *по плану* готовится само собой. Делается компас: пластмассовая баночка, на неё наносятся румбы. Кусок намагниченной спицы сажается на деревянный поплавок. Теперь наливают воды. Вот и компас. Питьевую воду удобно будет налить в автомобильную камеру и в побеге нести её, как шинельную скатку. Все эти вещи (и продукты, и одежду) постепенно носят на ДОК (Деревообделочный комбинат), с которого собираются бежать, и там прячут в яме близ пилорезки. Один вольный шофёр продаёт им камеру. Наполнен-

ная водой, лежит уже и она в яме. Иногда ночью приходит эшелон, для этого оставляют грузчиков на ночь в рабочей зоне. Вот тут-то и надо бежать. Кто-то из вольняшек за принесенную ему из зоны казённую простыню (наши цены!) перерезал уже две нижние нити колючки против пилорезки, и вот-вот подходила ночь разгрузки брёвен! Однако нашёлся заключённый, казах, который выследил их яму-заначку и донёс.

Арест, избиения, допросы. Для Тэнно — слишком много «совпадений», похожих на побеги.

9 мая 1950 года, в пятилетие Победы, фронтовой моряк Тэнно вошёл в камеру знаменитой кенгирской тюрьмы. В это лето разражается зной в 40–50 градусов, все лежат голые. Попрохладнее под нарами, но ночью с криком оттуда выскакивают двое: на них сели фаланги.

В кенгирской тюрьме — избранное общество, свезенное из разных лагерей. Во всех камерах — беглецы с опытом, редкий подбор орлов. Наконец попал Тэнно к убеждённым беглецам!

Тем же летом всё это избранное общество заковали в наручники и повезли почему-то в Спасск. Там их поместили в отдельно охраняемый барак. На четвёртую же ночь убеждённые беглецы вынули решётку окна, вышли в хоздвор, без-

звучно убили там собаку и через крышу должны были переходить в огромную общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами, и в ночной тишине это было как грохот. У надзора поднялась тревога. Однако когда пришли к ним в барак, — все мирно спали, и решётка стояла на месте. Надзирателям просто померещилось.

Не суждено, не суждено пребывать им долго на месте! Убеждённых беглецов, как летучих голландцев, гонит дальше беспокойный их жребий. И если они не убежали, то везут их. Теперь эту всю пробивную компанию перебрасывают в наручниках в экибастузскую тюрьму.

Как виновных, как режимных, их выводят на известковый завод. Негашёную известь они разгружают с машин на ветру, и известь гасится у них в глазах, во рту, в дыхательном горле. При разгрузке печей их голые потные тела осыпаются пылью гашёной извести. Ежедневная эта отрава, измысленная им в исправление, только вынуждает их поспешить с побегом.

План напрашивается сам: известь привозят на автомашинах — на автомашине и вырваться. Рвать зону, она ещё проволочная здесь. Брать машину, пополней заправленную бензином. Классный шофёр среди беглецов — Коля Жданок,

напарник Тэнно по неудавшемуся побегу от пилорезки.

Жданок — чернявый, маленький, очень подвижный. Ему 26 лет, он белорус, оттуда вывезен в Германию, у немцев работал шофёром. Срок у него — тоже *четвертак*. Когда он загорается, он так энергичен, он исходит весь в работе, в порыве, в драке, в беге. Ему, конечно, не хватает выдержки, но выдержка есть у Тэнно.

Всё подсказывает им: с известкового же завода и бежать. Но бригадир штрафников Лёшка Цыган (Наврузов), *сука*, щуплый, но наводящий ужас на всех, убивший в своей лагерной жизни десятки людей (легко убивал из-за посылки, даже из-за пачки папирос), отзывает Тэнно и предупреждает:

— Я сам беглец и люблю беглецов. Смотри, моё тело прошито пулями, это побег в тайге. Но не беги из рабочей зоны: тут я отвечаю, меня опять посадят.

А может, правда экибастузские побеги становятся однообразны? Все бегут из рабочих зон, никто из жилой. Отважиться? Как-то на известковом испортили электропроводку на растворомешалке. Вызван вольный электромонтёр. Тэнно помогает ему чинить, Жданок тем

временем ворует из кармана кусачки. Там же, на известковом, беглецы готовят себе два ножа: зубилами вырубают их из лопат, в кузне заостряют, закаляют, в глиняных формах отливают им ручки из олова. У Тэнно — «турецкий», он не только пригодится в деле, но кривым блестящим видом устрашает, а это ещё важней. Ведь не убивать они собираются, а пугать.

И кусачки, и ножи пронесли в жилую зону под кальсонами у щиколоток, засунули под фундамент барака.

Главный ключ к побегу опять должно быть КВЧ. Пока готовится и переносится оружие, Тэнно своим чередом заявляет, что вместе со Жданком он хочет участвовать в концерте самодеятельности. И вот разрешается Тэнно и Жданку уходить из режимного барака после его запирания, когда вся зона ещё два часа живёт и движется. Они бродят по ещё незнакомой им экибастузской зоне, замечают, как и когда меняется на вышках конвой; где наиболее удобные подползы к зоне. В самом КВЧ Тэнно внимательно читает павлодарскую областную газетку, он старается запоминать названия районов, совхозов, колхозов, фамилии председателей, секретарей и всяческих ударников. Дальше он заявляет, что играться будет скетч

и для этого надо им получить свои гражданские костюмы из каптёрки и чей-нибудь портфель. (Портфель в побеге — это необычно! Это придаёт начальственный вид!) Разрешение получено. Морской китель ещё на Тэнно, теперь он берёт и свой исландский костюм, воспоминание о морском конвое. Жданок берёт из чемодана дружка серый бельгийский, настолько элегантный, что даже странно смотреть на него в лагере. У одного латыша хранится в вещах портфель. Берётся и он. И — кепки настоящие вместо лагерных картузиков.

Но так много репетиций требует скетч, что не хватает времени и до общего отбоя. Поэтому одну ночь и ещё как-то другую Тэнно и Жданок вовсе не возвращаются в режимный барак, ночуют в том бараке, где КВЧ, приучают надзирателей режимки. (Ведь надо выиграть в побеге хотя бы одну ночь.)

Когда самый удобный момент побега? Вечерняя проверка. Когда стоит очередь у бараков, все надзиратели заняты впуском, да и зэки смотрят на дверь, как бы спать скорее, никто не следит за остальною частью зоны. День уменьшается, — и подгадать надо такой, чтобы проверка пришлась уже после заката, в посерение, но ещё до расста-

новки собак вокруг зоны. Надо подловить эти единственные пять-десять минут, потому что выползать при собаках невозможно.

Выбрали воскресенье 17 сентября. Удобно, воскресенье будет нерабочее, набраться к вечеру сил, неторопливо сделать последние приготовления.

Последняя ночь перед побегом! Много ли ты уснёшь? Мысли, мысли… Да буду ли жив я через сутки?.. Может быть и нет. Ну а в лагере? — растянутая смерть доходяги у помойки?.. Нет, не разрешать себе даже свыкаться с мыслью, что ты — невольник.

Вопрос так стоит: к смерти ты готов? Готов. Значит, и к побегу.

Солнечный воскресный день. Ради скетча обоих на весь день выпустили из режимки. С едой очень плохо у беглецов: в режимке сидят они *на подсосе*, собирание хлеба создало бы подозрение. Но у них расчёт на быстрое продвижение, в посёлке захватить машину. Однако от мамы в этот же день и посылка — материнское благословение на побег. Глюкоза в таблетках, макароны, овсяные хлопья — это с собой в портфель. Сигареты — это выменять на махорку. А одну пачку отнести в санчасть фельдшеру. И Жданок уже вписан в список освобождённых на сегодня. Это вот зачем.

Тэнно идёт в КВЧ: заболел мой Жданок, сегодня вечером репетиция не состоится, не придём. А в режимке надзирателю и Лёшке Цыгану: сегодня вечером мы на репетиции, в барак не придём. Итак, не будут ждать ни там ни здесь.

Ещё достать надо «катюшу» — кресало с фитилём в трубке, это в побеге лучше спичек.

Воскресенье кончается. Золотистое солнце заходит. Рослый медлительный Тэнно и маленький подвижный Жданок набрасывают ещё телогрейки на плечи, берут портфель (уже в лагере привыкли к этому их чудацкому виду) и идут на свою стартовую площадку — между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо против вышки. От двух других вышек их заслоняют бараки. Только вот этот один часовой перед ними. Они расстилают телогрейки, ложатся на них и играют в шахматы, чтобы часовой привык.

Сереет. Сигнал проверки. Зэки стягиваются к баракам. Уже сумерки, и часовой с вышки не должен бы различать, что двое остались лежать на траве. У него подходит смена к концу, он не так уж внимателен. При старом часовом всегда уйти легче.

Проволоку намечено резать не на участке где-то, а прямо у самой вышки, вплотную. Наверняка

часовой больше смотрит за зоной вдаль, чем под ноги себе.

Их головы — у самой травы, к тому же — сумерки, они не видят своего лаза, по которому сейчас поползут. Но он хорошо присмотрен заранее: сразу за зоной вырыта яма для столба, в неё можно будет на минуту спрятаться; ещё там дальше — бугорки шлака; и проходит дорога из конвойного городка в посёлок.

План такой: сейчас же в посёлке брать машину. Остановить, сказать шофёру: заработать хочешь? Нам нужно из старого Экибастуза подкинуть сюда два ящика водки. Какой шоферюга не захочет выпить?! Поторговаться: пол-литра тебе? Литр? Ладно, гони, только никому! А потом по дороге, сидя с ним в кабине, прихватить его, вывезти в степь, там оставить связанного. Самим рвануть за ночь до Иртыша, там бросить машину, Иртыш переплыть на лодке — и двинуться на Омск.

Ещё немного стемнело. На вышках зажгли прожекторы, они светят вдоль зоны, беглецы же лежат пока в теневом секторе. Самое время! Скоро будет смена и приведут-поставят на ночь собак.

В бараках уже зажигаются лампочки, видно, как зэки входят с проверки. Хорошо в бараке? Тепло, уютно… А сейчас вот прошьют тебя из

автомата, и обидно, что — лёжа, распростёртого.

Как бы под вышкой не кашлянуть, не перхнуть.

Ну, стерегите, псы сторожевые! Ваше дело — держать, наше дело — бежать!

Глава 7. Белый котёнок

(Рассказ Георгия Тэнно)

[Завораживающая история 20 дней свободы, день за днём. На восьмые сутки полуживые беглецы добрались до Иртыша, на двадцатые – были уже под Омском. На двадцать первые их взяли. Побои, девять месяцев тюрьмы, следствие. И – новые 25 лет.]

Глава 8. Побеги с моралью и побеги с инженерией

На побеги из ИТЛ, если они не были куда-нибудь в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа смотрели, видимо, примирённо. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, — подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному половняку вместо целого.

Не так было в Особлагах. Выполняя особую волю Отца Народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооружением на уровне современной мотопехоты. Здесь уже не содержали *социально-близких*, от побега которых нет большого убытка. Здесь уже не осталось отговорок, что стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании Особлагов было заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может, ибо всякий побег здешнего арестанта — всё равно что переход госграницы крупным шпионом, это политическое пятно на администрации лагеря и

на командовании конвойными войсками.

Но именно с этого момента Пятьдесят Восьмая стала получать сплошь уже не десятки, а *четвертные*, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость: теперь политические не удерживались больше Уголовным кодексом от побега.

И хотя побегов в Особлагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ (да Особлаги стояли и меньше лет), но эти побеги были жёстче, тяжче, необратимей, безнадёжней — и потому славней.

Рассказы о них помогают нам разобраться, — уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен.

Один был на год раньше побега Тэнно и послужил ему образцом. В сентябре 1949 из 1-го отделения Степлага (Рудник) бежали два каторжанина — Григорий Кудла, кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец, и Иван Душечкин, тихий белорус, лет тридцати пяти. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решёткой. Эту решётку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную

из санчасти. В ночь побега, спустясь в шахту, они порознь заявили бригадиру, что нездоровится, не могут работать. Ночью под землёй надзирателей нет, бригадир — вся власть, но гнуть он должен помягче, потому что и его могут найти с проломленной головой. Беглецы налили воду в грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф. Выломали решётку и поползли. Выход оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными.

Из Джезказгана они взяли по пустыне на северо-запад. Днём лежали, шли по ночам. Вода нигде не попалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел вставать, Кудла поднял его надеждой, что впереди холмы, за ними может быть вода. Дотащились, но там во впадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал: «Я всё равно не пойду. Ты — *запори* меня, а кровь мою выпей».

Моралисты! Какое решение правильно? У Кудлы тоже круги перед глазами. Ведь Душечкин умрёт, — зачем погибать и Кудле?.. А если вскоре он найдёт воду, — *как* он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина?.. Кудла решил: ещё пойду вперёд, если до утра вернусь без воды, — освобожу его от мук, не погибать двоим. Кудла поплёлся к сопке, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, — воду в ней! Кудла

скатился и вприпадку пил, пил! (Только уж утром рассмотрел в ней головастиков и водоросли.) С полной грелкой он вернулся к Душечкину: «Я тебе воду принёс, воду!» Душечкин не верил, пил — и не верил (за эти часы ему уже виделось, что он пил её…). Дотащились до той расселины и остались там пить.

После питья подступил голод. Но в следующую ночь они перевалили через какой-то хребет и спустились в обетованную долину: река, трава, кусты, лошади, жизнь. С темнотой Кудла подкрался к лошадям и одну из них убил. Они пили её кровь прямо из ран.

Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. Амангельды на Тургае обошли вокруг, но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать в милицию.

Дальше они часто встречали ручейки и озёра. Ещё Кудла поймал и зарезал барана. Уже *месяц* они были в побеге! Кончался октябрь, становилось холодно. В первом леске они нашли землянку и зажили в ней: не решались уходить из богатого края. В этой остановке их, в том, что родные места не звали их, не обещали жизни более спокойной, — была обречённость, нена-

правленность их побега.

Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котёл, то, сломав замок на чулане, — муку, соль, топор, посуду. (Беглец, как и партизан, среди общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором…) А ещё раз они увели из села корову и забили её в лесу. Но тут выпал снег, и, чтобы не оставлять следов, они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только Кудла вышел за хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы — воры? Вы корову украли?» Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под замок. Народ кричал: убить их тут же без жалости! Но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «Молодцы! Вы не воров поймали, а крупных политических бандитов!»

И — всё обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы — оказалось, что это чечен, — принёс арестованным хлеба, баранины и ещё даже денег, собранных чеченами. «Эх, — говорил он, — да ты бы пришёл, сказал, *кто* ты, — я б тебе сам всё дал!..» (В этом можно не сомневаться, это по-чеченски.) И Кудла заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия.

Арестованных отвезли в Кустанай, там в железнодорожном КПЗ не только отобрали (для себя) всю чеченскую передачу, но *вообще не кормили*! Перед отправкой на кустанайском перроне их поставили на колени, руки были закованы назад в наручниках. Так и держали, на виду у всех.

Если б это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города, — мимо этого коленопреклонённого скованного седого старика, как будто с картины Репина, все бы шли не замечая и не оборачиваясь, — и сотрудники литературных издательств, и передовые кинорежиссёры, и лекторы гуманизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных работниках. И все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие граждане тоже старались бы пройти не замечая, чтобы конвой не спросил и не записал их фамилии, — потому что у тебя ведь московская прописка, рисковать нельзя…

Но кустанайцам мало что было терять, все там были или заклятые, или подпорченные, или ссыльные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им махорку, папиросы, хлеб. Кисти Кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся откусить хлеба с земли, — но конвоир

ногой выбил хлеб из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить — конвоир отбил хлеб дальше! (Вы, передовые кинорежиссёры, может быть, вы запомните кадр с этим стариком?) Народ стал подступать и шуметь: «Отпустите их! Отпустите!» Пришёл наряд милиции. Наряд был сильней, чем народ, и разогнал его.

Подошёл поезд, беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы.

* * *

Особую группу побегов составляют те, где начинается не с рывка и отчаяния, а с технического расчёта и золотых рук.

В Кенгире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, с асбестом. В зоне его разгружали, и он уходил пустым. И пятеро зэков готовили побег такой: сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского вагона да ещё складную на шарнирах, как ширму, — так что, когда тащили её к вагону, она виделась не более как широкая сходня, удобная под тачки. План был: пока разгружается вагон, хозяева ему — зэки; втащить заготовки в вагон, там развернуть;

защёлками скрепить в твёрдую стенку; всем пятерым стать спинами к стене и верёвочными тягами поднять и поставить стенку. Весь вагон в асбестовой пыли — и она в том же. Разницы глубины в пульмане не увидишь на глазок. Но есть сложность в расчёте времени, надо освободить весь товарняк к отъезду, пока з/к ещё на объекте, и заранее нельзя сесть, надо убедиться, что сейчас увезут. Вот тогда в последнюю минуту бросились с ножами и продуктами, — и вдруг один из беглецов попал ногой в стрелку и сломал ногу. Это задержало их — и они не успели до конвойной проверки состава кончить свой монтаж. Так они были открыты. По этому побегу был процесс[69].

В Экибастузе летом 1951 года вожди режимки-барака-2, что была в тридцати метрах от зоны, задумали и начали подкоп высокого класса. Режимка-барак-2 была малой зоной, обтянутой колючей проволокой внутри большой экибастузской зоны. Её калитка была постоянно на замке. Кроме времени, проводимого на известковом заводе, режимке разрешалось ходить по своему маленькому дворику возле барака только

[69] Примечания: 69

Мой сопалатник в ташкентском раковом корпусе, конвоир-узбек, рассказывал мне об этом побеге, напротив, как об удачно совершённом, изнехотя восхищаясь.

двадцать минут. Всё остальное время режимные были заперты в своём бараке, общую зону проходили только на развод и обратно. В общую столовую они никогда не допускались, повара приносили им в бачках.

Там было много «убеждённых беглецов», и летом стала сколачиваться, орешек к орешку, надёжная группа на побег из двенадцати человек (Магомет Гаджиев, вождь экибастузских мусульман; Василий Кустарников; Василий Брюхин; Валентин Рыжков; Мутьянов; офицер-поляк, любитель подкопов; и другие). Все там были равны, но Степан Коновалов, кубанский казак, был всё же главным. Они замкнулись клятвой: кто проговорится хоть душе — тому хан*а*, должен кончить с собой или заколют другие.

К этому времени экибастузская зона уже обнеслась четырёхметровым сплошным забором-заплотом. Вдоль него шёл четырёхметровый вспаханный предзонник, да за забором отмежёвана была пятнадцатиметровая полоса запретки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны решено было проходить подкопом.

Первое же обследование показало, что н*и*зок фундамент, подпольное пространство всего барака так невелико, что некуда будет складывать

выкопанную землю. Кажется — непреодолимо. Значит, не бежать?.. И кто-то предложил: зато чердак просторный, поднимать грунт на чердак! Это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проверяемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час — и ещё не просыпать щепотки, не оставить же следа!

Но когда придумали, как это сделать, — ликовали, и побег был решён окончательно. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке, другого такого во всём лагере не было: тут были маленькие комнаты, в которых не семь вагонок втискивалось, как везде, а три, то есть на двенадцать человек. Разными приёмами, добровольно меняясь и вытесняя смехом и шутками тех, кто мешал («ты — храпишь, а ты — … много»), перетолкнули чужих в другие секции, а своих стянули.

Чем больше отделяли режимку от зоны, чем больше режимных наказывали и давили, — тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ режимки был для лагеря — первый закон, и теперь, что нужно было техническое — заказывали, где-то на объектах делалось, с

риском проносилось через лагерный шмон, а со вторым риском передавалось в режимку — в баланде, при хлебе или при лекарствах.

Раньше всего были заказаны и получены — ножи, точильные камни. Потом — гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты трёх половых досок, сняли один плинтус, прижимающий их, вынули гвозди у торцов этих досок близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся три доски сшили в один щит снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припудривалась пылью. Щит входил в пол очень плотно, ухватить его было нечем, и ни разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так: снимался плинтус, накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки — и за неё тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. Каждый день «мыли пол» — мочили доски водой, чтоб они разбухали и не имели просветов, щелей. Эта *задача входа* была одной из главных задач. Вообще подкопная секция всегда содержалась особенно чисто, в

образцовом порядке. Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы не были разбросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задерживался здесь. «Культурно!» И шёл дальше.

Вторая была *задача подъёмника*, с земли на чердак. В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между нею и стеной оставалось тесное пространство, куда еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать — передать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали дочиста, без остатков, одну вагонку. Этими досками забрали проём, тут же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из двадцати комнатёнок барака печь сливается со стеной, а в какой немного отступает? Да и прохлопала исчезновение одной вагонки.

Лишь когда штукатурка и побелка высохли, — прорезаны были ножами пол и потолок закрытого теперь проёма, там поставлена была стремянка, сколоченная всё из той же раскуроченной вагонки, — и так низкий подпол соединился с хоромами чердака. Это была *шахта*, закрытая от взглядов надзора, — и первая шахта

за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось работать до жара!

Возможна ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает всю твою душу, отнимает сон? Да, только эта одна — работа на побег!

Следующая задача была — копать. Копать ножами и их точить, это ясно, но здесь много ещё других задач. Тут и маркшейдерский расчёт (инженер Мутьянов) — углубиться до безопасности, но не более чем надо; вести линию кратчайшим путём; определить наилучшее сечение тоннеля; всегда знать, где находишься, и верно назначить место выхода. Тут и организация смен: копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь, и всегда безукоризненно, полным составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и умывание — нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх! Тут и освещение — как же вести тоннель 60 метров в темноте? Потянули проводку в подпол и в тоннель (ещё сумей её подключить незаметно!). Тут и сигнализация: как вызвать землекопов из далёкого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут? Или как они сами могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти?

Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли подкрасться и попасть в барак незаметно, — они должны были всегда одной и той же дорогой идти между колючих оплетений к калитке, отпирать замок на ней, потом идти к бараку и отпирать замок на нём, громыхать болтом, — всё это легко было наблюдать из окна, правда не из подкопной секции, а из пустующей «кабинки» у входа, — и только приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом: два раза мигнёт — внимание, готовься к выходу; замигает часто — *атас!* тревога! выскакивай живо!

Спускаясь в подпол, раздевались догола, после люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других, грязных и голых (смена), вылезали наверх и тщательно мылись (глина шариками затвердевала на волосах тела, её нужно было размачивать или срывать вместе с волосами).

В начале сентября, после почти годичного сидения в тюрьме, были переведены (возвращены) в эту же режимку Тэнно и Жданок. Едва отдышавшись тут, Тэнно стал проявлять беспокойство

— надо же было готовить побег! Но никто в режимке, самые убеждённые и отчаянные беглецы не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть! (У подкопников было три смены по четыре человека, и никто тринадцатый им не был нужен.) Тогда Тэнно прямо предложил им подкоп! — но они отвечали, что уже думали, но фундамент слишком низкий. И он со Жданком установил за ними ревнивое и знающее суть наблюдение — такое, на которое надзиратели не были способны. Роют, явно роют! Но где? Почему молчат?.. Тэнно шёл к одному, другому и *прикупал* их: «Неосторожно, ребята, роете, неосторожно! Хорошо — замечаю я, а если бы стукач?»

Наконец они устроили *толковище* и решили принять Тэнно с достойной четвёркой. Ему они предложили обследовать комнату и найти следы. Тэнно облазил и обнюхал каждую половицу и стенки — и не нашёл! — к своему восхищению и восхищению всех ребят. Дрожа от радости, полез он под пол работать *на себя*!

Подпольная смена распределялась так: один лёжа долбил землю в забое; другой, скорчась за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки; третий

ползком же таскал мешки (лямками через плечи) по тоннелю назад, затем подпольем к шахте и по одному цеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака. Четвёртый был на чердаке. Он сбрасывал порожняк, поднимал мешки наверх, разносил их, тихо ступая, по всему чердаку и рассыпал невысоким слоем, в конце же смены этот грунт забрасывал шлаком, которого на чердаке было очень много.

Оттаскивали сперва по два, потом по четыре мешка сразу, для этого *закосили* у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка шла по шее сзади, а потом пропускалась под мышками. Стиралась шея, ломило плечи, сбивались колени, после одного рейса человек был в мыле, после целой смены можно было *врезать дубаря*.

Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За восемь-десять часов смены проходили не больше двух метров в длину, а то и меньше метра.

Самое тяжёлое было — нехватка воздуха в тоннеле: кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось решать ещё и *задачу вентиляции*.

Лаз или тоннель имел ширину полуметровую, высоту девяносто сантиметров и полукруглый свод. Его потолок, по расчётам, был от земной поверхности метр тридцать — метр сорок. Боковины тоннеля укреплялись досками, вдоль него, по мере продвижения, наращивался шнур и вешались новые и новые электрические лампочки.

Смотреть вдоль — это было метро, лагерное метро!..

Осталось шесть-восемь метров до обводной траншеи. (Последние метры надо рыть особенно точно, чтоб выйти на дно траншеи — не ниже, не выше.)

А что будет дальше? Коновалов, Мутьянов, Гаджиев и Тэнно к этому времени уже разработали план, принятый всеми шестнадцатью. Побег вечером, около десяти часов, когда проведут по всему лагерю вечернюю проверку, надзор разойдётся по домам или уйдёт в штабной барак, а караул на вышках сменится, разводы караулов пройдут.

В подземный ход одному за другим спуститься всем. Последний наблюдает из «кабинки» за зоной; потом с предпоследним они вынимаемую часть плинтуса прибивают наглухо к доскам

люка, так что когда они за собой опустят люк, — станет на место и плинтус. С широкою шляпкою гвоздь втягивается до отказа вниз и ещё приготовляются сысподу пола задвижки, которыми люк будет намертво закреплён, даже если его рвать кверху.

И ещё: перед побегом снять решётку с одного из коридорных окон. Обнаружив на утренней проверке недостачу шестнадцати человек, надзиратели не сразу решат, что это подкоп и побег, а кинутся искать по зоне, подумают: режимники пошли сводить счёты со стукачами. Будут искать ещё в другом лагпункте — не полезли ли через стену туда. Чистая работа! — подкопа не найти, под окном — нет следов, шестнадцать человек — ангелами взяты на небо!

Выползать в обводную траншею, затем по дну траншеи отползать по одному дальше от вышки (выход тоннеля слишком близок к ней); по одному же выходить на дорогу; между четвёрками делать перерывы, чтобы не вызывать подозрений и иметь время осмотреться.

Общий сборный пункт — около железнодорожного переезда, который проходят многие машины. Переезд взгорблен над дорогой, все ложатся вблизи на землю, и их не видно. Переезд

этот плох (ходили через него на работу, видели), доски уложены кое-как, грузовики с углем и порожние тут переваливаются медленно. Двое должны поднять руки, остановить машину сразу за переездом, подойти к кабине с двух сторон. Просить подвезти. Ночью шофёр, скорее всего, один. Тут же вынуть ножи, взять шофёра *на прихват*, посадить его в середину, Валька Рыжков садится за руль, все прыгают в кузов и — ходу к Павлодару! Сто тридцать — сто сорок километров наверняка можно отскочить за несколько часов. Не доезжая парома, свернуть вверх по течению (когда везли сюда, глаза охватили кое-что), там в кустах шофёра связать, положить, машину бросить, через Иртыш переплыть на лодке, разбиться на группы и — кто куда! Как раз идут заготовки зерна, на всех дорогах полно машин.

Должны были кончить работы 6 октября. За два дня, 4 октября, взяли на этап двух участников: Тэнно и Володьку Кривошеина, вора. Так Тэнно не воспользовался своей настойчивостью влиться в подкоп. Не он стал тринадцатым — но введенный им, покровительствуемый, слишком расхлябанный дёрганый Жданок. Степан Коновалов и его друзья в худую для себя минуту уступили и открылись Тэнно.

Копать кончили, вышли правильно, Мутьянов не ошибся. Но пошёл снег, отложили, пока подсохнет.

9 октября вечером сделали всё совершенно точно, как было задумано. Благополучно вышла первая четвёрка — Коновалов, Рыжков, Мутьянов и тот поляк, его постоянный соучастник по инженерным побегам.

А потом выполз в траншею злополучный маленький Коля Жданок. Не по его вине, конечно, послышались невдалеке сверху шаги. Но ему бы выдержать, улежать, перетаиться, а когда пройдут — ползти дальше. А он от излишней шустрости высунул голову. Ему захотелось *посмотреть* — а кто это идёт?

Быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Но *эта* глупая вошка погубила редкую по слаженности и по силе замысла группу беглецов — четырнадцать жизней долгих, сложных, пересекшихся на этом побеге. В каждой из жизней побег этот имел важное, особенное значение, осмысляющее прошлое и будущее, от каждого зависели ещё где-то люди, женщины, дети, и ещё нерождённые дети, — а вошка подняла голову — и всё полетело в тартарары.

А шёл, оказывается, помначкар, увидел вошку

— крикнул, выстрелил.

И все беглецы, уже выползшие в лаз, отогнувшие решётку, уже прибившие плинтус к люку, — поползли теперь назад — назад — назад!

Кто дочерпался и знает дно этого досадливого отчаяния? этого презрения к своим усилиям?

Они вернулись, выключили свет в тоннеле, вправили коридорную решётку в гнёзда.

Очень скоро вся режимка была переполнена офицерами лагеря, офицерами дивизиона, конвоирами, надзирателями. Началась проверка по формулярам и перегон всех — в каменную тюрьму.

А подкопа из секции — не нашли! (Сколько бы же они искали, если бы всё удалось, как задумано?!) Около того места, где *прос**ы**пался* Жданок, нашли дыру, полузаваленную. Но и придя тоннелем под барак, нельзя было понять, откуда же спускались люди и куда они дели землю.

Только вот в «культурной» секции не хватило четырёх человек, и восьмерых оставшихся теперь нещадно пропускали — легчайший способ для тупоумных добиться истины.

А зачем теперь было скрывать?..

В этот тоннель устраивались потом экскурсии всего гарнизона и надзора. Майор Максимен-

ко, пузатый начальник Экибастузского лагеря, потом хвастался в Управлении перед другими начальниками лаготделений:

— Вот у меня был подкоп — да! Метро! Но мы… наша бдительность…

А всего-то вошка…

Поднятая тревога не дала и ушедшей четвёрке дойти до железнодорожного переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны с другой стороны дороги, перешли зону, ещё раз перелезли — и двинули в степь. Они не решились остаться в посёлке ловить машину, потому что посёлок уже был переполнен патрулями.

Как год назад Тэнно, они сразу потеряли скорость и вероятие уйти.

Они пошли на юго-восток, к Семипалатинску. Ни продуктов не было у них на пеший путь, ни сил — ведь последние дни они выбивались, кончая подкоп.

На пятый день побега они зашли в юрту и попросили у казахов поесть. Как уже можно догадаться, те отказали и в просящих поесть стреляли из охотничьего ружья. (И в традиции ли это степного народа пастухов? А если не в традиции — то традиция откуда?..)

Степан Коновалов пошёл с ножом на ружьё,

ранил казаха, отнял ружьё и продукты. Пошли дальше. Но казахи выслеживали их на конях, обнаружили уже близ Иртыша, вызвали опергруппу.

Дальше они были окружены, избиты в кровь и мясо, дальше уже всё, всё известно…

Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров XIX или XX века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных — пусть назовут!

И после этого пусть говорят, что мы — не боролись.

Глава 9. Сынки с автоматами

Охраняли в долгих шинелях с чёрными обшлагами. Охраняли красноармейцы. Охраняли самоохранники. Охраняли запасники старики. Наконец пришли молодые ядрёные мальчики, рождённые в первую пятилетку, не видавшие войны, взяли новенькие автоматы — и пошли нас охранять.

Каждый день два раза по часу мы бредём, соединённые молчаливой смертной связью: любой из них волен убить любого из нас.

Мы идём и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы, — зачем они нам? Они идут и всё время смотрят на чёрные наши ряды. Им по уставу надо всё время смотреть на нас, им так приказано, в этом их служба. Они должны пресечь выстрелом наше каждое движение и шаг.

Какими кажемся мы им, в наших чёрных бушлатах, в наших серых шапках сталинского меха, в наших уродливых, третьего срока, четырежды подшитых валенках, — и все обляпанные латками номеров, как не могут же поступить с подлинными людьми?

Удивляться ли, что вид наш вызывает гад-

ливость? — ведь он так и рассчитан, наш вид. Вольные жители посёлка, особенно школьники и учительницы, со страхом косятся с тротуарных тропинок на наши колонны, ведомые по широкой улице. Передают: они очень боятся, что мы, исчадия фашизма, вдруг бросимся врассыпную, сомнём конвой — и ринемся грабить, насиловать, жечь, убивать. И вот от этих зверей охраняет жителей посёлка — конвой. Благородный конвой.

Эти сынки всё время смотрят на нас — и из оцепления, и с вышек, но ничего им не дано знать о нас, а только право дано: стрелять без предупреждения.

О, если бы по вечерам они приходили к нам, в наши бараки, садились бы на наши вагонки и слушали: за что вот этот сел старик, за что вот этот папаша. Опустели бы эти вышки, и не стреляли бы эти автоматы.

Но вся хитрость и сила системы в том, что смертная наша связь основана на неведении. Их сочувствие к нам карается как измена родине, их желание с нами поговорить — как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда придёт политрук в час, назначенный по графику, и проведёт с ними беседу — о политическом и моральном лице охраняемых врагов

народа. Он подробно и с повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредны и тяготят государство.

Политрук не собьётся, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости.

И ещё — ни за что вообще.

Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а только через офицера и политрука.

Вся сила этих мальчиков — в их незнании.

Вся сила лагерей — в этих мальчиках. Краснопогонниках. Убийцах с вышек и ловцах беглецов.

Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира (Ныроблаг): «Враги народа, которых вы охраняете, — это те же фашисты, нечисть. Мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твёрдыми. Никаких сантиментов, никакой жалости».

И вот так-то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются бить ногой непременно в голову. Те, кто у седого старика в наручниках выбивают ногою хлеб изо рта. Те, кто равнодушно смотрят, как бьётся закованный беглец о занозистые доски кузова, — ему лицо

кровянит, ему голову разбивает, они смотрят равнодушно. Ведь они — карающий меч Родины.

Уже после смерти Сталина, уже вечно-ссыльный, я лежал в обычной «вольной» ташкентской клинике. Вдруг слышу: молодой узбек, больной, рассказывает соседям о своей службе в *армии*. Их часть охраняла палачей и зверей.

Интересный вышел случай! — посмотреть на Особлаг глазами конвоира. Я стал спрашивать, что ж это были за гады и разговаривал ли с ними мой узбек лично. И вот тут он мне рассказал, что всё узнал от политруков.

О вы, соблазнившие малых сих!.. Лучше бы вам и не родиться!..

Рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шёл в оцеплении, и померещилось ему, что из колонны кто-то хочет выбежать. Он нажал спуск и одной очередью убил *пятерых* заключённых. Так как потом все конвоиры показали, что колонна шла спокойно, то солдат понёс строгое наказание: за пять смертей дали ему пятнадцать суток ареста (на тёплой гауптвахте, конечно).

А уж этих-то случаев кто не знает, кто не расскажет из туземцев Архипелага!.. Сколько мы знали их в ИТЛ: на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта оцепления, — раздаётся выстрел, и

заключённый падает мёртв: он переступил черту, говорят. Может быть, вовсе не переступил, — ведь линия невидимая, а никто второй не подойдёт сейчас её проверить, чтобы не лечь рядом.

Человек с ружьём! Бесконтрольная власть одного человека — убить или не убить другого.

А тут ещё — выгодно! Начальство всегда на твоей стороне. За убийство никогда не накажут. Напротив, похвалят, наградят, и чем раньше ты его угрохал, ещё на половине первого шага, — тем выше твоя бдительность, тем выше награда! Месячный оклад. Месячный отпуск.

В мае 1953 года в Кенгире эти сынки с автоматами дали внезапную и ничем не вызванную очередь по колонне, уже пришедшей к лагерю и ожидающей входного обыска. Было 16 раненых — но если бы просто раненых! Стреляли разрывными пулями, давно запрещёнными всеми конвенциями капиталистов и социалистов. Пули выходили из тел воронками — разворачивали внутренности, челюсти, дробили конечности.

Почему именно разрывными пулями вооружён конвой Особлагов? *Кто* это утвердил? Мы никогда этого не узнаем…

А один из этих сынков, правда из лучших, не обиделся, но хочет отстоять истину, — Владилен

Задорный, 1933 го-да, служивший в ВСО (Военизированной стрелковой охране) МВД в Ныроблаге от своих восемнадцати до своих двадцати лет. Он написал мне несколько писем:

> «Мальчишки не сами же шли туда – их призывал военкомат. Военкомат передавал их МВД. Мальчишек учили стрелять и стоять на посту. Мальчишки мёрзли и плакали по ночам, – на кой им чёрт нужны были Ныроблаги со всем их содержимым! Ребят не нужно винить – они были солдатами, они несли службу Родине, и хотя в этой нелепой и страшной службе не всё было понятно (а *что – было* понятно?.. Или всё или ничего. – *А. С.*), – но они приняли присягу, их служба не была лёгкой».

Искренне, задумаешься. Но и — слаба ж была в них, значит, общечеловеческая закладка, — если не устояла она против политбесед. Не изо всех поколений и не всех народов можно вылепить таких мальчиков.

Не главный ли это вопрос XX века: допустимо ли исполнять приказы, передоверив совесть свою — другим? Можно ли не иметь своих пред-

ставлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников?

Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше; их оперуполномоченные — ещё больше; писавшие инструкции и приказы — ещё больше; а дававшие указания их писать — больше всех.

Но стреляли, но охраняли, но автоматы держали наперевес всё-таки не *те*, а — мальчики! Но лежащих били сапогами по голове — всё-таки мальчики!..

Ещё пишет Владилен:

> «Нам внедряли в головы, нас заставляли зубрить УСО-43 сс – устав стрелковой охраны 43 года совершенно секретный, жестокий и грозный устав. Да присяга. Да наблюдение оперов и замполитов. Наушничество, доносы. На самих стрелков заводимые *дела*... Разделённые частоколом и колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были равно заключёнными – одни на двадцать пять лет, другие на три года».

Это — выражено сильно, что стрелки тоже как бы *посажены*, только не военным трибуналом, а военным комиссариатом. Но *равно*-то, равно-то нет! — потому что люди в шинелях отлично секли автоматами по людям в бушлатах.

Разъясняет ещё Владилен:

> «Ребята были разные. Были ограниченные служаки, слепо ненавидевшие зэ-ка. Кстати, очень ревностными были новобранцы из национальных меньшинств – башкиры, буряты, якуты. Потом были равнодушные – этих больше всего. Несли службу тихо и безропотно. Больше всего любили отрывной календарь и час, когда привозят почту. И наконец, были хорошие хлопцы, сочувствующие зэ-ка как людям, попавшим в беду. И большинство нас понимало, что служба наша в народе непопулярна. Когда ездили в отпуск – формы не носили».

А лучше всего свою мысль Владилен защитит собственной историей. Хотя уж таких-то, как он, и вовсе были единицы.

Его пропустили в конвойные войска по недосмотру ленивой спецчасти. Его отчим, старый

профсоюзный работник, был арестован в 1937, мать за это исключена из партии. Отец же, комбриг ВЧК, член партии с 17-го года, поспешил отречься и от бывшей жены, и заодно от сына (он сохранил так партбилет, но ромб НКВД всё-таки потерял)[70]. Мать смывала свою запятнанность донорской кровью во время войны. (Ничего, кровь её брали и партийные, и беспартийные.) Мальчик «синие фуражки ненавидел с детства, а тут самому надели на голову… Слишком ярко врезалась в младенческую память страшная ночь, когда люди в отцовской форме бесцеремонно рылись в моей детской кровати».

> «Я не был хорошим конвойным: вступал в беседы с зэками, исполнял их поручения. Оставлял винтовку у костра, ходил купить им в ларьке или бросить письма. Думаю, что на ОЛПах Промежуточная, Мысакорт, Парма ещё вспоминали стрелка Володю… За это, за прямое неподчинение, за связь с зэ-ка меня отдали под следствие… Долговязый Самутин…

---

[70] Примечания: 70

Хотя мы ко всему давно привыкли, но иногда и удивишься: арестован второй муж покинутой жены — и поэтому надо отречься от четырёхлетнего сына? И это — для комбрига ВЧК?

хлестал меня по щекам, бил пресс-папье по пальцам – за то, что я не подписывал признания о письмах зэ-ка. Быть бы этой глисте в жмуриках, у меня второй разряд по боксу, я крестился двухпудовой гирей, – но два надзирателя повисли на руках… Однако следствию было не до меня: такое шатание-топтание пошло в 53-м году по МВД. Срока мне не дали, дали волчий билет – статья 47-Г. И с гауптвахты дивизиона – избитого, измороженного, выбросили ехать домой… Освободившийся бригадир Арсен ухаживал за мной в дороге».

А вообразим, что захотел бы проявить снисходительность к заключённым *офицер* конвоя. Ведь он мог бы сделать это только при солдатах и через солдат. А значит, при общей озлобленности, ему было бы и невозможно это, да и «неловко». Да и кто-нибудь на него бы тотчас донёс.

Система!

Глава 10. Когда в зоне пылает земля

Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они всё-таки ***были***.

Как всё нежелательное в нашей истории, то есть три четверти истинно происходившего, и мятежи эти так аккуратно вырезаны, швом обшиты и зализаны, участники их уничтожены, дальние свидетели перепуганы, донесения подавителей сожжены или скрыты за двадцатью стенками сейфов, — что восстания эти уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних пятнадцать лет, от других только десять. (Удивляться ли, что говорят: ни Христа не было, ни Будды, ни Магомета. Там — тысячелетия…)

Когда это не будет уже никого из живущих волновать, историки допущены будут к остаткам бумаг, археологи копнут где-то лопатой — и прояснятся даты, места, контуры этих восстаний и фамилии главарей.

Сгоняя Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря,

Сталин думал — так будет страшней. А вышло наоборот.

Вся система подавления, разработанная при нём, была основана на *разъединении* недовольных; на том, чтоб они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались — сколько их; на том, чтобы внушить всем, и самим недовольным, что никаких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обречённые одиночки с пустотой в душе.

Но в Особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами. И сосчитались. И разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни, чем у тюремщиков; чем у их предателей; чем у теоретиков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере.

Сперва такая новизна Особлага почти никому не была заметна. Внешне тянулось так, будто это продолжение ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы лагерного режима и начальства.

А скисли блатные — в лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на пол — и утром они будут там. Можно кисет с табаком оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане

под боком.

Кажется, это мелочи? Нет, огромно! Не стало воровства — и люди без подозрения и с симпатией посмотрели на своих соседей. Слушайте, ребята, а может, мы и правда того… *политические*?..

Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на воле не услышишь, — и всё вольней! и всё вольней! и всё вольней!

И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ: придурки — работяги, бытовики — Пятьдесят Восьмая, а сложней и интересней гораздо: землячества, религиозные группы, люди бывалые, люди учёные.

Начальство ещё нескоро-нескоро что-то поймёт и заметит. А нарядчики уже не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они *дружески* обращаются к бригадирам: на развод, мол, пора, Комов. (Не то чтоб душу нарядчиков проняло, а — что-то беспокоящее в воздухе новое.)

Но всё это — медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены.

Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль-ступень: а как сделать, *чтоб не мы от них бежали, а они бы побежали от нас?*

Довольно только задать этот вопрос, сколь-

ким-то людям додуматься и задать, скольким-то выслушать — и окончилась в лагере эпоха побегов. И началась — эпоха мятежей.

———

Но начать её — как? С чего её начинать? Мы же скованы, мы же оплетены щупальцами, мы лишены свободы движения, — с чего начинать?

Вдруг — самоубийство. В режимке-бараке-2 нашли повесившегося одного. (Все стадии процесса я начинаю излагать по Экибастузу. Но вот что: в других Особлагах все стадии были те же!) Большого горя начальству нет, сняли с петли, отвезли на свалку.

А по бригаде слушок: это ведь — стукач был. Не сам он повесился. Его — повесили.

Назидание.

«Убей стукача!» — вот оно, звено. Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей — вот оно!

Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок и тускло посверкивающими корешками укоризненно мерцают, как звёзды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, нож, винтовку, — мы быстро сравняемся с

нашими палачами и насильниками. И не будет конца…

Не будет конца… Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен.

Но надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, быть таскаемым в БУР по доносам, безвозвратно затаптываться в землю, — чтобы оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовнёю сытых вольняшек.

Не будет конца!.. — да *начало* ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или нет?

Заключил же подгнётный народ: благостью лихость не изоймёшь.

Не знаю, где как (резать стали *во всех* Особлагах, даже в инвалидном Спасске!), а у нас это началось с приезда дубовского этапа — в основном западных украинцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа.

Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись спячке и рабству — и потянулись

к ножу.

В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но лагерные хозяева не позаботились даже держать привезенных мятежников отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был приём ИТЛ: там распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся, среде распыление только помогло быстрее охватить всю толщу огнём.

Теперь убийства зачередили чаще, чем побеги в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно: в излюбленное время — в пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключённые ещё почти все спали, — мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже непроснувшегося предателя. Проверив, что он мёртв, уходили деловито.

Они были в масках, и номеров их не было видно — спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам, — они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьёв теперь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не

видел. И это не была уже просто древняя истина, усвоенная всеми угнетёнными: «незнайка на печи сидит, а знайку на верёвочке ведут», — это было спасение самого себя! Потому что назвавший был бы убит в следующие пять часов утра и благоволение оперуполномоченного ему ничуть бы не помогло.

И вот убийства (хотя их не произошло пока и десятка) стали нормой, стали обычным явлением. Заключённые шли умываться, получали утренние пайки, спрашивали: сегодня кого-нибудь убили? В этом жутком спорте ушам заключённых слышался подземный гонг справедливости.

Это делалось совершенно подпольно. Кто-то (признанный за авторитет) где-то кому-то только называл: вот *этого*! Не его была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А *боевики*, чья это была забота, не знали суд*ьи*, чей приговор им надо было выполнить.

И надо признать — при документальной неподтверждённости стукачей, — что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО.

Рубиловка, как называли её у нас, пошла так

безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной.

На пять тысяч человек убито было с дюжину, — но с каждым ударом ножа отваливались и отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивительный повеял воздух! Внешне мы как будто по-прежнему были арестанты и в лагерной зоне, на самом деле мы стали свободны — свободны, потому что впервые за всю нашу жизнь, сколько мы её помнили, мы стали открыто, вслух говорить всё, что думаем! Кто этого перехода не испытал — тот и представить не может!

А стукачи — не стучали…

Невидимые весы качались в воздухе. На одной их чашке громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и третьи сроки.

А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож — для тебя, уступивший! Он назначался только тебе в грудь, и не когда-нибудь, а завтра на рассвете, и все силы ЧК-ГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и длинен, но как раз такой, чтоб хорошо войти тебе под рёбра. У

него и ручки-то не было настоящей, — какая-нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножовки, — но как раз хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки.

И эта живительная угроза перевешивала!

И теперь-то — ослепло и оглохло начальство!

Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на котором только и зиждилась десятилетиями слава всемогущих всезнающих Органов.

Это была новая и жутковато-весёлая пора в жизни Особлага! Так-таки не мы побежали! — *они побежали*, очищая от себя нас! Небывалое, невозможное на земле время: человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать! Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке: земля зоны под ногами честных мягка и тепла, под ногами предателей — колется и пылает!

Мрачный каменный БУР, сырой, холодный и тёмный, обнесенный крепким заплотом из досок-сороковок внахлёст, — БУР, приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых

людей, — вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и держиморд!

Нельзя отказать в остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чекистам и за свою верную долгую службу попросить укрытия от народного гнева в каменном мешке. Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, — кажется, и история нам не оставила такого.

Начальники и оперы отвели для них лучшую камеру БУРа (лагерные остряки назвали её *камерой хранения*), дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку.

Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение наше — политическое. В грозных приказах (надзиратели ходили по баракам и читали их) всё начинавшееся объявлялось *бандитизмом*. Неуверенно объявлялось, что бандиты эти будут обнаружены (пока что ещё ни один) и (ещё неувереннее) расстреляны. Ещё в приказах взывалось к арестантской массе — *осуждать* бандитов и *бороться* с ними!..

Заключённые выслушивали и расходились посмеиваясь.

Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев *осуждать и бороться*.

И следующая мера была: перевести на штрафной режим весь лагерь! Это значило: всё буднее свободное время, кроме того, что мы были на работе, и все воскресенья насквозь мы должны были теперь сидеть под замком, как в тюрьме, пользоваться парашей и даже пищу получать в бараках. Баланду и кашу в больших бочках стали разносить по баракам, а столовая пустовала.

Тяжёлый это был режим, но не простоял он долго.

Цель начальства была: чтобы мы тяготились, возмутились против убийств и выдали убийц. Но мы все настроились пострадать, потянуть, — того стоило! Ещё цель их была: чтоб не оставался барак открытым, чтобы не могли прийти убийцы из другого барака, а в одном бараке найти будто легче. Но вот опять произошло убийство — и опять никого не нашли, так же все «не видели» и «не знали». И на производстве кому-то голову проломили — от этого уже никак не убережёшься запертыми бараками.

А в зоне затеяли строить «великую китайскую стену». Это была стена в два самана толщиной и метра четыре высотой, которую повели посреди зоны, поперёк её, подготовляя разделить лагерь на две части, но пока оставив пролом.

Очень досадна нам была та стена, понятно, что начальство готовит какую-то подлость, а строить — приходилось.

Но штрафной режим отменили.

И опять блистали ножи.

И решили хозяева — *брать*. Без стукачей они не знали точно, кого им надо, но всё же некоторые подозрения и соображения были (да может, тайком кто-то наладил донесения).

Вот пришли два надзирателя в барак, после работы, буднично, и сказали: «Собирайся, пошли».

А зэк оглянулся на ребят и сказал:

— Не пойду.

И в самом деле! — в этом обычном простом *взятии*, или аресте, которому мы никогда не сопротивляемся, который мы привыкли принимать как ход судьбы, в нём ведь и такая есть возможность: не пойду! Освобождённые головы наши теперь это понимали!

— Как не пойдёшь? — приступили надзиратели.

— Так и не пойду! — твёрдо отвечал зэк. — Мне и здесь неплохо.

— А куда он должен идти?.. А почему он должен идти? Мы его не отдадим!.. Не отдадим!.. Уходите! — закричали со всех сторон.

Надзиратели повертелись-повертелись и ушли.

В другом бараке попробовали — то же.

И поняли волки, что мы уже не прежние овцы. Что хватать им теперь надо обманом, или на вахте, или одного целым нарядом. А из толпы — не возьмёшь.

И мы, освобождённые от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись и увидели во все глаза, что: тысячи нас! что мы — *политические*! что мы уже можем *сопротивляться*!

Революция нарастала. Её ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в лёгкие!

Глава 11. Цепи рвём на ощупь

Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же дальше?

Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы — ходили ежедневно на работу, мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды — и кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали.

И всё-таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так оставаться: недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто-то должен был нанести удар.

Но — чего мы могли добиваться? *Говорили* мы теперь вслух, без оглядки, всё, что хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано в жизни — было сладко!).

На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое унизительное: чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши; чтобы сняли с нас номера; чтобы труд наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ — а разве там можно было жить?)

А добиваться ли нам 8-часового рабочего дня — даже не было у нас единогласия…

Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми руками мы ничего не сможем против современной армии и потому путь наш — не вооружённое восстание, а забастовка.

Но всё ещё кровь текла в нас — рабская, рабья. Слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке: если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. На голодовку мы вроде имеем всё-таки какое-то право — а на забастовку? Так, идя добровольно на совсем ненужную голодовку, мы заранее шли на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. (К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экиба-

стузской ошибки.)

Мы продумывали и детали такой возможной забастовки-голодовки.

Обо всём этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, представлялось это неизбежным и желательным — и вместе с тем, по непривычке, каким-то невозможным.

Но охранники наши нанесли удары раньше нас.

А там покатилось оно само.

Тихенько встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах — новый 1952 год. А в воскресенье 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки нас заперли и больше не открывали.

Никто не ждал! В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту.

Этап?..

Вот и к нам. Надзиратели. Офицеры с карточками. И по карточкам выкликают… Выходи со всеми вещами… и с матрасами, как есть, набитыми!

Вот оно что! Пересортировка! Поставлена охра-

на в проломе «китайской стены». Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят — с мешками и матрасами, как погорельцев каких-то, вокруг лагеря и через другую вахту — в другую зону. А из той зоны гонят навстречу.

И довольно быстро замысел хозяев проясняется: в одной половине (2-й лагпункт) остались только *щирые* украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет 1-й лагпункт, — тысячи три всех остальных наций — русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии.

В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого — БУР. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей отделить от БУРа подальше. А — зачем так?

Скоро мы узнаём, зачем так. По лагерю идёт достоверный слух (от работяг, носящих в БУР баланду), что стукачи в своей «камере хранения» обнаглели: к ним подсаживают подозреваемых (взяли двух-трёх там-здесь), и стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: *кто режет*?? Вот когда замысел прояснился весь: пытают! Пытает

не сама псарня, а поручили стукачам: ищите сами своих убийц! И так хлеб свой оправдают, дармоеды. А украинцев для того и удалили от БУРа, чтоб не полезли на БУР. На нас больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари — там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой.

Но сколько глубоких историков, сколько умных книг — а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед.

Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют — не берёт. А искорка одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла.

Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья и крестовины и в полутьме бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает.

Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда стали их отгибать — и скрежет двенадцатисантиметровых

гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё-таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом: одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в каптёрку, кто за посылкой.

Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой стенке, где кипело, — обожглись и — назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или палкой бить стёкла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стёкла!

А вся-то затея была ребят — не восстание поднимать, и даже не брать БУР, это нелегко (ФОТО 15 — вот дверь экибастузского БУРа, высаженная и сфотографированная многими годами позже), а затея была: через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь — мол, знай наших, не очень-то! — но с вышек застрочили по зоне пулемёты, и поджечь так и не подожгли.

Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский дали знать в

дивизион. А дивизион распорядился по телефону угловым вышкам открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там.)

По усмешке судьбы, это произошло по новому стилю 22, а по старому — 9 января, день, который ещё до того года отмечался в календаре торжественно-траурным как *кровавое воскресенье*. А у нас вышел — кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев.

В темноте наугад стали садить из пулемётов по зоне. Пули пробивали лёгкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных. В 9-м бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок: через месяц он должен был освобождаться.

Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам (ещё надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи, наоборот,

наружу высыпали, возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять — что это, отчего.

Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любознательные и ищущие истины.

И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта — и автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъярённые надзиратели — с железными трубами, с дубинками, с чем попало.

Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся, раненых или ещё целых, и немилосердно били их.

Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была — тюрьма и следствие за участие в мятеже.

Ясно теперь сложилось — с утра на работу не выходить.

Забастовка-голодовка, не подготовленная, не

конченная даже замыслом как следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации.

В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, получалось, конечно, умней. У нас — хоть и неумно, но внушительно: три тысячи человек сразу оттолкнули и хлеб, и работу.

Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали: второй, третий, четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно — нас выгонять, потом мягко — нас приглашать: только пока в столовую за хлебом, а о разводе и речи не было.

Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь бригадирам доставалось что-то отвечать, они бормотали от изголовий:

— Ничего не выйдет, начальник…

Наконец уговаривание прекратилось и бараки заперли.

В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили параши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было обществом не голо-

дать. И только врачам и санитарам — работать.

И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров между надсмотрщиками — и рабами.

Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону.

Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения.

Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: «умри ты сегодня, а я завтра!» И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить.

В комнатах бараков установилось какое-то торжественно-любовное отношение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого-нибудь, особенно у посылочников, сносился теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и потом по общему решению секции одна пища делилась, другая откладывалась на завтра.

Что будут делать хозяева — никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и снова начнётся с вышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоёвывали у них — и горечью безнадёжности веяло от нашей забастовки.

Но в безнадёжности этой было что-то удовлетворяющее. Вот мы сделали бесполезный, отчаянный шаг, он не кончится добром — и хорошо. Голодало наше брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая-то другая, высшая потребность.

И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями.

Но когда чекисты на третье утро вызвали бригадиров в сени — решение общее было: не уступать!

Новоприехавший чин сказал так:

— Управление Песчаного лагеря *просит за-*

ключённых принять пищу. Управление примет все жалобы. Оно разберёт и устранит причины *конфликта* между администрацией и заключёнными.

Не изменили нам уши? Нас *просят принять пищу*? — а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем — а *конфликт между*! — между равными сторонами — администрацией и заключёнными!

Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться — и как же наши душевладельцы изменили тон! Никогда за всю жизнь, не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких елейных речей!

Однако бригадиры ушли не обернувшись.

То был наш ответ.

И барак заперся.

Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри по секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса — уступить. Чего большего мы могли достигнуть,

в самом деле?..

Мы устали! Мы хотели есть! Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать.

Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь — и промолчали бы её до смерти.

Уступить сейчас? — значит, сдаться на честное слово. Честное слово чьё? — тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, — когда ж они выполнили хоть одно своё слово?!

Поднялась давно осаждённая муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу — и уже уступить? В первый раз мы почувствовали себя людьми — и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал нас и познабливал: продолжать! продолжать! Ещё не так они с нами заговорят! Уступят!

И кажется, опять ударили крылья орла — орла нашего слитого двухсотенного чувства! Он поплыл!

А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дела нам осталось — думать.

И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, — наблюдатели крикнули с горячей досадой:

— Девятый барак!.. Девятый сдался!.. Девятый идёт в столовую!

Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам. Через решётки, с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга, мы смотрели, замерев, на это печальное шествие.

Двести пятьдесят жалких фигурок — чёрных и без того, ещё более чёрных против заходящего солнца — тянулись наискосок по зоне длинной покорной, униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли, — и не хотели за ними. Некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов. А ещё у многих в руках были котелки или кружки — и эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за

подаянием, — была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной.

Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их же.

Слово 9-го барака было решающим. Это у них уже четвёртые сутки, с вечера вторника, лежали убитые.

Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц.

Мы расходились от окон молча.

И тут я понял, что*о* значит польская гордость — и в чём же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом, — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок.

А сейчас — исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул:

— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду!

Взобрался на верх вагонки, отвернулся к стене и — не встал! Он не получал посылок, он был

одинок, всегда несыт — и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной Свободы!

Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?

Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу — навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли.

У меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по-лагерному, это будет «удобно». В январе, и особенно в роковые дни голодовки, опухоль за меня решила, что сейчас — удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию.

Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я — первый, кого туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко,

который должен меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего страдания.

О, как одно и то же, но в разных жизнях воспринимается нами в разном масштабе! Вот эта самая опухоль, раковая, — какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива — им *не на чем* лежать, всё ободрано. Кто-то уже умер от ран.

А новости обгоняют одна другую: на «российском» лагпункте началась расправа. Арестовали сначала сорок человек. Но аресты продолжались, отправляли куда-то маленькие этапы человек по двадцать, по тридцать. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в семьсот. Этап особого режима: этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники.

Я лежу в послеоперационной, в палате я один. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, — избушка морга, и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого

некому и некогда. (Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату: «и *здесь* два». И записывает в дощечку.)

В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё этапирование с незажившими швами. Я — чувствовал и ждал, как придут — откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли.

Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной — всё, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами, и, если когда-нибудь увидимся, — это будет совсем другая страна. А на всякий случай — прощай, друг! Прощайте, друзья!

А зараза свободы тем временем передавалась — куда ж было деть её с Архипелага? В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было

написано, выскреблено, выдолблено: «Привет борцам Экибастуза!»

И первое изъятие «центровых мятежников», человек около сорока, и из большого февральского этапа 250 самых «отъявленных» были довезены до Кенгира (посёлок Кенгир, а станция Джезказган) — 3-го лаготделения Степлага, где было и Управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастузцев разделили между 1-м и 2-м отделениями Степлага (Рудник).

Для устрашения восьми тысяч кенгирских зэков объявлено было, что привезены *бандиты*. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованною легендой вошло наше движение в рабский ещё Кенгир, чтоб разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь ещё господствовали кулак и донос.

Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели.

Но, видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно

в Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать свои цепи.

Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам экономики или общества — остановилась медленная старая кровь в жилах низкорослой рябой *личности*.

И хотя, по Передовой Теории, ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись, что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, — а что-то неведомое в подземелье стало сотрясаться, сдвигаться.

Не впустую прошла смерть тирана. Что-то скрытое где-то сдвигалось, сдвигалось — и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем ещё одна *личность* — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото.

И все теперь — и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы Архипелага поняли: наступила новая пора. Здесь, на Архипелаге, падение Берии было особенно громовым: ведь он был высший Патрон и Наместник Архипелага! Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио и нельзя было заткнуть этого

ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты этого милого ласкового Покровителя со стен Управления Степлага, полковник Чечев сказал дрожащими губами: «Всё кончено». (Но он ошибся.)

Глава 12. Сорок дней Кенгира

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой, до сей поры самые почётные, — вдруг понесли на себе как бы печать порока, и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними) — но не в глазах ли и правительства?

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату («за звёздочки»). Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся *не нужны*?

Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением:

побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было *принимать меры*. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шёл случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным.

Застрелили девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике.

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с Обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)

Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков позовут на суд и

они проверят!..). Вышли на работу.

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — *евангелиста*, как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была — обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого.

Всё в зоне заволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?..)

Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а

псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.

Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком.

Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й — на работу не вышли.

Два дня так они выстояли.

В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и невышедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на работу. 3-й не вышел ещё и в третье утро.

Но забастовка была пересилена. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!)

Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассасывалось.

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой — за блатными.

Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от

принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно, — хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). «Прибывает *здоровый контингент*! — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы не шелохнётесь». А к привезенным ворам воззвали: «Вы у нас наведёте порядок!»

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!

* * *

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня

стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что *воры зауважали каторжан*.

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слы-

шали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством, — пришли к *паханам* выдержанные широкоплечие хлопцы, сели *поговорить о жизни* и сказали им так: «Мы — представители. Какая в Особых лагерях идёт рубиловка — вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас — шестьсот человек, нас — две тысячи шестьсот. Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас перережем».

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит.

И ответили воры: «Нет, мы будем с *мужиками* вместе!»

Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные.

Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без при-

глашения на вагонки.

Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), сведенных в гвардию, — *мобили*. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было *вкалывать* на казённой работе — но что-то же надо было делать! Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки.

Надо было *начинать*, что-нибудь, но начинать! А так как начинателей, если они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они воры — только журят на политбеседах, то воры и предложили: мы — начнём, а вы — подд*е*ржите!

Заметим, что всё Кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, нарезаны были внутренние зоны: сперва 1-го лагпункта (женского), потом хоздвора, потом 2-го лагпункта, потом 3-го, а потом — тюремного, где стояли две тюрьмы — старая и новая — и

куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей посёлка.

Естественной первой целью было — взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеяли стену между 3-м и 2-м лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2-й лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси 2-го лагпункта — к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.

И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Воры стали отступать к своему 3-му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление.

Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед. А вечером с темнотою зазве-

нели от камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по 2-му лагпункту, и заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой.)

При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, опер капитан Беляев ворвался в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и — впервые в истории ГУЛАГа! — открыл огонь по *социально-близким*! Были убитые и несколько десятков раненых. А ещё — бежали сзади красно-погонники со штыками и докалывали раненых. (В ту ночь в больнице 2-го лагпункта засветилась операционная и заключённый хирург испанец Фустер оперировал.)

Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расставились. А 2-й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические) соорудил против хоздвора баррикаду. 2-й и 3-й лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД.

Но что случилось с теми, кто успел прорваться

на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают *баб*. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а — товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли солдаты. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму.

И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор.

Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров.

(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алма-Аты. Унесенные трупы отвезли в степь и закопали, чтоб устранить экспертизу, если её потом потребуют.)

Покатилось «Ура-а-а!.. Ура-а-а…» — и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму

— и всё соединилось! Всё было свободно внутри главной зоны! — только 4-й тюремный лагпункт оставался тюрьмой.

Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, всё время, и давеча, и только что бывших разобщёнными?! Экибастузское голодное лежание в запертых бараках — и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут — революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей! И мы любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. И ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сёстры наши по судьбе.)

В столовой прокламации: «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый!» На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги: «Хлопцы, бейте чекистов!», «Смерть стукачам, чекистским холуям!». В одном-другом-третьем месте лагеря, только успевай, — митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд убийц! — это понятно. А дальше?.. Не запирать бараков, снять номера! — а дальше?..

А дальше — самое страшное: для чего *это* начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы! — но кто ж нам её даст? Те суды, которые нас осудили, — в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой… нас всех в этой степи закопают.

А тогда — чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню?..

Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч — этот день стоил того!

А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна, они не смотрят зверьми, они без автоматов, да ведь и то сказать — они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, что из Москвы прилетели генералы. Они считают, что наши требования *вполне справедливы*. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, вполне справедливы.) «Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности». — «А за что женщин избили?» — «Женщин избили? — поражается делегация. — Быть этого не может». Аня Михайлевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана:

«Разберёмся, разберёмся». — «Звери!» — кричит генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: «Не запирать бараков!» — «Не будем запирать». — «Снять номера!» — «Обязательно снимем», — уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). — «Проломы между зонами — пусть остаются! — наглеем мы. — Мы должны общаться!» — «Хорошо, общайтесь, — согласен генерал. — Пусть проломы остаются». Так, братцы, чего нам ещё надо? Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели — и победили! И хотя среди нас качают головами и говорят — обман, обман! — мы верим. Мы верим нашему, в общем, неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения…

А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми — и снова верить. И снова быть обманутыми — и снова верить.

И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами.

И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьёзно признать правоту заключённых!

Не могли же они серьёзно наказывать военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать *огневые* зоны!

И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как взяться, — брал в руки мастерок; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки; инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой: открывать огонь!

А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот первый вечер — вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, — а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею.

Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, — перекликались ими третья и вторая зоны, как на

большом хулиганском гулянье. И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон.

Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам — вышки открывали пулемётный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами.

Длинными столами били по колючке, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, — значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски.

В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулемётным огнём прошли подкопами и проломами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западнёй (в другие дни их сделали шириной метров в двадцать).

В эту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надзорсостав, охранявший тюрьмы,

бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания: бывший полковник Красной армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии и кто-то у него сбежал в Западную — за это и получил он срок) и бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков.

Мятежные зэки! — которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж.

Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько *бежали в свободу*, хоть и не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им — жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбок. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощрёнными тайными путями и никогда не видели друг друга, — теперь

познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей — их брак спустился от Господа на землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продовольствие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день.

Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатах — цветные халаты и тюрбаны, серо-чёрный лагерь расцветёт.)

Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы Комиссии — комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так скромно, так боязливо она себя назвала).

Её избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством Кенгирского лагеря.

* * *

В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов: «Хлопцы, бейте чекистов»?

Едва выйдя из тюрьмы, в первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не раз, полковник Капитон Иванович Кузнецов повторял не уставая:

— Антисоветчина — была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги — нас подавят немедленно. Спасение наше — в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, *как подобает советским гражданам!*

Разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:

«Да здравствует Советская Конституция!»

«Да здравствует советская власть!»

«Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!»

«Долой убийц-бериевцев!»

А над столовой поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: белое поле, чёрная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил:

«Терпим бедствие. На борту – женщины и дети».

В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы:

- агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопмус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания);
- быта и хозяйства;
- питания;
- внутренней безопасности (Глеб Слученков);
- военный и
- технический, пожалуй самый удивительный

в этом лагерном правительстве.

Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо было всё придумать и наладить.

Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу.

Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решётки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, ещё работали станки в хоздворе, из прутьев этих решёток сделали множество *пик*, заостряя и обтачивая их концы.

Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли, ощетиненные кончиками пик.

В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, — мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои

пики остриями в небо.

Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся — и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! — и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя *как люди*, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем.

Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём-то силу, то сила была — в единстве.

Не посягали воры и на продовольственный склад, что, для знающих, удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты.

Технический отдел начал борьбу за свет. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и… радиопередатчик! А в бараках светили лучины… Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.

Дни текли. Не спуская с зоны глаз — солдатских с вышек, надзирательских оттуда же (надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть, с фотосъёмкой), — ге-

нералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается и повода нет вести войска на выручку.

Лагерь — стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая-нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников *гарантировал* им личную безопасность!..

Требования-просьбы восставших были сформулированы ещё в первые два дня и теперь повторялись многократно:

— наказать убийцу евангелиста;

— наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе;

— наказать тех, кто избивал женщин;

— вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы;

— не надевать больше номеров, не ставить на

баракирешёток, не запирать бараков;

— не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами;

— восьмичасовой рабочий день, как у вольных;

— увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными);

— свободная переписка с родственниками и иногда свидания;

— пересмотр дел.

Затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни встреч. Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только *надо подождать*. Но что совершенно безотложно — надо выходить на работу! на работу! на работу!

А уж это зэки знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков.

«Нет, — отвечали они через стол и с трибу-

ны. — Нет! — кричали из толпы. — Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству Степлага! Мы не верим МВД!»

– *Даже* МВД не верите? — поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамолы. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?

Загадка.

— Члена Президиума ЦК! Члена Президиума ЦК! Тогда поверим! — кричали зэки.

— Смотрите! — угрожали генералы. — Будет хуже!

Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо.

— Если войдёте в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что здесь половина людей — бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием!

А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: «Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Караганду! А там — наш брат!»

Были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало: че-

рез несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращения к заключённым с информацией, дезинформацией и одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками.

Ходит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблён.

По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить. То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах Комиссии. И опять шли призывы: работать! работать! почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству! Простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать! (Пусть постоят! — смеялись зэки, — скорей уступите!)

Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения, конечно более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидростанции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятеж-

ники не наладили радиопередатчик да не стали бы о своём восстании передавать за границу.)

Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги склеен был огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! — ветер был быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи:

«Спасите женщин и стариков от избиения!»

«Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!»

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел зэки-чечены и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над посёлком.

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! — и всё против слова правды…

Тем временем готовил Техотдел и «секретное» оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все ящики со спичками укрыли за дверью «100 000 вольт»). Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части.

Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то, по прошествии недель двух от начала, в одну из тёмных, ничем не освещённых ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах — разрушали стену сами войска конвоя! В лагере был переполох, метались

с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли.

К утру оказалось, что в разных местах зоны противник проделал с десяток проломов.

Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах — не стреляем! перешедших — не будем судить за бунт!

По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спасаться — валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого.

Долго зияли проломы — дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины.

Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне, может быть, тысячи. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души, и слишком низкие законы, по которым «жизнь даётся однажды», и бытие определяет сознание, и шкура гнёт человека в трусость, — не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям

сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам:

— Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!

И операция, так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, — операция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры.

Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя… То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго — половину мая и потом почти весь июнь. Уже невозможно было и рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка: приедет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет, добрый, и ахнет, и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут держали? судить убийц! разжаловать остальных… Но слишком точкою была, и слишком розовой.

Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и сдаваться на расправу

Степлагу МВД.

И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чём не замешан и если осторожненько дальше — то и не будет. А кто-то был молодожён (и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, — каждое утро было для них даром неба.

А верующие — молились и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий.

А кто-то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше.

Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им или держаться, — они опять попадали в ту общественную темпе-

ратуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти.

И когда голосовали — держаться ли? — большинство голосовало *за*.

Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек только ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок; прачечная; смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже примирительные суды для спорящих.

Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрей.

В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна.

Этот недобрый какой-то рёв добавил мраку.

И вдруг — посрамлены были скептики! посрам-

лены были отчаявшиеся! посрамлены были все, говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК!

Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно добиться! Значит, ***есть*** справедливость в нашей стране! Что-то уступят нам, в чём-то уступим мы. В конце концов, и в номерах можно походить, и решётки на окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы *до* этого вышли на работу!

Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.

И даже противные трактора, поработав с вечера 24 июня, замолкли.

Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра *он* и приедет, может, уже приехал…

На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвились и с вышек — и наблюдатели на крышах

бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы! Самолёты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами в касках. (И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска, а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела) подавали команды: «Берите такой-то барак!.. Кузнецов находится там-то!..»

Проснулся лагерь — весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти.

Бился 3-й лагпункт — тот, который и начал. Они… швыряли камнями в автоматчиков и над-

зирателей, наверно, и серными угольниками в танки… Какой-то барак два раза с «ура» ходил в контратаку…

Танки давили всех попадавшихся по дороге, наезжали на крылечки бараков, давили там. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались под дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн: как во сне, отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин туда бросали.

Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок — боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, — кололи и женщин! Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там.

Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь.

Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно, только били прикладами.

По мере захвата очередной группы пленных её вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек.

Убитых и раненых было: по рассказам — около шестисот, по материалам производственно-плановой части Кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, — более *семисот*[71]. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую.

Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых, но для большего неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, остальных где-то в степи.

Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти дни — нещадно

---

[71] Примечания: 71

9 января 1905 года было убитых около 100 человек. В 1912 году, в знаменитых расстрелах на Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых — 250.

знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что — жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам.

Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму. Больше тысячи человек — отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму.

26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проёмы.

27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук.

Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый, и даже о нём-то мы толком ничего не знаем…

На могилах бывает особенно густая зелёная травка.

А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали — и тогда тамошние жители из неуехавших ссыльных разведали всё-таки, где похоронили *тех*, — и приносили степные тюльпаны.

Мятеж не может кончиться удачей.
Когда он победит – его зовут иначе…

(Бёрнс)

Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы памятник Кенгиру.

Часть шестая – ССЫЛКА

И кости по родине плачут.
Русская пословица

Глава 1. Ссылка первых лет свободы

Наверно, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из племени ведь уже было ссылкой. Соображено было рано, как трудно человеку существовать, оторванному от привычного окружения и места. Всё не то, всё не так и не ладится, всё временное, ненастоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота.

И в Российской империи со ссылкой тоже не запоздались: она законно утверждена при Алексее Михайловиче Соборным Уложением 1648 года. Но и ранее того, в конце XVI века, ссылали безо всякого Собора: опальных каргопольцев; затем угличан, свидетелей убийства царевича Димитрия. Просторы разрешали — Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полторы тысячи ссыльных. А Пётр ссылал многими сотнями. Елизавета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. В начале XIX века ссылалось, что ни год, от 2 до 6 тысяч человек. В конце века числилось ссыльных единовременно 300 тысяч.

Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем.

Подразумеваемой, всем тогда естественной, а

нам теперь удивительной особенностью ссылки последнего царского столетия была её индивидуальность: по суду ли, административно ли, но ссылку определяли отдельно каждому, никогда — по групповой принадлежности.

А что такое была ссылка Радищева? В посёлке Усть-Илимский Острог он купил двухэтажный деревянный дом (кстати — за 10 рублей) и жил со своими младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал его заставлять, он вёл жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское, — теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и деятелей: Тургенева — в Спасское-Лутовиново, Аксакова — в Варварино (по его выбору).

Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Её испытали и в XX веке многие революционеры и фрондёры, особенно — большевики: их не опасались. Сталин, уже имея за спиной 4 побега, был на 5-й раз сослан… в саму Вологду.

Но даже и такая ссылка, по нашим теперь представлениям льготная, ссылка без угрозы голодной

смерти, воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезнен пришёлся им перевод из тюрьмы с её обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом — в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крове. А когда изыскивать их не надо, то, объясняют они (Ф. Кон), ещё хуже: «ужасы безделья… Самое страшное то, что люди обречены на бездействие», — и вот некоторые уходят в науки, кто — в наживу, в коммерцию, а кто — спивается от отчаяния. Точней сказать — от перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от потери живых связей.

Вот это и есть та мрачная сила ссылки — чистого перемещения и водворения со связанными ногами, о которой догадались ещё древние властители, которую изведал ещё Овидий.

Пустота. Потерянность. Жизнь, нисколько не похожая на жизнь…

* * *

В перечне орудий угнетения, которые должна была навсегда размести светлая революция, на каком-нибудь четвёртом месте числилась, конечно, и ссылка.

Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножками, ещё не возмужав, она поняла: нельзя без ссылки! Вот подлинные слова Тухачевского, народного героя, потом и маршала, о 1921 годе в Тамбовской губернии: «Было решено организовать ***широкую высылку*** бандитских (читай — «партизанских». — *А. С.*) семей. Были организованы ***обширные концлагеря***, куда предварительно эти семьи заключались»[72].

Уже 16 октября 1922 при НКВД была создана постоянная Комиссия по Высылке «социально-опасных лиц, деятелей антисоветских партий», то есть всех, кроме большевицкой.

Но осталась в ссыльной традиции и кое-какая помеха, именно: иждивенческое настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство ***не смело*** заставлять ссыльных увеличивать национальный продукт. И профессиональные революционеры считали для себя унизительным работать. В Якутии имел право ссыльно-поселенец на 15 десятин земли. Не то чтоб революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю якуты и платили революционерам «отступного»,

[72] Примечания: 72

Тухачевский М. Борьба с контрреволюционными восстаниями // Война и революция. — М., 1926. — Кн. 8. — С. 10.

арендную плату, расплачивались продуктами, лошадьми. И ещё, кроме того, платило царское государство своему политическому врагу в ссылке: 12 рублей в месяц кормёжных и 22 рубля в год одёжных. И Ленин в шушенской ссылке получал (не отказывался) 12 рублей в месяц. Сибирские цены были в 2–3 раза ниже российских, и потому казённое содержание ссыльного было даже избыточным. Например, Ленину оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования.

Ну разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основаться наша советская политическая ссылка. С 1929 стали разрабатывать ссылку *в сочетании с принудительными работами*.

«Кто не работает — тот не ест» — вот принцип социализма.

Однако и при желании работать — сам тот заработок получить ссыльным было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей.

Приходилось крошечки со стола да сметать в рот.

Вот как упала русская политическая ссылка! Не оставалось времени спорить и протесты писать.

И горя такого не знали: как им справиться с бессмысленным бездельем… Забота стала — как с голоду не помереть.

В первые советские годы в стране, освобождённой наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной. Едва общественное мнение заменено было *мнением организованным* — и низверглись ссыльные с их протестами и правами под произвол тупых зачуханных гепеушников и бессердечных тайных инструкций.

Ослаблены были ссыльные и отчуждённостью от них местного населения: местных преследовали за какую-либо близость к ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодёжь исключали из комсомола.

Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были весёлым спортом: пять побегов Сталина, шесть побегов Ногина, — грозила им за то не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ со средины 20-х годов наложило на ссыльных партийную круговую поруку: все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хва-

тало воздуха, и уже так был прижимист гнёт, что социалисты, недавно гордые и неукротимые, приняли эту поруку! Они теперь сами, своим партийным решением *запрещали себе бежать*!

Да и ***куда***бежать? К ***кому***бежать?..

До начала 30-х годов сохранялась и самая смягчённая форма: не ссылка, а *минус*. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город *за минусом* скольких-то.

Минус был булавкой: им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придёт ему черёд арестоваться по-настоящему.

Ссылка была — предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели — вызова ***туда***. (Были умные люди — из *бывших*, да и простых крестьян, ещё в 20-е годы понявшие всё предлежание. И, окончив первую трёхлетнюю ссылку, они на всякий случай там же, например в Архангельске, оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок.)

Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка.

Вот чем была у нас догружена овидиева тоска[73].

[73] Примечания: 73

Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт. В 8 г. н. э. был сослан императором Октавианом Августом на берега Чёрного моря, в Добруджу. Изгнание переносил тяжело, о чём свидетельствуют его «Скорбные элегии» и «Понтийские послания», молил о помиловании, но ни Август, ни вслед за ним Тиберий не вернули поэта из ссылки, где он и умер на девятом году изгнания. — *Примеч. ред.*

Глава 2. Мужичья чума

Тут пойдёт о малом, в этой главе. О пятнадцати миллионах душ. О пятнадцати миллионах жизней.

Конечно, не образованных. Не умевших играть на скрипке. Не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой.

Во всей Первой Мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше двух миллионов. Во всей Второй — двадцать миллионов (это — по Хрущёву, а по Сталину — только семь). Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней, романов и поэм! — да четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена.

А о той молчаливой предательской Чуме, сглодавшей нам 15 миллионов мужиков, — и это по *самому малому* расчёту и только кончая 1932 годом! — да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, — о той Чуме нет книг. А о 6 миллионах выморенных вослед искусственным большевицким голодом — о том молчит и родина наша, и сопредельная Европа. На изобиль-

ной Полтавщине в деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций нельзя было вступить — дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим — уже некому было хоронить.

И трубы не будят нас встрепенуться. И на перекрёстках просёлочных дорог, где визжали обозы обречённых, не брошено даже камешков трёх.

С чего это всё началось?

Все 20-е годы открыто козыряли, кололи, попрекали: кулак! кулак! кулак! Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с «кулаком» на одной земле нельзя.

Истребительная крестьянская Чума подготовлялась, сколько можно судить, ещё с ноября 1928 года. А в начале 1930 возглашено публично (постановление ЦК ВКП(б) от 5 января об ускорении коллективизации): партия имеет «полное основание перейти к политике ликвидации кулачества как класса».

Хорошо понятен принцип «раскулачивания» на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из дерев-

ни Маслено (Селищенские казармы у Волхова). В 1925 году, по смерти своего отца Фёдора, он остался тринадцати лет, единственный сын, остальные девчонки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И девчонки, и мать подчинились ему. Теперь как занятой и взрослый раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, и были у него к 1929 году закрома полны зерна. Вот и кулак! Всю семью и угнали!..

Адамова-Слиозберг рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 1936 году в тюрьму за самовольный уход — *пешком две тысячи километров!* спортивные медали за это надо давать — из уральской ссылки в родное село Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 1929 году, навсегда лишена учёбы. Учительница ласково звала её «Мотя-Эдисончик»: девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума, она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через семь лет потянуло её хоть глянуть на брёвна той недостижимой школы — и получила за то «Эдисончик» тюрьму и лагерь.

Дайте-ка детскую судьбу такую из XIX века!

Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник — а кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни?

Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду одноэтажных — вот тот и кулак, собирайся, сволочь, в шестьдесят минут! Не должно быть в русской деревне домов кирпичных, не должно двухэтажных! Назад, в пещеру! Топись по-чёрному! Это наш великий преобразующий замысел, такого ещё в истории не было.

Но главный секрет — ещё не в том. Иногда кто и лучше жил, — если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявленья не подавал, — высылался.

Ни в каком не «раскулачивании» было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, обещанную революцией, — и на эту же землю их же посадить крепостными.

И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооружённые *активисты*, штыками искалывали землю во дворах, молотками выстукивали стены в избах — иногда разваливали стену — и оттуда сыпалась пшени-

ца. Уже для напуга больше вспарывали ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички, — «воровка!» — закричала на неё активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из девочкиного подола. И не дала собирать по зёрнышку.

Это была вторая гражданская война — теперь против крестьян. Это был Великий Перелом, да, только не говорят — ***чего перелом***?

Русского хребта.

Нет, согрешили мы на литературу соцреализма — описано у них раскулачивание, описано — и очень гладко, и с большой симпатией.

Только не описано, как в длинном порядке деревни — и все заколочены окна. Как идёшь по деревне — и на крылечке видишь мёртвую женщину с мёртвым ребёнком на коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба — а когда ты идёшь назад, он уже завалился мёртвый.

Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на казённую телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печёного

хлеба, — и спас их сосед, Кузьма многодетный, тоже не богач, — принёс на дорогу.

А саму ***дорогу***, сам путь этот крестный, крестьянский, — уж этот соцреалисты и вовсе не описывают. Погрузили, отправили — и сказке конец.

А грузили их: хорошо, если по тёплому времени в телеги, а то — на сани, в лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Коченево (Новосибирской области) в феврале 1931, когда морозы перемежались буранами, — шли, и шли, и шли окружённые конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться — дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты, чтоб не держать обоза. Все тянулись они в нарымские болота — и в ненасытимых этих болотах остались все. Но ещё раньше, в жестоком пути, околевали дети.

С тех пор как Ирода не стало — это только Передовое Учение могло нам разъяснить: как уничтожать до младенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло: прославили его душегубки, а вот до наших нет никому интереса.

Знали мужики, что их ждёт. И если счастье выпадало, слали их эшелонами через обжитые

места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на остановках спускали через окошечки: живите по людям! побирайтесь! — только б с нами не умирать.

(В Архангельске в голодные 1932—33 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим нуждающимся.)

В эшелоне с Дона, где баб везли отдельно от казаков, одна баба в пути родила. А давали им стакан воды в день и не всякий день по 300 граммов хлеба. Фельдшера? — не спрашивай. Не стало у матери молока, и умер в пути ребёнок. Где ж хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролёт, на ходу открыли дверь — и выбросили трупик.

В эту жестокость трудно верится: чтобы зимним вечером в тайге сказали: вот здесь! Да разве л ю д и так могут? А ведь везут — днём, вот и привозят к вечеру. Сотни-сотни тысяч именно так завозили и покидали, со стариками, женщинами и детьми.

От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населённый пункт, ни в какое обжитое место, — а к зверям, в дичь, в пер-

вобытное состояние. Нет, хуже: и в первобытном состоянии наши предки выбирали посёлки хотя бы близ воды. Сколько живёт человечество — ещё никто не строился иначе. Но для *спецпосёлков* чекисты выбирали места (а сами мужики не имели права выбирать) на каменистых косогорах (над рекой Пинегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастет на земле). В трёх-четырёх километрах бывала удобная пойма — но нет, по инструкциям не положено близ неё селить! Оказывались сенокосы в десятках километров от посёлка, и сено привозили на лодках… Иногда прямо *запрещали сеять хлеб*. (Направление хозяйства тоже определяли чекисты.)

Много таких спецпосёлков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа.

Никакой Чингиз-хан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши Органы, ведомые Партией.

Вот — Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей (значит, 50–65 тысяч человек, по тогдашним семьям) прошли через Томск, и дальше погнали их зимою пеших: сперва вниз по Томи,

потом по Оби, потом вверх по Васюгану — всё ещё зимником. (Жителей попутных сёл выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей.) В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках (твёрдых возвышенностях средь болот). *Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда.* Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало, только две гати: одна — на Тобольск, одна — к Оби. На обеих гатях стали пулемётные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили — тут их расстреливали.

Вымерли — все.

И всё-таки — сосланные жили! По их условиям поверить в это нельзя, а — жили.

Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или тайгу, выпускали — и забывали там: ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им и стрелка — по глухости и дальности. И от мудрого руководства наконец отпущенное — без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, это трудолюбивое упорное племя, с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинало безнадёжную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в Каменный век. И наперекор экономическим законам социализма

посёлки эти вдруг не только выживали, но крепли и богатели!

В таком посёлке, где-то на Оби, и не рядом, значит, с судоходством, а на боковом оттоке, вырос Буров, мальчиком туда попав. Он рассказывает, что как-то уже перед войной шёл мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось районное начальство. Допросило — откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству и добродетельству, какого не знали в своём колхозном краю. Уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД и опять, как в год Чумы, велели им в час всё нажитое покинуть, весь тёплый посёлок — и наголе, с узелками, отправили дальше в тундру.

Не довольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть «кулаков», и суть «раскулачивания»?

Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться!!

Нет, не перемёрла обречённая порода! И в ссылке опять-таки рождались у них дети — и так же наследственно прикреплялись к тому же спецпосёлку. («Сын за отца не отвечает», помните?) Выходила сторонняя девушка замуж

за спецпереселенца — и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Приезжала ли дочь к отцу — вписывали и её в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше.

До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов.

Но вот — пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобождённые из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, — кто ж они и что ж они внутренне и внешне? Ба! — да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, как параллельно воспитаны рабочими посёлками, профсоюзными собраниями и службой в Советской армии. Они так же вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино (не старообрядцы, конечно). Так же согласно кивают каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту так же гневно клеймят Южно-Африканскую Республику или собирают свои гроши на пользу Кубе.

Так потупимся же перед Великим Мясником, склоним головы и ссутулим плечи: значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году?

Прав — морально: на него нет обид! При нём,

говорит народ, было «лучше, чем при Хруще»: ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник.

И тем более прав — государственно: этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно выродится народ.

До смерти звенели ему похвалы да гимны, и ещё сегодня не позволено нам его обличать: не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазинный стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах.

Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам.

Глава 3. Ссылка густеет

[В главе прослежено развитие советской ссылки от 20-х годов – к 40-м и 50-м. Рассказано, как ссылка «приобрела ещё новое государственное значение свалки – того резервуара, куда сваливаются отходы Архипелага, чтобы никогда уже не выбраться в метрополию».]

Глава 4. Ссылка народов

Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века массовой насильственной пересылки народа. Были колониальные покорения — на океанских островах, в Африке, в Азии, в Туркестане, победители приобретали власть над коренным населением, но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землёю, с его прадедовскими домами. Может быть, только вывоз негров для американских плантаций даёт нам некоторое подобие и предшествие, но там не было зрелой государственной системы: там лишь были отдельные христиане-работорговцы, в чьей груди взревела огнём внезапно обнажившаяся выгода, и они ринулись каждый для себя вылавливать, обманывать и покупать негров по одиночке и по десяткам.

Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества — XX веку, и нужно было на основе Единственно-Верного Учения высочайше развиться Национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент

на поголовное искоренение народов путём их высылки в сорок восемь, в двадцать четыре и даже в полтора часа.

Конечно, это не так сразу прояснилось и ему Самому. Даже пропрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять Великий Рулевой, как это удобно перенесётся на нации. Но всё же опыт державного брата Гитлера по выкорчёвыванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала Второй Мировой войны, а Сталин-батюшка задумался над этой проблемою раньше.

Кроме только Мужичьей Чумы и до самой высылки народов наша советская ссылка, хотя и ворочала кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с лагерями, не была столь славна и обильна, чтобы пробороздился в ней ход Истории. Были *ссыльно-поселенцы* (по суду), были *административно-ссыльные* (без суда), но и те и другие — всё счётные единицы, со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфас и в профиль.

Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на высылку *спецпереселенцев*! Два первых термина были от царя, этот — советский кровный. В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами

«раскулаченных». И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям.

Первый опыт был весьма осторожен: в 1937 году сколько-то десятков тысяч подозрительных этих корейцев были тихо и быстро, от трясущихся стариков до блеющих младенцев, с долею нищенского скарба переброшены с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домах без окон (где же стёкол набраться!). И так тихо, что никто, кроме смежных казахов, о том переселении не узнал, и ни один сущий язык в стране о том не пролепетал, и ни один заграничный корреспондент не пикнул. (Вот для чего вся печать должна быть в руках пролетариата.)

Понравилось. Запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в окрестностях колыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешенными штыками брали ссылаемых, а называлось это — «торжественные проводы» в Карело-Финскую (только что завоёванную) республику. В зените дня, под трепетанье красных флагов и под медь оркестров, отправляли осваивать новые родные земли приленинградских финнов и эстонцев. Отвезя же их несколько поглуше, отобрали у всех паспорта, оцепили

конвоем и повезли дальше телячьим красным эшелоном, потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать «на укрепление колхозов».

Всё это были пробы. Лишь в июле 1941 года пришла пора испытать метод в развороте: надо было автономную, и конечно изменническую, республику Немцев Поволжья (с её столицами Энгельс и Марксштадт) выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подальше на восток. Здесь первый раз был применён в чистоте динамичный метод ссылки целых народов, и насколько же легче, и насколько же плодотворней оказалось пользоваться единым ключом — пунктом о национальности — вместо всех этих следственных дел и именных постановлений на каждого.

Система была опробована, отлажена и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную назначенную обречённую предательскую нацию, и каждый раз всё проворнее: чеченов, ингушей, карачаевцев; балкар; калмыков; курдов; крымских татар; наконец, кавказских греков. Система тем особенно динамичная, что объявляется народу решение Отца Народов не в форме болтливого судебного процесса, а в форме боевой

операции современной мотопехоты: вооружённые дивизии входят ночью в расположение обречённого народа и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулемётов и автоматов вокруг каждого селения. И даётся 12 часов (но это слишком много, простаивают колёса мотопехоты, и в Крыму уже — только 2 и даже полтора часа), чтобы каждый взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый, как арестант, ноги поджав, в кузов грузовика (старухи, матери с грудными — садись, команда была!) — и грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телячьи эшелоны до места.

Стройная однообразность! — вот преимущество ссылать сразу нациями. Никаких частных случаев! Никаких исключений, личных протестов! Все едут покорно, потому что: и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола: едут и те, кто во чреве, — и они уже сосланы тем же Указом. Едут и те, кто ещё не зачат: ибо суждено им быть зачатыми под дланью того же Указа, и от самого дня рождения, вопреки устаревшей надоевшей статье 35-й УК («ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет»), едва только высунув голову на свет, — они уже будут спецпереселенцы,

уже будут сосланы навечно.

И то, что осталось за спиною, — распахнутые, ещё не остывшие дома, и разворошенное имущество, весь быт, налаженный в десять и в двадцать поколений, — тоже единообразно достаётся оперативникам карающих органов, а что — государству, а что — соседям из более счастливых наций, и никто не напишет жалобы о корове, о мебели, о посуде.

Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики. Но не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь (множество калмыков вымерло на Енисее), Северный Урал и Север Европейской части.

Считать или не считать ссылкою народов высылку прибалтийцев? Формальным условиям она не удовлетворяет: ссылали не всех подчистую, народы как будто остались на месте. Как будто остались, но прорежены по первому разряду.

Их чистить начали рано: ещё в 1940 году, сразу, как только вошли туда наши войска, и ещё прежде, чем обрадованные народы единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров.

Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка

была, это были лагеря, а для кого-то — расстрелы в каменных тюремных дворах. И в 1941, отступая, хватали, сколько могли, людей состоятельных, значительных, заметных, увозили, угоняли, а потом сбрасывали, как навоз, на коченелую землю Архипелага.

Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 1948 году (непокорные литовцы), в 1949 (все три нации) и в 1951 (ещё раз литовцы). (В эти же совпадающие годы скребли и Западную Украину, и последняя высылка произошла там тоже в 1951 году.)

Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времён корейских и даже крымско-татарских, что счёт не шёл уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно двадцати-тридцати минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог — в ночную тьму и на грузовик.

В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 лошадей, или 32 солдата, или 40 заключённых, ссылаемых таллинцев везли по 50 и больше. По спеху вагонов не оборудовали, и не сразу разрешили прору-

бить дыру. Параша — старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двуногих млекопитающих, с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разное суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды, умер ребёнок. (А ведь всё это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, — а всё то же…)

Путь у всех эшелонов был дальний: в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. Четырнадцать суток ехали до Ачинска.

А не плакал — никто. Ненависть сушит слёзы.

О чём думали в дороге эстонцы: как встретит их сибирский народ? В 40-м году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. (Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями…)

Сейчас, в 49-м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сёстры удивлялись, как эти женщины худы и обтрёпаны, и тряпки чистой нет у них для ребёнка. Приехавших разослали по обезлюдевшим

колхозам, — и там, от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты: кто по пол-литра молочка, кто лепёшек свекольных или из очень дурной муки.

И вот теперь — эстонки плакали.

На станции Ачинск произошла весёлая путаница: начальство Бирилюсского района *купило у конвоя* 10 вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ачинска. А назначены они были (но не знали, конечно, об этом) Саралинскому рудоуправлению в Хакасию. Те ждали свой *контингент*, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над сёлами вой от мычавших коров, коровы как дикие кидались на полусгнившую солому.

На этом Чулыме месяца три колотились эстонцы, с изумлением осваивая новый закон: *или воруй, или умирай!* И уж думали, что навечно, — как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакасии (это хозяева на-

шли свой контингент). Хакасцев самих там было неприметно, а каждый посёлок — ссыльный, а в каждом посёлке — комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз.

Но ещё не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в «старательские артели». Старатели! — это так заманчиво звучит, слово поблескивает лёгкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В «артели» эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно; просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть.

Но и это всё ещё не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь (и не вздорно): вообще, колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если колхоз и лагерь — да соединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза то, что

пайки нет, — только в посевную дают семисотку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком, земляного цвета (должно быть, в амбарах полы подметали). От лагеря то, что сажают в КПЗ: пожалуется бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки — концов не сведёшь: за первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень *по двадцать граммов зерна* (птичка Божья при дороге напрыгает больше) и по 15 сталинских копеек (хрущёвских — полторы). За заработок целого года она купила себе… алюминиевый таз.

Так на что ж они жили?! А — на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали — не весь.

А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?..

Пройдите по могилам, спросите.

Глава 5. Кончив срок

В 1952 году из трёхтысячного «российского» лагпункта Экибастуза «освободили» десяток человек. Это очень странно выглядело тогда: Пятьдесят Восьмую — и выводили за ворота! Три года перед тем стоял Экибастуз — и ни одного человека не освобождали, да и срок никому не кончался. А это значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил.

С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло. И узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило! И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении, — дело в том, что нас, однажды названных *врагами*, власть будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным, так привыкли мы, с этим сжились.

Только то место и было верное, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас — зачем

приехали. Только здесь мы имели безусловное конечное право на три квадратных аршина земли. А ещё кто выходил из лагеря одиноким, как я, не ожидаемым нигде и никем, — только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу.

Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопятся. А уж я рад был, что после конца срока меня передержали в лагере всего несколько дней и после этого… освободили? нет, после этого взяли на этап. И ещё месяц везли за счёт уже *моего* времени.

И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенное, загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестантские вагоны, мешали с блатными, и так же рычали на нас конвойные псы, и так же кричали автоматчики: «Не оглядывайсь!!»

На станции Джамбул нас высаживали из вагонзака всё с теми же строгостями, вели к грузовику в живом коридоре конвойных и так же на пол сажали в кузове. Привезли в тюрьму — и тюрьма приняла нас без приёмного шмона и без бани.

Мягчели проклятые стены!

По одному начинают вызывать в областную комендатуру — это тут же, во дворе облМВД, это — такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми ссыльными Джамбульской области.

Лагерный опыт отчётливо бьёт меня под бок: смотри! в эти короткие минуты решается вся твоя будущая судьба! Не теряй времени! Требуй, настаивай, протестуй! Напрягись, извернись, изобрети что-нибудь, почему ты обязательно должен остаться в областном городе или получить самый близкий и удобный район. (И причина эта есть, только я не знаю о ней: второй год растут во мне раковые метастазы после лагерной незаконченной операции.)

Не-ет, я уже не тот… Я не тот уже, каким начинал срок. Какая-то высшая малоподвижность снизошла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его — в наидурном.

Всем нам одно назначение: Кок-Терекский район. Это — кусок пустыни на севере области, начало безжизненной Бет-Пак-Дала, занимаю-

щей весь центр Казахстана.

Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывают нам — распишитесь.

Итак, что же мне «объявлено сего числа»? Что я, имярек, ссылаюсь *навечно* в такой-то район под гласный надзор районного МГБ и в случае самовольного отъезда за пределы района буду судим по Указу Президиума Верхсовета, предусматривающему наказание 20 (двадцать) лет каторжных работ.

Ну что ж, ничто не удивляет нас. Мы охотно подписываем.

Мелькают километры степи. Сколько глазу хватает, справа и слева — жёсткая серая несъедобная трава и редко-редко — казахский убогий аул с кущицей деревьев. Наконец впереди, за степной округлостью, показываются вершинки немногих тополей (Кок-Терек — «зелёный тополь»).

Приехали! Грузовик несётся между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонятся милые ишаки в

маленьких бричках, из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщин, этих необыкновенных забытых женщин, вон чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком; вон сразу трое идут в пёстрых красных платьях.

Миновав раймаг, чайную, амбулаторию, почту, райисполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, — грузовик наш останавливается около дома МГБ. Все в пыли, мы спрыгиваем, входим в его палисадник и, мало стесняясь центральной улицы, моемся тут до пояса.

Через улицу, прямо против МГБ, стоит одноэтажное, но высокое удивительное здание, четыре дорические колонны всерьёз несут на себе поддельный портик, у подошвы колонн — две ступени, облицованные под гладкий камень, а над всем этим — потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться: это — школа! десятилетка. Но не бейся, молчи, несносное: это здание тебя не касается.

Пересекая центральную улицу, туда, в заветные школьные ворота, идёт девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная в талии жа-

кета, как осочка. Она идёт — и касается ли земли? Она — *учительница*! Она так молода, что не могла ещё кончить института. Значит — семилетка и целый педагогический техникум. Как я завидую ей! Какая бездна между нею и мной, чернорабочим. Мы — разных сословий, и я никогда не осмелился бы провести её под руку.

А между тем новоприбывшими, по очереди *выдёргивая* их к себе в молчаливый кабинет, стал заниматься... кто же бы? Да конечно кум, оперуполномоченный! И в ссылке он есть, и тут он — главное лицо.

Что я должен заполнить? Анкету конечно. И автобиографию. Опер прочитывает их и накалывает в скоросшиватель.

— А не скажете, где здесь районо? — вдруг спрашиваю я беззаботно-вежливо.

А он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивлённо бровей.

— Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя?

Он пожимает плечами:

— Вообще, сегодня желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно.

И вот я ***иду***! Все ли понимают это великое сво-

бодное слово? Я ***сам*** иду! Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь: никого! Захочу, пойду правой стороною, мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороною, где бродят и роются куры перед самым районо.

Двести метров я прохожу до районо — а спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась. За эти двести метров я перешёл в следующее гражданское сословие.

Я вхожу в старой шерстяной гимнастёрке фронтовых времён, в старых-престарых диагоналевых брюках. А ботинки — лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок.

Сидят два толстых казаха — два инспектора районо, согласно надписям.

— Я хотел бы поступить на работу, в школу, — говорю я с растущей убеждённостью и даже как бы лёгкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водой.

Они настораживаются. Всё-таки в аул, среди пустыни, не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Кок-Терекский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо.

— А что вы кончили? — довольно чисто по-рус-

ски спрашивают меня.

— Физмат университета.

Они даже вздрагивают. Переглядываются. Быстро тараторят по-казахски.

— А… откуда вы приехали?

Как будто неясно, я должен всё им назвать. Какой же дурак приедет сюда наниматься, да ещё в марте месяце?

— Час назад я приехал сюда в ссылку.

Они принимают многознающий вид и один за другим исчезают в кабинете зава. Они ушли — и теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под пятьдесят, русской. Миг — как искра, и мы — земляки: с Архипелага и она! Надежда Николаевна Грекова из казачьей новочеркасской семьи, арестована в 1937, простая машинистка. Десять лет, а теперь — *повторница*, и — вечная ссылка.

Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня: две десятилетки, несколько семилеток, район задыхается без математиков, нет ни одного с высшим образованием, а какие такие бывают физики — тут и не видели никогда. Звонок из кабинета, вызывают меня.

Красная скатерть на столе. На диване — оба толстых инспектора, очень удобно утонули. В

большом кресле под портретом Сталина — заведующий, маленькая гибкая привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портрета.

Меня сажают у двери, вдали, как подследственного. Расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнение, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем, после всяких заминок и вздохов, что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района и даже полставки трудно выкроить, что воспитание молодого человека нашей эпохи — ответственная задача, — они подводят к главному: *за что* я сидел? в чём именно моё преступление?

Я пугаю этих просветителей, есть такой арестантский приём: о чём они меня спрашивают — это государственная тайна, рассказывать я не имею права. А короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет.

Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть: они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в двух экземплярах. Знакомое дело! Бумага всё терпит. Не час ли назад я это уже заполнял? И, заполнив ещё раз, возвращаюсь в МГБ.

Коменданты оказываются покладистыми и разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе, на сене.

Ночь под открытым небом! Мы забыли, что это значит!.. Всегда замки, всегда решётки, всегда стены и потолок. Куда там спать! Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Третье марта — а ничуть не похолодало к ночи, тот же почти летний воздух, что днём. Над разбросанным Кок-Тереком ревут ишаки, подолгу, страстно, вновь и вновь, сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил.

Не могу спать! Хожу, хожу, хожу под луной. Поют ишаки! Поют верблюды! И всё поёт во мне: свободен! свободен!

Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В двух шагах от нас стоят лошади у своих яслей и всю ночь мирно жуют сено. И кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи.

Жуйте, беззлобные! Жуйте, лошадки!..

На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик-курятник — с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться в рост. Зато — отдельный домик! Пол — земляной, на него — лагерную телогрейку, вот и постель! Керосиновой лампы у меня ещё нет (ничего нет, каждую нужную вещь придётся выбрать и купить, как будто ты на земле впервые), — но я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал души казённый свет, а теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом свободы!

Чего мне ещё хотеть?

Однако утро превосходит все возможные желания! Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Чадова, шёпотом, не осмеливаясь вслух, говорит мне:

— Поди-ка там радио послушай. Что-то мне сказали, повторить боюсь.

Я иду на центральную площадь. Толпа человек в двести, очень много для Кок-Терека, сбилась под пасмурным небом вокруг столба, под громкогово-

рителем. Среди толпы — много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из ондатры и держат в руках. Они очень скорбны. Молодые — равнодушнее. У двух-трёх трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я. Я ещё не разобрал слов диктора (его голос надрывается от драматической игры) — но уже осеняет меня понимание.

Миг, о котором молятся все зэки ГУЛАГа (кроме ортодоксов)! Умер, азиатский диктатор! Скорёжился, злодей! О, какое открытое ликование сейчас там у нас, в Особлаге! А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки, и рыдают навзрыд: «Как же мы теперь будем?..» Родимого потеряли… Крикнуть бы им сейчас через площадь: «Так и будете! Отцов ваших не расстреляют! Женихов не посадят! И сами не будете ЧС!»

Но увы, медлительны реки истории.

И всё же великолепно ознаменовано начало моей ссылки!

Глава 6. Ссыльное благоденствие

Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные «хозрасчётные» заработки литейщика — на воле поддерживался лагерными деньгами! — и всё ходил в районо узнавать: когда ж возьмут меня? Но змееватая заведующая перестала меня принимать, два толстых инспектора всё менее находили времени что-то мне буркнуть, а к исходу месяца была мне показана резолюция облоно, что школы Кок-Терекского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу.

Тем временем я писал, однако, пьесу (о контрразведке 1945 года)[74], не проходя ежедневного утреннего и вечернего обыска и не нуждаясь так часто уничтожать написанное, как прежде. Один раз в день я ходил в «Чайную» и там на два рубля съедал горячей похлёбки — той самой, которую тут же отпускали в ведре и для арестантов местной тюрьмы. А хлеб-черняшку продавали в

[74] Примечания: 74

«Пленники»; на родине пьеса впервые напечатана спустя 37 лет, в 1990 году. — *Примеч. ред.*

магазине свободно. А картошки я уже купил, и даже — ломоть свиного сала. Сам, на ишаке, привёз я саксаула из зарослей, мог и плиту топить. Счастье моё было очень недалеко от полного, и я так задумывал: не берут на работу — не надо, пока деньги тянутся — буду пьесу писать, в кои веки такая свобода!

Вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повёл меня в райпо, в кабинет председателя, как бомба толстого казаха, и сказал со значением:

— Математик.

И что за чудо? Никто не спросил меня, за что я сидел, и не дал заполнять автобиографии и анкеты — тотчас же его секретарша, ссыльная гречанка-девчонка, кинематографически красивая, отстукала одним пальцем на машинке приказ о назначении меня плановиком-экономистом с окладом 450 рублей в месяц. В тот же день и с такой же лёгкостью, без всяких анкетных изучений, были зачислены в райпо ещё двое непристроенных ссыльных, и все трое мы были брошены на аврал: на переоценку товаров.

В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось агонией, и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было: все товары

учесть, переоценить — и с утра уже торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся. А огромная пустыня нашего района имела железнодорожных путей и шоссе — ноль километров, и в глубинных магазинах эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая: сквозной месяц все магазины вообще не торговали, пока в райпо подсчитывались и утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах.

К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек пятнадцать — штатных и привлечённых. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось только щёлканье счётов, на которых опытные бухгалтеры и умножали и делили, да деловое переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу надоело, я запросил арифмометр. В райпо не было ни одного, да никто не умел на нём и работать, но кто-то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую-то машинку с цифрами, только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я стал трещать и быстро усеивать колонки, ведущие бухгалтеры — враждебно на меня коситься: не конкурент ли?

Я же крутил и думал про себя: как быстро зэк наглеет, или, выражаясь литературным языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от пьесы, слагаемой в тёмной конуре; я недоволен, что меня не взяли в школу; недоволен, что меня *насильно* заставили… что же? ковырять мёрзлую землю? месить ногами саманы в ледяной воде? — нет, меня насильно посадили за чистый стол крутить ручку арифмометра и вписывать цифры в столбец. Да если бы в начале моей лагерной отсидки мне предложили бы эту блаженную работу выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно, — я бы ликовал! Но вот мне платят за эту работу 450 рублей, я теперь буду и литр молока брать ежедень, а я нос ворочу?

Так неделю увязало райпо в переоценке — и всё ни один магазин не мог начать торговать.

Но не пришлось мне наладить сельской кооперации в Каз*э*кстане. В райпо внезапно пришёл молодой завуч школы, казах. До меня он был единственный универсант в Кок-Тереке и очень этим гордился. Однако моё появление не вызвало у него зависти. Хотел ли он укрепить школу перед её первым выпуском или поперчить змеистой заврайоно, но предложил мне: «Несите быстро

ваш диплом!» Я сбегал, как мальчик, и принёс. Он положил в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через три дня опять зашёл и положил передо мной выписку из приказа облоно. За той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в апреле назначался и математиком, и физиком — в оба выпускных класса, да за три недели до выпускных экзаменов!

Говорить ли о моём счастье — войти в класс и взять мел? Это и было днём моего освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не замечал.

Когда я был в Экибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный, я озирался на беготню ребятишек в её дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изныл я от беспросветных тюремных лет, от лагерных *общих*! Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок.

Ссыльные дети были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетённого положения. На педсоветах и других балабольных совещаниях о них и им говорилось, что они — дети советские, растут для коммунизма и только временно ограничены в праве передвижения, только и всего. Но они-то, каждый, ощущали свой ошейник — и с самого детства, сколько помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир (по иллюстрированным журналам, по кино) был недоступен для них, и даже мальчикам не предстояло туда попасть (таких в армию не брали). Очень слабая, очень редкая была надежда — получить от комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да ещё быть принятым в институт, да ещё благополучно его окончить. Итак, всё, что они могли узнать о вечном объёмном мире, — только здесь они могли получить, эта школа долгие годы была для них — первое и последнее образование. К тому ж, по скудости жизни в пустыне, свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую молодёжь XX века от Нью-Йорка до Алма-Аты. Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус, учились — как повинность отбывали, чтобы числиться

где-то, пока выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни, это было всё. Учась жадно, они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только в одной настоящей учёбе насыщалось их самолюбие.

Это всё я говорил о «русских» классах кок-терекской школы (собственно русских там почти не было, а — немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов, да украинцев из переселенческих семей начала века, да казахов из семей «ответработников» — они детей своих учили по-русски). Большинство же казахских детей составляли классы «казахские». Это были воистину ещё дикари, в большинстве (кто не испорчен чиновностью семей) — очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном. А почти всё преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества: сперва кое-как тянули на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим, а девушкам-казашкам ставили «удовлетворительно», выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И когда

этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но ртом.

При таком ребячьем восприятии я в Кок-Тереке захлебнулся преподаванием, и три года (а может быть, много бы ещё лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтоб исправить и восполнить недоданное им раньше, я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, — и они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да ещё в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось.

Однако всё светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же, в директорской и в районо размазывалась не только обычная всегосударственная тягомотина, но ещё и пригорченная ссыльностью страны. Среди преподавателей были и до меня немцы и административно-ссыльные. Положение всех нас было угнетённое: не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости и всегда можем этой милости лишиться. Ссыльные учителя пуще других (тоже, впрочем, зависимых) трепетали разгневать высоких районных

начальников недостаточно высокою оценкой их детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью — и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях (и на молодых казахских) лежали повинности и поборы: в каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно в чью пользу; вдруг директор мог объявить, что у его малолетней дочери — день рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок. Ещё всё районное начальство где-нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них понуждались выполнять учителя нашей школы. (Это передавалось по-байски, через завучей, и рабы-учителя даже не удостаивались увидеть *своих* заочников.)

Не знаю, моя ли твёрдость, основанная на «незаменимости», которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха, да обе они помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с секретарями райкома.

* * *

После ссылок, описанных выше, нашу кок-терекскую, как и всю южноказахстанскую и киргизскую, следует признать льготной. Поселяли тут в обжитых посёлках, то есть при воде и на почве не самой бесплодной. В нашем Кок-Тереке было 4 тысячи человек, большинство — ссыльных, но в колхоз входили только казахские кварталы. Всем остальным удавалось или устраиваться при МТС, или кем-то числиться, хоть на ничтожной зарплате.

Ленива была в Кок-Тереке и оперчасть — спасительный частный случай общеказахской лени. Но главная причина их бездействия и мягчеющего режима была — наступление хрущёвской эпохи. Ослабевшими от многочленной передачи толчками и колыханиями докатывалась она и до нас.

Сперва — «ворошиловской» амнистией: именно за подписью Ворошилова посмеялось над нами правительство 27 марта 1953 года. Амнистию дали шпане и бандитам, а Пятьдесят Восьмой — лишь «до пяти лет включительно». Посторонний, по нравам порядочного государства, мог бы подумать, что «до пяти лет» — это три

четверти политических пойдёт домой. На самом деле лишь 1–2 процента из нашего брата имели такой детский срок. (Зато саранчой напустили воров на местных жителей, и лишь нескоро и с натугой пересажала милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон.)

Интересно отозвалась амнистия в нашей ссылке. Как раз тут и находились давно те, кто успел в своё время отбыть детский пятилетний срок, но не был отпущен домой, а бессудно отправлен в ссылку. В Кок-Тереке были такие одинокие бабки и старики с Украины, из Новгородья — самый мирный и несчастный народ. Они очень оживились после амнистии, ждали отправки домой. Но месяца через два пришло привычно жёсткое разъяснение: поскольку ссылка их (дополнительная, бессудная) дана им не пятилетняя, а *вечная*, то вызвавший эту ссылку их прежний пятилетний судебный срок тут ни при чём и под амнистию они не подпадают…

Так никто ничего от амнистии не получил. Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, неширокогласно вкрадывались в ссыльную страну истинные смягчения. Стали в близкие институты отпускать ссыльных детей. Свободен стал проезд по району, свободнее —

поездка в другую область. Всё гуще шли слухи: «домой отпустят, домой!» И верно, вот отпустили туркменов (ссылка за плен). Вот — курдов. Волнение простёгивало, жарко мутило ссыльных: неужели и мы стронемся? Неужели и мы…?

Смешно. Уж не верить так не верить научил меня лагерь! Да мне и верить-то не было особой нужды: там, в большой метрополии, у меня не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье.

Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в Кок-Тереке не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я вёл уроки; уже мало спал и плохо ел. Всё написанное прежде в лагере и держимое в памяти, и ещё ссыльное новое пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. (Эту ночь перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь 1953 года, хорошо помню: на том и казалась оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было.)

Однако — отвалилась болезнь. И начались два года моей действительно Прекрасной Ссылки, только тем томительной, той жертвой омрачённой, что я не смел жениться: не было такой женщины, кому я мог бы доверить своё одино-

чество, своё писание, свои тайники. Но все дни жил я в постоянно блаженном, приподнятом состоянии, никакой несвободы не замечая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, — и постоянное счастье пробирало меня от этих уроков, ни один не утомлял, не был нуден. И каждый день оставался часик для писания. А воскресенья, когда не гнали на колхозную свёклу, я писал насквозь — целые воскресенья! Начал я там и роман[75], и ещё надолго вперёд хватало мне писать. А печатать меня всё равно будут только после смерти.

Домик мой стоял на самом восточном краю посёлка. За калиткою был — арык, и степь, и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи — и лёгкие не могли им надышаться. В сумерки и по ночам, чёрным и лунным, я одиноко расхаживал там и обалдело дышал. Ближе ста метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади.

Я вполне смирился, что буду жить здесь, ну если и не «вечно», то по крайней мере лет двадцать. Я уже никуда как будто и не хотел (хоть и замирало сердце над картой Средней России).

Но тревога радости и надежды подёргивала

---

[75] Примечания: 75

«В круге первом». В 60-х годах роман ходил в Самиздате, впервые напечатан на родине в 1990 году. — *Примеч. ред.*

наш ссыльный покой.

Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу — и совсем меня туда не тянуло.

А московские друзья настаивали: «Что ты придумал там сидеть?.. Требуй пересмотра дела! Теперь пересматривают!»

Зачем?.. Здесь, в моей ссыльной тишине, мне так неоспоримо виделся истинный ход пушкинской жизни: первое счастье — ссылка на юг, второе и высшее — ссылка в Михайловское. И там-то надо было ему жить и жить, никуда не рваться. Какой рок тянул его в Петербург? Какой рок толкал его жениться?..

Однако трудно человеческому сердцу остаться на пути разума. Трудно щепочке не плыть туда, куда льёт вся вода.

Начался XX съезд. О речи Хрущёва мы долго ничего не знали, но и в простой газете довольно было мне слов: «это — первый ленинский съезд»

за сколько-то там лет[76]. Я понял, что враг мой Сталин пал, а я, значит, подымаюсь.

И я — написал заявление о пересмотре.

А тут весною стали ссылку снимать со всей Пятьдесят Восьмой.

И, слабый, покинул я свою прозрачную ссылку. И поехал в мутный мир.

Что чувствует бывший зэк, переезжая с востока на запад Волгу, и потом целый день в гремящем поезде по русским перелескам, — не входит в эту главу.

---

[76] Примечания: 76

XX съезд КПСС проходил 14–25 февраля 1956 года в Москве. В последний день работы, 25 февраля, генеральный секретарь КПСС Н. С. Хрущёв выступил на закрытом заседании (без представителей зарубежных компартий) с докладом «О культе личности и его последствиях». В докладе осуждался *культ личности* И. В. Сталина, приводились факты преступлений (террора, ложных обвинений, пыток, бессудных казней) второй половины 1930-х — начала 1950-х годов, вина за которые возлагалась на Сталина. «Смягчённый» вариант доклада был обнародован в июне 1956 года, полный текст опубликован в СССР лишь в 1989 году. — *Примеч. ред.*

Глава 7. Зэки на воле

В этой книге была глава «Арест». Нужна ли теперь глава — «Освобождение»?

Ведь из тех, над кем когда-то грянул арест (будем говорить только о Пятьдесят Восьмой), вряд ли пятая часть, ещё хорошо, если восьмая, отведала это «освобождение».

И потом — освобождение! — кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой литературе, это столько показано в кино: отворите мне темницу, солнечный день, ликующая толпа, объятия родственников.

Но — проклято «освобождение» под безрадостным небом Архипелага, и только ещё хмурей станет небо над тобою на воле.

Если арест — удар мороза по жидкости, то освобождение — робкое оттаивание между двумя морозами.

Между двумя арестами — вот что такое было освобождение все сорок дохрущёвских лет. Между двумя островами брошенный спасательный круг — побарахтайся от зоны до зоны!..

От звонка до звонка — вот что такое срок. От зоны до зоны — вот что такое *освобождение*.

Твой паспорт изгажен чёрною тушью 39-й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь — нет.

Круг порочный: на работу не принимают без прописки, а не прописывают без работы. А работы нет — и хлебной карточки нет. Не знали бывшие зэки порядка, что МВД обязано их трудоустраивать. Да кто и знал — тот обратиться боялся: не *посадили* бы…

Находишься по воле — наплачешься вдоволе.

В сталинские годы лучшим освобождением было — выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этих на производстве уже знали и брали работать. И энкаведешники, встретясь на улице, смотрели как на проверенного.

Ну, не вполне так. В 1938 Прохоров-Пустовер при освобождении оставался вольнонаёмным инженером Бамлага. Начальник оперчасти Розенблит сказал ему: «Вы освобождены, но помните, что будете ходить по канату. Малейший промах — и вы снова окажетесь зэ-ка. Для этого *даже и суда не потребуется*».

Таких оставшихся при лагере благоразумных зэков, добровольно избравших тюрьму как

разновидность свободы, и сейчас ещё по всем глухоманям, в каких-нибудь Ныробских или Нарымских районах — сотни тысяч. А на Колыме особенного и выбора не было: там ведь народ держали. Освобождаясь, зэк тут же подписывал добровольное обязательство: работать в Дальстрое и дальше (разрешение выехать «на материк» было на Колыме ещё трудней получить, чем освобождение).

Пишут так: «В лагере был один день Ивана Денисовича, а на воле — второй».

* * *

Как одно и то же заболевание протекает у разных людей по-разному, так и освобождение очень по-разному переживается нами.

И — телесно. Одни положили слишком много напряжения для того, чтобы выжить свой лагерный срок. Они перенесли его как стальные: десять лет не потребляя и доли того, что телу надо, гнулись и работали; полуодетые, камень долбили в мороз — и не простуживались. Но вот — срок окончен, отпало внешнее нечеловеческое давление, расслабло и внутреннее напряжение. И таких людей перепад давлений губит. Гигант Чульпенёв, за 7 лет лесоповала не имевший ни

одного насморка, на воле разболелся многими болезнями.

Как давно говорилось: в чёрный день перемогусь, в красный сопьюсь. У кого все зубы выпали за один год. Тот — стариком стал сразу. Тот — едва домой добрался, ослаб, сгорел и умер.

А другие — только с освобождения и воспряли. Только тут-то помолодели и расправились. Вдруг выясняется: да ведь как же *легко* жить на воле! Всё, что кажется вольняшкам неразрешимо мучительным, мы разрешаем, единожды щёлкнув языком. Ведь у нас какая бодрая мерка: «было хуже!»

Но ещё определённее прочерчивает новую судьбу человека тот душевный перелом, который испытан им при освобождении. Этот перелом бывает разный очень.

Выявляются человеческие характеры в лагере — но выявляются ж и при освобождении! Вот как расставалась с Особлагом в 1951 Вера Алексеевна Корнеева, которую мы уже в этой книге встречали: «Закрылись за мной пятиметровые ворота, и я сама себе не поверила, что, выходя на волю, плачу. О чём?.. А такое чувство, будто сердце оторвала от самого дорогого и любимого, от товарищей по несчастью. Закрылись ворота

— и всё кончено. Никогда я этих людей не увижу, не получу от них никакой весточки. *Точно на тот свет ушла…*»

На тот свет!.. Освобождение как вид смерти. Разве мы освободились? — мы умерли для какой-то совсем новой загробной жизни. Немного призрачной. Где осторожно нащупываем предметы, стараясь их опознать.

Однако люди — разны. И многие ощутили переход на волю совсем иначе: ура! свободен! теперь один зарок: больше не попадаться! теперь — нагонять и нагонять упущенное!

Кто нагоняет в должностях, кто в званиях, кто в заработках и сберегательной книжке. Кто — в детях. Кто… Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде. Опять приятнейшим занятием становится — покупать.

И как упрекнуть их, если правда столько упущено? Если вырезано из жизни — столько?

Соответственно двум разным восприятиям *воли* — и два разных отношения к прошлому.

Вот ты пережил страшные годы. Кажется, ты ведь не чёрный убийца, ты не грязный обманщик, — так зачем бы тебе стараться забыть тюрьму и лагерь? Чего тебе стыдиться в них? Не дороже ли считать, что они обогатили тебя? Не

вернее ли ими гордиться?

Но столь же многие (и такие не слабые, такие не глупые, от которых совсем не ждёшь) стараются — забыть! Забыть как можно скорей! Забыть всё начисто! Забыть, как его и не было!

«Забыть, как сон, забыть, забыть видения проклятого лагерного прошлого», — сжимает виски кулаками Настенька Вестеровская, попавшая в тюрьму не как-нибудь, а с огнестрельной раной, убегая. Почему филолог-классик А. Д., по роду занятий своих умственно взвешивающий сцены древней истории, — почему и он велит себе «всё забыть»? Что ж поймёт он тогда во всей человеческой истории?

Евгения Дояренко, рассказывая мне в 1965 году о своей посадке на Лубянку в 1921, ещё до замужества, добавила: «А мужу покойному я про это так и не рассказывала, *забыла*». Забыла?? Самому близкому человеку, с которым жизнь прожила? Так м*а*ло нас ещё сажают!!

А может быть, не надо так строго судить? Может быть, в этом — средняя человечность? Ведь о ком-то же составлены пословицы:

Час в добре пробудешь – всё горе забудешь.

Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво.

Заплывчивое тело! — вот что такое человек!.. Но как это — забывают? Где б научиться?..

«Нет! — пишет М. И. Калинина, — ничто не забывается... в сердце точит и точит что-то, и бесконечная усталость. Я надеюсь, вы не напишете о людях, которые освободились, что они всё забыли и счастливы?»

Тамара Прыткова: «Сидела я двенадцать лет, но с тех пор уже на воле одиннадцать, а *никак не пойму — для чего жит*ь? И где справедливость?»

Какие разные борозды на наших душах от жизни: одиннадцать лет ничего не забыть — и всё забыть на другой день...

Иван Добряк: «Всё осталось позади, да не всё. Реабилитирован, а покою нет. Редкая неделя, чтобы сон прошёл спокойно, а то всё зона снится».

Ансу Бернштейну и через одиннадцать лет снятся только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключённым, никогда — вольным, а нет-нет — и сегодня приснится, что я зэк (и во сне нисколько этому не удивляюсь).

В годовщины своего ареста я устраиваю себе «день зэка»: отрезаю утром 650 граммов хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренно-

го кипятка. А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму: уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску. Возощущения встают во мне живо!

А ещё вывез и храню свои лоскуты-номера. Да только ли я? Как святыню покажут тебе их — в одном доме, и в другом.

В наше время, если получишь письмо совсем без нытья, настоящее оптимистическое, — то только от бывшего зэка. Ко всему на свете привыкшие, ни от чего они не унывают.

Горжусь я принадлежать к могучему этому племени! Мы не были племенем — нас сделали им! Нас так спаяли, как сами мы, в сумерках и разброде воли, где каждый друг друга трусит, никогда не могли бы спаяться. Нам не надо сговариваться поддерживать друг друга. Нам не надо уже испытывать друг друга. Мы встречаемся, смотрим в глаза, два слова — и что ж ещё объяснять? Мы готовы к выручке. У нашего брата везде свои ребята.

Дала нам решётка новую меру вещей и людей. Сняла с наших глаз ту будничную замазку, которой постоянно залеплены глаза ничем не потрясённого человека.

Часть седьмая – СТАЛИНА НЕТ

И не раскаялись они в убийствах своих…

Апокалипсис, 9:21

Глава 1. Как это теперь через плечо

Конечно, мы не теряли надежды, что *будет* о нас рассказано: ведь рано или поздно рассказывается вся правда обо всём, что было в истории. Но рисовалось, что это придёт очень нескоро, — после смерти большинства из нас. И при обстановке совсем изменившейся. Я сам себя считал летописцем Архипелага, всё писал, писал, а тоже мало рассчитывал увидеть при жизни.

Ход истории всегда поражает нас неожиданностью, и самых прозорливых тоже. Не могли мы предвидеть, как это будет: безо всякой зримой вынуждающей причины всё вздрогнет и начнёт сдвигаться, и немного, и совсем ненадолго бездны жизни как будто приопахнутся — и две-три птички правды успеют вылететь прежде, чем снова надолго захлопнутся створки.

Сколько моих предшественников не дописало, не дохранило, не доползло, не докарабкалось! — а мне это счастье выпало: в раствор железных полотен, перед тем как снова им захлопнуться, — просунуть первую горсточку правды.

И как вещество, объятое антивеществом, — она взорвалась тотчас же!

Она взорвалась и повлекла за собой взрыв писем людских — но этого надо было ждать.

Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях[77] и газетчики её наперехлёб хвалят, — решили единодушно: «Опять брехня! спроворились и тут соврать».

Когда же стали читать — вырвался как бы общий слитный стон, стон радости — и стон боли. Потекли письма.

Эти письма я храню.

«Правда восторжествовала, но поздно!» — писали они.

И даже ещё поздней, потому что нисколько не восторжествовала…

Ну да были и трезвые, кто не подписывался в конце писем или сразу, в самый накал газетного хвалебствия, спрашивал: «Удивляюсь, как Волковой дал тебе напечатать эту повесть? Ответь, я волнуюсь, не в БУРе ли ты?..» или: «Как это ещё вас обоих с Твардовским не упрятали?»

А вот так, заел у них капкан, не срабатывал. И что ж пришлось Волковым? — тоже браться за перо! тоже письма писать. Или в газеты опро-

---

[77] Примечания: 77

«Один день Ивана Денисовича» в ноябрьском номере журнала «Новый мир» за 1962 год. — *Примеч. ред.*

вержения.

Из этого второго потока писем мы узнаём и как их зовут-то, как они сами себя называют. Мы всё слово искали, лагерные хозяева да лагерщики, нет — *практические работники*, вот как! вот словцо золотое!

Пишут:

«К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения».

(Ю. Матвеев, Москва)

«Шухов осуждён правильно… А что зэка зэка делать на воле?»

(В. И. Силин, Свердловск)

«А насчёт норм питания не следует забывать, что они не на курорте. Должны искупить вину только честным трудом. Эта повесть оскорбляет солдат, сержантов и офицеров МВД. Народ – творец истории, но как показан этот народ..? – в виде “попок”, “остолопов”, “дураков”».

(старшина Базунов, Оймякон, 55 лет,

состарился на лагерной службе)

«Солженицын так описывает всю работу лагеря, как будто там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как и сейчас, существовали партийные организации и направляли всю работу согласно совести. И почему наши Органы разрешают издеваться над работниками МВД?.. Это нечестно!»

(Анна Филипповна Захарова, Иркутск. обл., в МВД с 1950, в партии с 1956)

Это нечестно! — вот крик души. 45 лет терзали туземцев — и это было честно. А повесть напечатали — это нечестно!

«Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ».

(Аноним, ровесник Октября)

Да короче:

«Повесть Солженицына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и читален».

(А. Кузьмин, Орёл)

Так и сделано постепенно[78].

И наконец — широкий философский взгляд:

«История никогда не нуждалась в прошлом (?), и тем более не нуждается в нём история социалистической культуры».

(А. Кузьмин, Орёл)

История не нуждается в прошлом! — вот до чего договорились Благомыслы. А в чём же она нуждается? — в будущем, что ли?.. И вот они-то пишут историю…

И что можно сейчас возразить всем им, всем им против их слитного невежества? И как им сейчас можно объяснить?

Долгое отсутствие свободного обмена инфор-

---

[78] Примечания: 78

А окончательно — секретным приказом Главного Управления по охране Государственных тайн в печати № 10 ДСП от 14.2.1974 — изъять и истребить «Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и другие опубликованные рассказы (подпись *Романов*).

мацией внутри страны приводит к пропасти непонимания между целыми группами населения, между миллионами — и миллионами.

Мы просто *перестаём быть единым народом*, ибо говорим действительно на разных языках.

Нет, — прах мы есть! Законам праха подчинены. И никакая мера горя не достаточна нам, чтоб навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдём праха — не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных.

Глава 2. Правители меняются, Архипелаг остаётся

Надо думать, Особые лагеря были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство: эта однообразная, пронумерованная, сухочленённая организация, психологически уже изъятая из тела матери-Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы. Трудно даже себе представить ту авторскую боль, которую испытал бы Дальновидный Зодчий, если бы стал свидетелем банкротства ещё и этой своей великой системы. Она уже при нём сотрясалась, давала вспышки, покрывалась трещинами — но, вероятно, докладов о том не было сделано ему из осторожности. Система Особых лагерей, сперва инертная, малоподвижная, неугрожающая, — быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи Корифей ещё год-полтора — и никак не утаить было бы от него этих взры-

вов.

[Автор называет 1955–1956 годы – роковыми годами Архипелага. «Не тогда ли было и распустить его?» Однако между XX и XXII партийными съездами (1956–1961) Хрущёв вновь укрепляет лагеря. В главе даётся слово новым свидетелям Архипелага послехрущёвской эпохи: снова голод, снова Особый режим, полосатый. Писатель рассказывает о своих походах в январе 1964 года в комиссию Верховного Совета и к министру внутренних дел с ходатайствами о современном Архипелаге. Но –]

Не бывает историй бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю Архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации. На этом славном периоде мягкости и разброда накануне нового хрущёвского ожесточения лагерей и накануне нового Уголовного кодекса сочтём нашу историю оконченной. Найдутся другие историки — те, кто, по несчастью, знают лучше нас лагеря хрущёвские и послехрущёвские.

Да они уже нашлись и будут ещё всплывать во множестве, ибо скоро, скоро наступит в России эра гласности!

Глава 3. Закон сегодня

[В главе рассказано о Новочеркасском восстании 1–2 июня 1962 года и расстреле рабочей толпы. О волнениях в Александрове и Муроме. О силовом «диалоге» с Церковью. Указ о «тунеядцах». Рассказано о ненаказуемости лжесвидетелей; о том, что у нас закон имеет обратную силу. Приводится много примеров несправедливости и нарушений закона в 60-х годах.]

Много издано и напечатано Основ, Указов, Законов, противоречивых и согласованных, — но не по ним живёт страна, не по ним арестовывают, не по ним судят, не по ним экспертируют. Лишь в тех немногих (процентов 15?) случаях, когда предмет следствия и судоразбирательства не затрагивает ни интереса государства, ни царствующей идеологии, ни личных интересов или покойной жизни какого-либо должностного лица, — в этих случаях судебные разбиратели могут пользоваться такою льготой: никуда не звонить, ни у кого не получать *указаний*, а судить — по су-

ти, добросовестно. Во всех же остальных случаях, подавляющем числе их, уголовных ли, гражданских — тут разницы нет, — из одного покойного кабинета в другой звонят, звонят неторопливые, негромкие голоса и дружески *советуют*, поправляют, направляют — как надо решить судебное дело маленького человечка, на ком схлестнулись непонятные, неизвестные ему замыслы возвышенных над ним лиц. И маленький доверчивый читатель газет входит в зал суда с колотящейся в груди правотою, с подготовленными разумными аргументами и, волнуясь, выкладывает их перед дремлющими масками судей, не подозревая, что приговор его уже написан, — и нет апелляционных инстанций, и нет сроков и путей исправить зловещее корыстное решение, прожигающее грудь несправедливостью.

А есть — стена. И кирпичи её положены на растворе *лжи*.

Эту главу мы назвали «Закон сегодня». А верно назвать её: «Закона нет».

Всё та же коварная скрытность, всё та же мгла неправоты висит в нашем воздухе, висит в городах пуще дыма городских труб.

Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи — есть,

а закона — нет.

Послесловие

Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю.

Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, — не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в моё распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он.

А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио («откликнитесь!»), своя открытая переписка — так, как было с Брестской крепостью.

Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать всё в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами.

Уж я начинал эту книгу, я и бросал её. Никак я не мог понять: нужно или нет, чтоб я один такую написал? И насколько я это выдюжу? Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне

ещё многие арестантские письма со всей страны, — понял я, что раз дано это всё мне, значит, я и должен.

Надо объяснить: *ни одного разу* вся эта книга, вместе все Части её не лежали на одном столе! В самый разгар работы над «Архипелагом», в сентябре 1965 года, меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные Части «Архипелага» и материалы для других Частей разлетелись в разные стороны и больше не собирались вместе: я боялся рисковать, да ещё при всех собственных именах. Я всё выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность — верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и примите книгу.

Не потому я прекратил работу, что счёл книгу оконченной, а потому, что не осталось больше на неё жизни.

Не только прошу я о снисхождении, но крикнуть хочу: как наступит пора, возможность — соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой ещё комментарий: что надо — исправьте, где надо — добавьте (только не громоздко, сходного не надо повторять). Вот тогда

книга и станет окончательной, помоги вам Бог.

Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности, несколько раз уж думал: не дадут.

Я кончаю её в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилеи-то связанные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки (1867).

Второй-то юбилей небось пропустят…

Апрель 1958 — февраль 1967
Рязань — Укрывище

Некоторые тюремно-лагерные термины

БЛАТНОЙ, БЛАТАРЬ, БЛАТНЯК, УРКА — вор, уголовник, ведущий жизнь по воровскому кодексу

БУР — барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма

БЫТОВИК — осуждённый по уголовной статье, но не принадлежащий к уголовному миру

ВАГОНКА — плотницкое устройство для спанья четырёх в два этажа

С ВЕЩАМИ — тюремная команда, означающая, что арестант полностью уходит из этой камеры

ВКАЛЫВАТЬ, ГОРБИТЬ — работать невпритвор, бессмысленно растрачиваться в казённой работе

ВОХРА (ОХРА), ВОХРОВЦЫ — лагерная полувоенизированная охрана

ПОД ВЫШКОЙ — в ожидании казни («вышка» — «высшая мера», смертный приговор)

ГАРАНТИЙКА — хлебная пайка, гарантированная при отсутствии работы (на пересылках, в этапах, карантинах, иногда в лагерях), обычно от 450 до 650 граммов; обмысливая трудное слово,

называли и «карантинкой»

ГУМОЗНИЦА — ругательная кличка лагерницы-доходячки

ДОПР — дом принудительных работ, один из типов раннесоветских тюрем

ДОХОДИТЬ (ДОХОДЯГА) — слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питания и тяжёлой работы

ДАТЬ (ВРЕЗАТЬ) ДУБАР*Я* (ДУБА) — умереть

ЗАБЛАТНИТЬСЯ — заделаться блатным

ЗАКОСИТЬ — присвоить хитрым способом, утаить от контроля и учёта (порцию еды, предмет одежды, не отработать рабочего дня)

ЗАНАЧКА — место упрятки и само действие упрятанья

ЗАЧЁТЫ — система (бывавшая в лагере лишь иногда), при которой проработанный день засчитывается больше чем за день срока

ИТК — исправительно-трудовая колония

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

КАНТОВАТЬСЯ — жить «день до вечера»; отбывая срок, стараться не работать

КАТУШКА — полный срок (высший по данной статье или наиболее распространённый в данный период ГУЛАГа)

КАЭРЫ — «контрреволюционеры», в 20-е годы

административное название всех политических, кроме социалистов

КВЧ — культурно-воспитательная часть, отдел лагерной администрации

КОМИССОВКА — периодическая (квартальная, полугодовая) лагерная процедура, когда медицинская комиссия фиксирует степень годности каждого зэка к физическому труду (устанавливая, как правило, завышенную, непосильную)

КОНДЕЙ — см. **ШИЗО**

КОРМУШКА — прорезь в камерной двери с отпадающим как столик заслоном

КОСТЫЛЬ — (*блатн.*) пайка (особенно тюремная, маленькая), то последнее, что ещё поддерживает гибнущую жизнь

КПЗ — камеры предварительного заключения, где проходят следствие, — мелкая местная тюрьма, при многих ж/д станциях, в портах, в малых населённых пунктах

КУМ — оперуполномоченный; чекист, следящий за настроением и намерениями заключённых, ведающий осведомительством и лагерными следственными делами

КУР*О*ЧИТЬ — (*блатн.*) отнимать еду, одежду, вещи, особенно — полученные в посылке; отбирать ценное

ЛИШЕНЦЫ — лишённые избирательных прав — форма административного утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы

МАЛИНА — (*блатн.*) воровской притон

МАНТУЛИТЬ — (*блатн.*) см. **ВКАЛЫВАТЬ**

НАМОРДНИК — 1) тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна; 2) лишение гражданских прав после отбытия тюремно-лагерного срока

НАСЕДКА — осведомитель, подсаженный в тюремную камеру

ОБЩИЕ — основные работы по профилю данного лагеря, где работает большинство зэков и условия наиболее тяжелы

ОПЕРЧЕК — следователь Оперчекистской части лагерного Управления

ОТРИЦАЛОВКА — зэки (большей частью блатные), отказывающиеся выполнять требования лагерной администрации

ПАРАША — 1) тюремный камерный сосуд для нечистот; 2) всякая посуда сомнительной чистоты; 3) лагерный слух

ПАХАНЫ — вожди блатных, разных степеней

НА ПОДСОСЕ — (*блатн.*) на последних запасах еды (или курева), ища, где разжиться

ПОЛУЦВЕТ, ПОЛУЦВЕТНЫЕ, ЖУКОВАТЫЕ

— приблатнённые, кто тянется в блатные, перенимает их закон

ПОМПОБЫТ — «помощник по быту», лагерная комендантская должность, придурок в помощь надзору

С ПОНТОМ, ДЛЯ ПОНТА — как если бы; для показа; делая важный вид

ПРИДУРОК — заключённый, устроившийся так, чтобы не работать руками (более лёгкая, привилегированная работа)

СВИСТЕТЬ — рассказывать небылицы

СЕЛЬХОЗ — сельскохозяйственная лагерная точка, командировка

С*И*ДОР — мешок (особенно — с продуктами)

СОСАЛОВКА — доходиловка, безнадёжно голодный лагерь

ССУЧИТЬСЯ — (*блатн.*) стать «сукой»

СУКИ — (*блатн.*) блатные, отступившие от воровского закона, сотрудничающие с лагерным начальством

ТЕМНИТЬ (ТЕМНИЛОВКА) — делать вид, притворяться, особенно — изображать рабочее состояние

Т*И*СКАТЬ Р*О*МАН — (*блатн.*) рассказывать в камере авантюрно-любовную историю

ТРУДДОМ — труддома для несовершеннолет-

них преступников существовали с 1921 по 1930 год; подростков содержали до истечения судебного срока или «до исправления», но не дольше достижения ими 20 лет; попытка организовать профессиональное обучение в труддомах потерпела неудачу, и они были перестроены в трудколонии различного типа

ТУХТА — чего на самом деле нет, особенно — выдуманный объём работ

УИТЛК — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (обычно — на уровне области)

УК — Уголовный кодекс

УРКА — см. **БЛАТНОЙ**

УРЧ — учётно-распределительная часть, отдел лагерной администрации

ФИЛОНИТЬ (ФИЛОН) — см. **КАНТОВАТЬСЯ**

ФИТИЛЬ — доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах (уже не держится прямо, отсюда сравнение)

ФРАЕР — (*блатн.*) всякий, не принадлежащий к блатному миру

НА ЦЫРЛАХ — одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием

ЧЕРНУХУ РАСКИДЫВАТЬ — то же, что «темнить», особенно — ложь в рассказе

ШЕСТЁРКА — кого держат для мелких услуг

ШИЗО — штрафной изолятор, лагерный карцер

ШМОН — обыск

Некоторые советские сокращения и выражения

БАНДЕРОВЦЫ — боевики Украинской Повстанческой Армии (УПА), вооружённого крыла Организации Украинских Националистов (ОУН); УПА действовала на территории Западной Украины в 1943–1953; вождь ОУН — Степан Бандера (1909–1959)

БОЛЬШОЙ ДОМ — неофициальное название здания в Ленинграде (Литейный проспект, 4), где размещались органы ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ и ныне находится Управление ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области

БРОНЬ — освобождение от воинской службы по роду деятельности или занимаемой должности в тылу (выражение времён 1941–1945)

БУТЫРКИ — старейшая и самая большая тюрьма Москвы (Новослободская, 45); в дореволюционной России — центральная пересыльная тюрьма

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (название партии с 1925 по 1952)

ВУЗ — высшее учебное заведение

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет — высший по **РСФСР** (см.) исполнительный орган иерархии Советов; в 1938 переназван в Верховный Совет РСФСР

ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (1917–1922)

ВЫХОДНОЙ — день, свободный от работы; советское просторечие, появившееся в начале 30-х годов, после отмены празднования воскресений

ГЛАВК — главное управление; подразделение народного комиссариата или, позже, министерства

ГЛАВКОВЕРХ — сокращённое наименование должности Верховного главнокомандующего вооружёнными силами

ГПУ — Главное политическое управление при НКВД РСФСР (1922–1923; ранее — ВЧК; с 1923 по 1934 — ОГПУ (Объединённое ГПУ) при СНК РСФСР

ГУЛАГ — Главное Управление ЛАГерей ОГПУ — одно из пяти главных управлений НКВД (затем МВД) СССР (1934–1960)

К ДУХОНИНУ — расстрелять, убить; выражение раннесоветских лет; генерал Н. Н. Духонин возглавлял Верховное Главнокомандование рус-

ской армии в момент октябрьского переворота; растерзан отрядом Крыленко на могилёвском вокзале 20 ноября 1917; одна из первых жертв большевицкого террора

ЗАЁМ — государственный ежегодный, всему населению СССР ненавистный заём, по внешности добровольный, но обязательный, отнимающий примерно 10 % годового заработка; подписка на заём производилась ежегодно в мае

КАВТОРАНГ — капитан 2-го ранга, воинское звание в военноморских силах, соответствующее званию подполковника в сухопутных войсках и авиации

КОМБЕДЫ — комитеты бедноты, созданные летом 1918 большевицким правительством для противодействия сельсоветам, где большевики были в меньшинстве; осуществляли учёт и распределение хлеба и продуктов первой необходимости, помогали продотрядам в изъятии «хлебных излишков»; в конце 1918 — в 1919 были слиты с местными Советами, как только ими овладели большевики; были восстановлены в период принудительной коллективизации деревни

КОМБРИГ — командир бригады, воинское звание высшего командного состава в сухопутных

войсках и военно-воздушных силах Красной армии в 1935–1940 годах

КОМИНТЕРН — Коммунистический Интернационал (1919–1943), организация, объединявшая компартии разных стран, созданная по инициативе Ленина, с управляющим центром в Москве; от 2-х до 3-х тысяч иностранных коммунистов учились в Москве в четырёх «комвузах»: Ленинская школа — для будущих руководителей компартий; Коммунистический университет со многими национальными секциями стран Запада; третий университет — для студентов с Ближнего Востока; четвёртый — для китайцев. За пределами СССР Сталин использовал Коминтерн в пропагандистских и разведывательных целях. В 30-е годы три четверти живших в СССР иностранных коммунистов стали жертвами «большого террора»

КОСМОПОЛИТ — «гражданин мира», считающий весь мир своим отечеством. Это понятие было использовано в 1949—53 в СССР для широкой кампании против «безродных космополитов», целью которой было вытеснение евреев из всех сфер культурной и интеллектуальной деятельности

КПСС — Коммунистическая партия Советского

Союза (с 1952 по 1991, прежнее название ВКП/б/)

КРЕСТЫ — разговорное название Петербургской одиночной тюрьмы (Арсенальная наб., 5–7/ул. Комсомола, 8). В двух пятиэтажных корпусах (крестообразных в плане, отсюда название) 960 камер, рассчитанных на 1150 человек

КУБАРИ, КУБИКИ — разговорное наименование знаков отличия среднего командного состава Красной армии до 1942

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ — выражение «культ», «культ личности» (в значении «культ личности Сталина») получило широкое употребление после доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде компартии (1956) — «О культе личности и его последствиях»

ЛУБЯНКА — собирательное обозначение органов государственной безопасности в разговорной речи и неофициальной публицистике (происходит от названия московской улицы Большая Лубянка; в доме № 2 по этой улице с 1919 года и по настоящее время располагается штаб-квартира органов госбезопасности); разговорное название Внутренней тюрьмы КГБ, находившейся внутри главного здания

ЛЮМПЕН — человек, утративший связь со своей социальной средой, бродяга, нищий, уголовник (*нем.* Lumpen — «лохмотья»)

МТС — машинно-тракторная станция (с 1928 по 1958); государственная производственная единица, владеющая и оперирующая сельскохозяйственными машинами, контролёры и грабители колхозов, забирали произвольную «натурплату» — по сути вторые госпоставки

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел РСФСР (с 1917 по 1930), СССР (с 1934 по 1946); в 1946 переименован в Министерство внутренних дел (МВД)

НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности (в 1941 выделен из НКВД СССР); в 1946 переименован в Министерство госбезопасности (МГБ)

НКЮ — Народный комиссариат юстиции (с 1946 министерство).

ОБЛОНо — областной отдел народного образования

1 ДЕКАБРЯ 1934 — убийство Кирова; начало новой лавины арестов и высылок

1 МАЯ, 7 НОЯБРЯ — главнейшие в году советские коммунистические праздники, отмечавшиеся насильственной уличной демонстрацией (прогоном в колоннах) населения

ПОЛИТОТДЕЛ МТС — в некоторые периоды — при каждой МТС дополнительный партийный

орган, жёстко направлявший всю жизнь сельской округи, главный орган террора на селе — с правом вызова войск, арестов, введения военного положения, депортации целых сёл

РАБКРИНОВЕЦ — служащий системы РКИ

РАБФАК — рабочий факультет; учебное заведение, ускоренно (и часто низкокачественно) готовящее лиц «пролетарского» социального положения в высшее учебное заведение

РАЙЗО — районный земельный отдел (подразделение районной советской власти)

РАЙИСПОЛКОМ — районный исполнительный комитет советов, районная советская власть

РАЙОНО — районный отдел народного образования

РАЙПО — районное потребительское общество, районное звено потребительской кооперации

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ — рационализаторское предложение, какое-нибудь производственное усовершенствование (иногда кажущееся), вносимое участниками производства

РКИ — Рабоче-Крестьянская Инспекция (с 1920 по 1934); позже заменена Комиссией Советского Контроля, потом министерством, потом комитетом Государственного Контроля

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия

(термин 1918–1943), в ходе советско-германской войны перестала называться Красной, но — Советской (без официального переименования)

РКП(б) — Российская коммунистическая партия большевиков — название партии большевиков в раннесоветские годы (1918–1925)

РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия (1898–1917); некоммунистическая часть социал-демократов сохранила это название на российской территории до 1921, в эмиграции — до 60-х годов

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, формальное название России в составе СССР с 1923 (а до этого — общее название коммунистического государства)

СКВО — Северо-Кавказский военный округ

СМЕРШ — военная контрразведка (сокращённое «смерть шпионам!»); создана в апреле 1943, в феврале 1946 передана в министерство госбезопасности

СНК — Совет Народных Комиссаров (совнарком), большевицкое правительство от момента взятия власти в октябре 1917 до марта 1946, когда переименовано в Совет Министров

СПЕЦХРАН — отдел специального хранения

крупных библиотек, где содержатся материалы, запрещённые населению; пользование по пропускам

СТО — Совет Труда и Обороны, при Ленине — верховное учреждение большевиков, затем превратился в межведомственную комиссию (до 1937)

ТАСС — официальное телеграфное агентство Советского Союза

ТРУДОДЕНЬ — мера затрат количественного и качественного труда колхозника, бытовала с 1930 по 1966, служила основой при определении доли колхозника в общем доходе

ФЗО — школы фабрично-заводского обучения, созданы указом 2 октября 1940 «О государственных трудовых резервах»; по указу устанавливалась мобилизация до 1 миллиона человек в год молодёжи от 14 до 17 лет (от каждых 100 колхозников 2 человека) для обучения в ремесленных училищах и затем обязательной работы на государственных предприятиях; за побег из такого училища (с плохими условиями еды и жизни) давался срок 6 месяцев лагеря; к 1958 году систему ФЗО прошли 10 млн молодых людей

ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества с 1920 по 1959 (когда заменены на проф-

техучилища); условия — значительно лучше, свободней, чем в ФЗО; пополнялись большей частью добровольным поступлением

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет — формально высший в СССР орган советской иерархии, на самом деле декоративное учреждение, не используемое для серьёзных решений; с 1937 года переименовано в Верховный Совет СССР

ЦК — Центральный Комитет (подразумевается — коммунистической партии); высший партийный орган, обладающий в СССР безраздельной и всесторонней властью

Некоторые значимые имена

АБАКУМОВ Виктор Семёнович (1908–1954, расстрелян) — с 1932 в органах ОГПУ — НКВД, нач. контрразведки СМЕРШ (1943—46), министр госбезопасности СССР (1946—51), арестован в 1951, в конце 1954 приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере.

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874–1948) — философ, один из авторов сборника «Вехи» (1909), наряду с С. Н. Булгаковым принадлежал к движению, положившему начало религиозно-философскому возрождению в России начала XX века, в 1922 выслан из Советской России на «философском пароходе», жил во Франции; печатное наследие велико, среди книг — «Смысл истории», «Миросозерцание Достоевского», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская идея», «Самопознание».

БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899–1953, расстрелян) — глава компартии Грузинской ССР (1931—38), нарком (министр) внутренних дел СССР (1938—45, 1953), зам. председателя Совнаркома и Совмина СССР (1941—53), куратор «атомного

проекта СССР», арестован в 1953, приговорён к высшей мере спецприсутствием Верховного суда СССР.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (о. Сергий, 1871–1944) — философ, богослов, священник (с 1918), в 1917—18 активно участвует в работе Всероссийского Поместного Собора Православной церкви, в 1922 арестован и выслан из Советской России; жил в Праге, с 1925 в Париже, где при его ближайшем участии создаётся Православный Богословский Институт, ректором которого о. Сергий был бессменно до самой кончины; из его работ — «Героизм и подвижничество», «Свет невечерний», «На пиру богов», «Расизм и христианство», «Русская трагедия».

ВАВИЛОВ Николай Иванович (1887–1943, умер в Саратовской тюрьме) — учёный-генетик, селекционер, академик АН СССР, президент и вице-президент (1929—40) ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина), основатель и бессменный директор Всесоюзного института растениеводства (1930—40), директор Института генетики АН СССР (1930—40). Организатор и участник ботанико-агрономических экспедиций, охвативших большинство континентов, создал учение о мировых центрах

происхождения культурных растений; обосновал учение об иммунитете растений; под его руководством была создана крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений. Арестован в 1940, в 1941 на основании сфабрикованных обвинений приговорён к расстрелу, заменённому 20-летним сроком заключения, через два года умер в тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1955.

ВЕНИАМИН (Казанский Василий Павлович; 1873–1922, расстрелян) — митрополит Петроградский и Гдовский, арестован в 1922 в связи с волнениями при изъятии церковных ценностей, на Петроградском церковном процессе приговорён к высшей мере; священномученик, канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1992.

БУХАРИН Николай Иванович (1888–1938, расстрелян) — теоретик партии, экономист, член Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1924—29, активный сторонник «новой экономической политики» (НЭП), в 1928 выступил против усиленной коллективизации, за что был обвинён в «правом уклоне» (вместе с Рыковым и Томским), с 1934 по 1937 главный редактор газеты «Известия». Арестован в 1937, в 1938 на процессе

«Антисоветского правотроцкистского блока» приговорён к высшей мере.

ГЕРШУНИ Владимир Львович (1930–1994) — племянник Г. А. Гершуни, детдомовец, студент, правозащитник, провёл в советском ГУЛАГе 16 лет (1949—55, 1969—74, 1982—87).

ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (1870–1908) — один из основателей и лидеров партии эсеров и её Боевой Организации (БО), руководил террористическими актами (в 1902 убийство министра внутренних дел Д. С. Сипягина; ранение харьковского губернатора кн. И. М. Оболенского; убийство уфимского губернатора Н. М. Богдановича), в 1903 арестован, приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным заключением, в 1906 бежал из тюрьмы; эмигрант.

ГИНЗБУРГ Евгения Семёновна (1904–1977) — преподаватель истории ВКП(б), зав. отделом культуры газеты «Красная Татария», заключённая и ссыльная (1937—56, Колыма, Магадан), автор мемуаров «Крутой маршрут»; мать писателя В. П. Аксёнова.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877–1926) — основатель и председатель ВЧК — ГПУ — ОГПУ с 1917 по 1926, один из организаторов Красного террора, нарком внутренних дел

(1919—23), нарком путей сообщения (1923—24), председатель комиссии по борьбе с беспризорностью.

ЕЖОВ Николай Иванович (1895–1940, расстрелян) — нарком внутренних дел СССР (1936—38), генеральный комиссар госбезопасности (преемник Г. Г. Ягоды), при нём массовые аресты, высылки, пыточные следствия достигли пика, это время названо «ежовщиной». Арестован в 1939, в 1940 Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к высшей мере.

ЗАМЯТИН Евгений Иванович (1884–1937) — писатель, инженер, участник писательского объединения «Серапионовы братья» (1921), автор повестей «Уездное», «На куличках», романа «Мы»; с 1932 эмигрант, жил и умер во Франции.

ЗАОЗЕРСКИЙ Александр Николаевич (свящ., 1879–1922, расстрелян) — настоятель храма Параскевы Пятницы в Охотном ряду, арестован в 1922 по делу «об изъятии церковных ценностей», на Московском церковном процессе приговорён к высшей мере; в 2000 причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (1883–1936, расстрелян) — председатель Петросовета (1917—26), председатель Исполкома Коминтерна (1919—26),

с 1925 во внутрипартийной оппозиции, после объединения с Троцким неоднократно подвергался высылке и арестам (1927–1933), в 1934 арестован последний раз, в 1936 на процессе «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» приговорён к высшей мере.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК Разумник Васильевич (1878–1946) — литературовед, историк литературы, писатель, социолог; заключённый и ссыльный с 1919 неоднократно, с 1941 в оккупации, в немецком лагере до 1943, эмигрант, автор мемуаров «Тюрьмы и ссылки».

ИЛЬИН Иван Александрович (1882–1954) — философ, правовед; в 1922 выслан из Советской России на «философском пароходе», с 1923 по 1934 профессор Русского научного института в Берлине, в 1934 уволен, с 1938 — в Швейцарии, где и умер; в 2005 его прах перезахоронен в Донском монастыре в Москве; в 2006 огромный архив Ильина передан в Библиотеку МГУ. Из наиболее известных книг: «О сопротивлении злу силою», «Наши задачи», «Аксиомы религиозного опыта».

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (1893–1991) — с 1922 в аппарате ЦК РКП(б), с 1924 член ЦК, с 1930 по 1957 член Политбюро ЦК ВКП(б) — КПСС, один из главных организаторов коллективизации,

причастен к массовым репрессиям, показательным процессам, депортациям и чисткам; в разные годы с 1935 — нарком путей сообщения, тяжёлой, топливной, нефтяной промышленности; в 1961 исключён из КПСС.

КАМЕНЕВ Лев Борисович (1883–1936, расстрелян) — с 1919 член Политбюро ЦК РКП(б), с 1918 по 1926 — председатель Моссовета, с 1925 во внутрипартийной оппозиции; арестован в 1934, в 1936 подсудимый на процессе «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра», приговорён к высшей мере.

КАНАТЧИКОВ Семён Иванович (1879–1940) — из крестьянской семьи, с 16 лет рабочий московских заводов, с 19 — член РСДРП. С 1921 ректор Коммунистического университета в Петрограде, председатель Петропомгола, в 1924 — заведующий отделом печати ЦК РКП(б). С 1928 — редактор журнала «Красная новь», ответственный редактор «Литературной газеты». В 1936 арестован, погиб в заключении.

КИРОВ Сергей Миронович (1886–1934) — с 1923 член ЦК РКП(б), с 1926 — 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б). В его ведении строительство на Кольском полуострове для добычи апатитов, Беломорско-

Балтийский канал и Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ. Убит в Смольном 1 декабря 1934. Смерть Кирова стала поводом к началу массовых арестов и высылок и к политическим процессам 30-х годов.

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (1923–1941, повешена немцами) — партизанка.

КРАСИКОВ Пётр Ананьевич (1870–1939) — главный обвинитель на Петроградском церковном процессе 1922, прокурор Верховного Суда СССР с 1924, зам. председателя Верховного Суда СССР с 1933, активист антирелигиозных кампаний, один из организаторов «Союза безбожников».

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938, расстрелян) — первый большевистский Верховный главнокомандующий (1917), с 1918 занимает руководящие советские должности: председатель Верховного трибунала, прокурор РСФСР, государственный обвинитель на политических процессах: эсеров, Шахтинском, «Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков», с 1931 нарком юстиции РСФСР, с 1936 нарком юстиции СССР. Арестован в 1938, осуждён за «шпионаж», приговорён к высшей мере.

ЛАЦИС Мартын Иванович (1888–1938, расстрелян) — член Коллегии ВЧК в 1918, предсе-

датель Всеукраинской ЧК (1919—21), с 1922 на хозяйственной работе, в 1935–1937 — директор Института народного хозяйства им. Плеханова; арестован в 1937, приговорён к высшей мере.

МЕКК фон Николай Карлович (1863–1929, расстрелян) — инженер-путеец, один из учредителей первого в России клуба автомобилистов, после революции — консультант Народного комиссариата путей сообщения. В 1919–1921 его неоднократно арестовывали по подозрению в «контрреволюционности», но освобождали. В 1929 был арестован в последний раз, приговорён к высшей мере.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — поэт, прозаик, критик, религиозный мыслитель, яркий представитель Серебряного века, один из основателей русского символизма, автор трилогий «Христос и Антихрист», «Царство зверя», книг «Грядущий хам», «Толстой и Достоевский»; с 1920, вместе с женой Зинаидой Гиппиус, в эмиграции.

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович (1890–1986) — член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1926—52; глава правительства СССР (председатель СНК) с 1930 по 1941; нарком, затем министр иностранных дел СССР (1939–1949, 1953–1956), его подпись стоит под

пактом о ненападении с Германией (1939, пакт Молотова — Риббентропа), участвовал во всех конференциях (Тегеран, Ялта, Потсдам), определивших послевоенный мировой порядок; в 1961 исключён из КПСС.

МОРОЗОВ Павлик (Павел Трофимович; 1918–1932, убит) — школьник в селе Герасимовка Свердловской области, «пионер-герой», прославленный советской пропагандой как участник борьбы с кулаками: из преданности идее коллективизации донёс на своего отца, доносил на односельчан — и был найден зарезанным в лесу. Убийство широко освещалось как эпизод «кулацкого террора», четверо подозреваемых родственников подростка были приговорены к смертной казни. Именем Павлика Морозова в СССР были названы колхозы, школы, пионерские дружины, улицы, установлены памятники. В конце 1980-х годов появились публикации, ставящие под сомнение многие элементы этого канонического мифа.

ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константинович (1886–1937, покончил с собой) — член Политбюро ЦК ВКП(б), нарком тяжёлой промышленности с 1932 по 1937, не одобрял кампанию поисков «массового вредительства» и уничтожение «ста-

рых большевиков». В 1937 застрелился (по другой версии был застрелен).

ПИЛЬНЯК Борис Андреевич (1894–1938, расстрелян) — писатель, в 1918 выходит его первая книга «С последним пароходом», затем «Голый год» (1922), «Повесть непогашенной луны» с намёком на причастность Сталина к гибели наркома обороны М. Фрунзе (1926), «Красное дерево» (1929), неоднократно подвергался травле в советской прессе, в 1937 арестован, обвинён в государственном преступлении и в 1938 приговорён к высшей мере.

ПЯТАКОВ Юрий (Георгий) Леонидович (1890–1937, расстрелян) — революционер, в 1918—19 глава Временного правительства Украины, в 1922 председатель Верховного трибунала, после Гражданской войны на хозяйственной работе: управлял угольной промышленностью Донбасса, был комиссаром Народного банка РСФСР, зам. председателя Госплана, Председателем Госбанка СССР, с 1934 по 1936 зам. наркома тяжёлой промышленности, в 1936 арестован, на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» приговорён к высшей мере.

РАДЕК Карл Бернгардович (1885–1939, убит в тюрьме) — в начале XX века польский социал-де-

мократ, в Первую мировую войну сблизился с Лениным, с 1917 зав. отделом внешних сношений ВЦИК, участвует в переговорах в Брест-Литовске; с 1923 — активный сторонник Троцкого, в 1927 исключён из компартии и сослан в Красноярск, в 1930 восстановлен, в 1936 арестован, в 1937 на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» приговорён к 10 годам тюрьмы, в 1939 убит в камере по прямому распоряжению Л. П. Берии.

РОМАНОВ Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) — писатель, рассказ «Без черёмухи» (1926) сделал его всероссийской знаменитостью, но вызвал резкую критику в печати; с 1922 до последних лет писал роман-эпопею «Русь».

РЫКОВ Алексей Иванович (1881–1938, расстрелян) — член Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1922—29, глава правительства (председатель Совета Народных Комиссаров СССР, 1924—30), нарком почт и телеграфа (1931—36), арестован в 1937, в 1938 на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока» приговорён к высшей мере.

СЛИОЗБЕРГ (Адамова-Слиозберг) Ольга Львовна (1902–1991) — экономист, впервые арестована в 1936, осуждена на 8 лет заключения, отбывала

на Соловках, затем на Колыме; в 1949 арестована повторно, сослана в Караганду, ссылка снята с неё в 1954; автор мемуаров «Путь».

САВИНКОВ Борис Викторович (1879–1925, погиб в тюрьме) — эсер, руководитель Боевой Организации (БО) партии эсеров (1903—11), организатор громких террористических актов (убийство министра внутренних дел В. К. Плеве, 1904; в. кн. Сергея Александровича, 1905; и др.), писатель (литературный псевдоним В. Ропшин), после Февральской революции входил в правительство А. Ф. Керенского, Октябрьскую революцию расценил как «захват власти горстью людей», участвовал в формировании Добровольческой армии, вплоть до 1923 активно боролся против советской власти, в 1924 нелегально вернулся в СССР, был сразу арестован, в 1925 приговорён к расстрелу, заменённому на 10 лет тюрьмы; в мае 1925 в тюрьме, по официальной версии, покончил с собой, по неофициальной — был убит.

СОКОЛЬНИКОВ Григорий Яковлевич (1888–1939, убит в тюрьме) — революционер, нарком финансов СССР в 1923—26, зам. председателя Госплана СССР в 1926—28, выступал против курса Сталина на коллективизацию, посол СССР в Великобритании (1929—32), арестован в 1936, в 1937

на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» приговорён к 10 годам тюрьмы, в 1939 убит в камере по прямому распоряжению Л. П. Берии.

СПИРИДОНОВА Мария Александровна (1884–1941, расстреляна в Орле перед сдачей города немцам) — одна из лидеров партии левых эсеров, в 1906 застрелила усмирителя крестьянских волнений в Тамбовской губернии Г. Н. Луженовского, приговорена к смертной казни через повешение, заменённой бессрочной каторгой, в 1917 освобождена и активно включилась в работу своей партии, в 1918 арестована большевиками, с тех пор её неоднократно ссылали и арестовывали, в 1937 приговорена к 25 годам тюрьмы, а в 1941 — к высшей мере.

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Николай Владимирович (1900–1981) — биолог, генетик, работал в Институте мозга в Германии (1925—45), арестован в 1945, привезен на Лубянку, приговорён к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание в Карлаге, на спецобъекте Сунгуль, на Южном Урале с 1945 по 1955 заведовал биофизическим отделом секретного объекта 0211, с 1955 по 1964 — зав. отделом биофизики в Академическом Ин-те биологии в Свердловске, с 1964 по 1969 — в Ин-те

медицинской радиологии в Обнинске; лауреат иностранных премий и член многих зарубежных академий и научных обществ.

ТИХОН (Белавин Василий Иванович; 1865–1925) — Патриарх Московский и всея Руси (избран в 1917, когда в России, после двухвекового перерыва, было восстановлено патриаршество). С 1898 по 1907 был епископом Алеутским и Северо-Американским, с 1907 по 1917 — Ярославским и Виленским; в конце 1917 — начале 1918 многочисленные убийства и истязания священников побудили Патриарха Тихона издать Воззвание: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы» (январь 1918) и Обращение к Совету Народных Комиссаров (октябрь 1918); после издания декрета советского правительства об «изъятии церковных ценностей» и связанных с ним волнений — Патриарха неоднократно содержали то в тюрьме, то под домашним арестом (1922—23). Святейший Патриарх скончался 25 марта 1925 и был погребён в Донском монастыре. В 1989 причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

ТОЛСТАЯ Александра Львовна (1884–1979) — дочь Л. Н. Толстого, хранительница музея-усадьбы «Ясная Поляна», во время Первой мировой

войны сестра милосердия, подсудимая по делу «Тактического центра», заключённая в Новоспасском монастыре (1920—21), с 1931 в эмиграции, в 1939 в США организовала и возглавила Толстовский Фонд помощи русским беженцам, с отделениями во многих странах Европы и Южной Америки.

ТОМСКИЙ Михаил Павлович (1880–1936, покончил с собой) — член Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1922—30, председатель Всесоюзных профсоюзов в 1922—29, выступал против чрезвычайных мер при коллективизации, за что был обвинён Сталиным в «правом уклонизме», заведующий Объединённым государственным издательством (ОГИЗ, 1932—36), в 1936 в обстановке массовых репрессий застрелился.

ТРЕПОВ Фёдор Фёдорович (1809–1889) — обер-полицмейстер (1866—78), первый градоначальник Петербурга (1873—78), при нём учреждена речная полиция, увеличено жалованье полицейским, учреждены ночлежные дома для нищих и бездомных, швейные мастерские для бедных женщин, народные чтения в Соляном городке («Треповский университет»); привлекал полицию для борьбы со студенческими волнениями; после оправдания судом присяжных стрелявшей

в него Веры Засулич вышел в отставку.

ТРОЦКИЙ Лев Давидович (1879–1940) — деятель международного коммунистического движения, организатор Октябрьского переворота в Петрограде в 1917, один из создателей Красной армии, один из основателей Коминтерна, с 1918 по 1925 нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета, с 1923 лидер внутрипартийной левой оппозиции. В 1927 снят со всех постов, отправлен в ссылку, в 1929 выслан за пределы СССР. Убит агентом НКВД в Мексике.

ТУР, братья (псевд.): Тубельский Леонид Давидович (1905–1961) и Рыжей Пётр Львович (1908–1978) — писатели, сценаристы, соавторы Л. Шейнина; наиболее известны пьесы «Особняк в переулке», «Очная ставка», сценарий фильма «Встреча на Эльбе».

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893–1937, расстрелян) — военачальник, руководил подавлением Кронштадтского и Тамбовского восстаний, маршал Советского Союза, участвовал в техническом перевооружении армии, в создании ряда военных академий, арестован в 1937, вместе с другими высшими военкомами подсудимый по делу «военно-фашистского заговора в Красной армии», приговорён к высшей мере.

УТЁСОВ Леонид Осипович (1895–1982) — эстрадный певец, актёр театра и кино, в 1930-е большое место в его репертуаре занимали вариации блатных песен («С Одесского кичмана бежали два уркана», «Гоп со смыком», «Мурка» и т. д.).

ФЁДОРОВ Николай Фёдорович (1829–1903) — религиозный мыслитель, философ-футуролог, основатель русской космической мысли, создатель философии «Общего дела»; в течение 25 лет библиотекарь Румянцевского музея (в наши дни — Российская государственная библиотека), где первым составил систематический каталог книг; оказал глубокое влияние на русских философов, писателей, учёных.

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович (1882–1937, расстрелян) — священник, учёный, философ (самый известный труд — «Столп и утверждение истины»), с 1918 занят спасением памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, с 1921 — научный сотрудник Государственного экспериментального электротехнического института (ГЭЭИ), редактор «Технической энциклопедии», где опубликовал около 150 статей, в 1933 арестован, приговорён к 10 годам заключения, отбывал в Бамлаге и на Соловках, в ноябре 1937 Особой тройкой НКВД приговорён к высшей

мере.

ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна (1907–1996) — писательница; в 1926 арестована и выслана; с 1928 — редактор в Детском отделе Госиздата, которым руководил С. Я. Маршак (отражение этого опыта в книге «В лаборатории редактора»); арестован и расстрелян муж писательницы, физик М. П. Бронштейн, в тюремных очередях началась многолетняя дружба Л. К. Чуковской с А. А. Ахматовой; книга «Записки об Анне Ахтматовой», переведённая на многие языки, — уникальное и ярчайшее свидетельство о великом поэте; особое место в литературе о массовом терроре занимают повести «Софья Петровна» и «Спуск под воду»; за выступления в защиту преследуемых, в частности И. Бродского, А. Сахарова и А. Солженицына, была исключена из Союза писателей (1974).

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович (1907–1982) — писатель, впервые арестован в 1929, осуждён на три года, в 1937 арестован второй раз, провёл на Колыме 17 лет; в 1956 реабилитирован. Написанные в лагере и ссылке стихи (1937–1956) составили сборник «Колымские тетради», стихи печатались в СССР с 1957. Автор всемирно известных «Колымских рассказов», создавал их с 1954 по 1973, в 1978 они были напечатаны в Лондоне,

затем переведены на французский и английский, снискав автору мировую славу; в СССР так и не были напечатаны при жизни автора, впервые опубликованы в 1987 году. По мотивам произведений В. Т. Шаламова создано несколько художественных фильмов («Завещание Ленина», «Несколько моих жизней» и др.).

ШЕЙНИН Лев Романович (1906–1967) — следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР, писатель, киносценарист, в 1934 занимался расследованием убийства Кирова, политическими процессами 2-й половины 30-х годов. В 1936 арестован, но вскоре освобождён. В 1945—46 участвовал в работе Нюрнбергского трибунала; вновь арестован (1951—53), с 1953 занимался только литературной деятельностью, автор шпионско-детективных книг и сценариев (роман «Военная тайна», пьесы «Лицом к лицу», «Тяжесть обвинения», сценарии «Встреча на Эльбе» (совместно с братьями Тур), «Ночной патруль», «Игра без правил»).

ШЕШКОВСКИЙ Степан Иванович (1727–1794) — секретарь Тайной канцелярии (1757—62), обер-секретарь Тайной экспедиции (с 1762), пользовался особым доверием Императрицы Екатерины II, вёл дознания по политическим делам

Е. И. Пугачёва, А. Н. Радищева, Н. И. Новикова и др., в обществе имел прозвище «кнутобой».

ЯГОДА Генрих Григорьевич (1891–1938, расстрелян) — зам. председателя ГПУ — ОГПУ (1923—34), заведовал наркоматом внутренних дел (НКВД) СССР (1934—36), под его руководством расширилась сеть исправительно-трудовых лагерей и началось строительство Беломорско-Балтийского канала, активный организатор судебных процессов над «убийцами» Кирова, лично участвовал в расстреле Каменева и Зиновьева. В 1937 арестован, в 1938 на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока» приговорён к высшей мере.

Из расстрелянных



Виктор Петрович ПОКРОВСКИЙ († Москва, 1918)



Александр ШТРОБИНДЕР († Петроград, 1918)



Василий Иванович АНИЧКОВ († Москва, 1927)



Михаил Александрович РЕФОРМАТСКИЙ († Орёл, 1938)



Александр Андреевич СВЕЧИН, профессор Академии генштаба († Москва, 1938)



Елизавета Евгеньевна АНИЧКОВА († лагерь на Енисее, 1940)

Материалы



1. Общий вид Соловецкого Кремля



2. Секирная гора



3. Колокольня



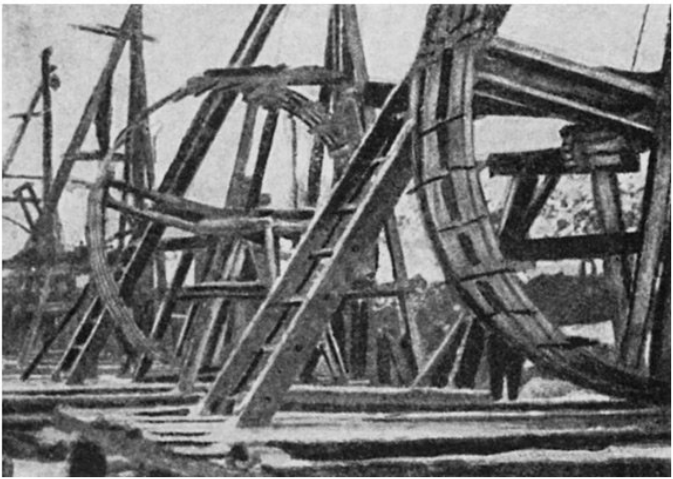
4. Дверь под колокольней



5. Начало работ



6. Деревянные журавли

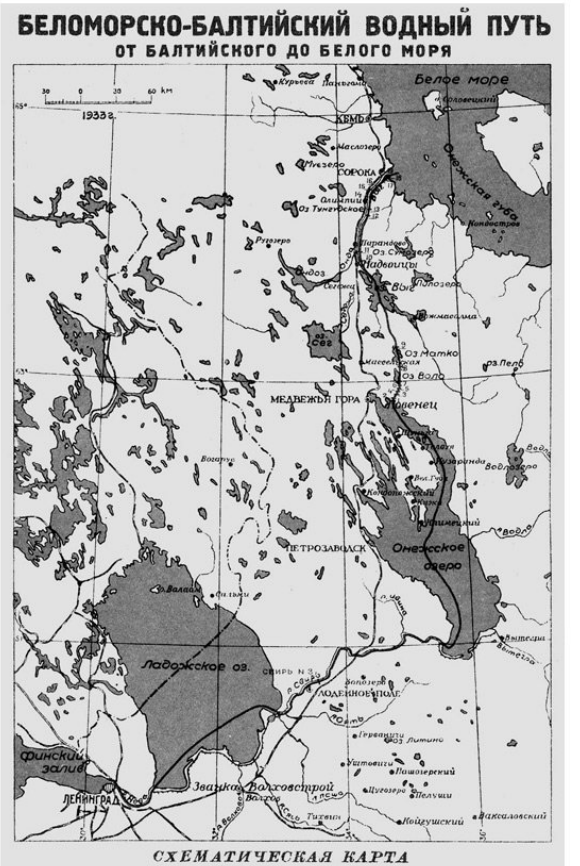


7. Первые механизмы





8. Плакаты соревнования


БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ
ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО БЕЛОГО МОРЯ
1933 г.
Белое море
Онежская губа
КЕМЬ
СОРОКА
Надвоицы
МЕДВЕЖЬЯ ГОРА
Повенец
ПЕТРОЗАВОДСК
Онежское озеро
Ладожское оз.
МОДЕНОВО ПОЛЕ
Финский залив
ЛЕНИНГРАД
Свирь
Вытегра
Ковжинский
Важеозерский
СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

9. Карта ББК



10. Провода на кресте



11. Культбригада. Рис. А. Д. Голядкина



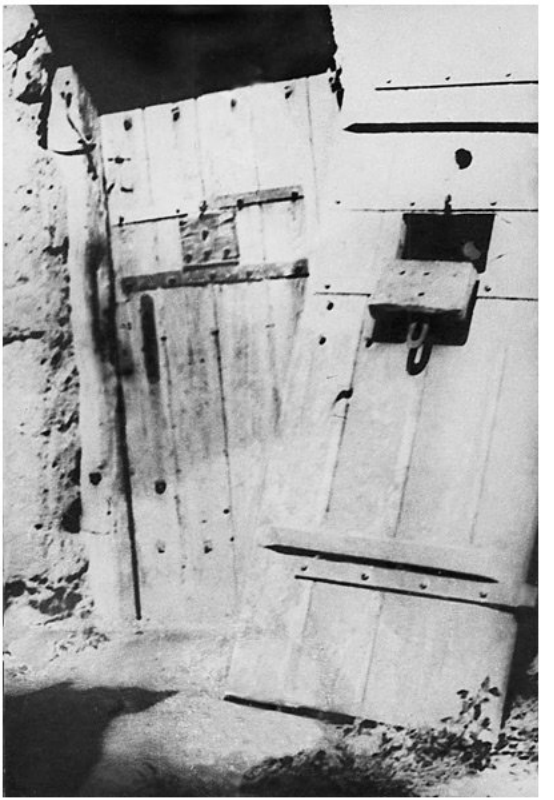
12. Мёртвая дорога



13. Плакаты соревнования



14. Георгий Павлович Тэнно



15. Дверь экибастузского БУРа

Над книгой работали

Редактор *Наталья Рагозина*
Художественный редактор *Валерий Калныньш*
Верстка *Жанна Махмутова*
Корректор *Елена Плёнкина*

Издательство «Время»
http://books.vremya.ru
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2017